Р2 (С 148)
469

А. Я. Дорогойченко



БОЛЬШАЯ КАМЕНКА



ЭК
Р2
Д69

А. Я. Дорогойченко

БОЛЬШАЯ КАМЕНКА

РОМАН

а а 1878127
Куйбышевская областная библиотека
имени В. И. Ленина
Обязательный экземпляр

Куйбышевское книжное издательство
1978

Р2
Д69

ИБ № 168

Д69 Дорогойченко А. Я.
Большая Каменка. Роман. Куйбышевское книжное изд-во, 1978, 272 с.

В романе показана жизнь поволжской деревни накануне коллективизации. Большое внимание автор уделяет изображению ростков нового социалистического уклада в жизни крестьянства.

Д $\frac{70302\text{-}27}{\text{М148(03)-78}}$ 27-78 Р2

© Куйбышевское книжное издательство, 1978,
вступительная статья

О РОМАНЕ А. ДОРОГОЙЧЕНКО «БОЛЬШАЯ КАМЕНКА»

Путь Алексея Яковлевича Дорогойченко в советскую литературу, где он завоевал себе репутацию даровитого мастера слова, знатока крестьянской жизни и живого народного языка, во многом типичен для литераторов его поколения и социального опыта, таких, как А. Неверов, П. Замойский, С. Подьячев, И. Вольнов и другие. А. Дорогойченко относится к тем представителям талантливого русского крестьянства, которые вместе с Октябрем, участвуя в революционной работе и защите молодого социалистического Отечества, получили возможность в полной мере реализовать свои творческие возможности — в политработе, военном деле, литературе, других, впервые открывшихся им, областях приложения сил.

Писатель родился в 1894 году в с. Большая Каменка Симбирской губернии. Бедность — таково главное впечатление его детства. «Бедность, как пес сторожевой, не сходила с порога. С этой стороны вспомнить детство жутко», — писал А. Дорогойченко в автобиографии. Условия жизни беднейшего крестьянства в селе Большая Каменка — это та грань материального жизнеобеспечения и то состояние неудовлетворенности, за которой начинался распад личности, тот процесс, которому много внимания уделили Г. Успенский, А. Чехов, М. Горький, А. Серафимович. Потому борьба с нищетой, одоление бедности не были для крестьянства и для будущего писателя, в частности, делом сугубо личным. Поэтому и тяжелый путь к знанию мыслился как гражданский,

общественный путь. Жизнь сельского учителя по окончании учительской семинарии, увольнение за революционные убеждения, учеба в Петербургском, затем Московском университетах, служба в царской армии — все это стало естественной подготовкой к активной революционной работе в период Октябрьской революции и гражданской войны. В феврале 1918 г. Дорогойченко — губернский комиссар по делам земледелия в Самаре, временно исполняет обязанности председателя губернского исполнительного комитета и т. д.

Сотрудничество с известными самарскими большевиками помогло ему преодолеть иллюзии левоэсеровского толка. Работа в политотделе Донской кавалерийской дивизии, редактирование фронтовых газет, активная деятельность очеркиста и стихотворца, наконец, сотрудничество в центральной печати в Москве с августа 1920 г. — таков путь большевика А. Дорогойченко в годы гражданской войны. В 20-е годы он активно участвует в литературной жизни страны. Сборник стихов «Боевые песни красноармейца» (1919 г.), рассказы «Товарищ Варвара» (1923 г.), «Стихи и поэмы» (1923), повесть «Степановна» (1924), романы «Большая Каменка» (1927), «Живая жизнь» (1930), повесть «Праздник» (1934) — таков писательский ответ А. Дорогойченко на вопросы массового читателя страны о новом содержании жизни.

Профессиональный опыт коммуниста-организатора и писателя целостно сказался в наиболее известном произведении — романе «Большая Каменка». Его ценность не только в убедительном художественном решении темы великого перелома в настроении, взглядах и образе действий крестьянства во время революции, но и в характерном романном синтезе стихотворной и прозаической форм, давшем один из оригинальных вариантов крестьянского сказа, укрупненного и обработанного несомненным мастером «говорного» языка. Роман «Большая Каменка» интересен как отражение уникального по содержанию и форме социального прогресса послеоктябрьской деревни.

А. Дорогойченко, как и другие его соратники по «мужицкой» теме в ранней советской прозе, хорошо знал ту сторону революционного процесса в деревне, участником которого был сам: перехода деревенской бедноты к новому общественному состоянию, непосредственного участия в решении коренных вопросов землепользования, управления, культурничества, ликвидации контрреволюции. Переход этот был сопряжен с серьезнейшей эмоциональной перестройкой, пробуждением надежд, достоинства, веры в коллективную форму хозяйствования и новую организацию быта. Возникновение новой эмоциональной атмосферы контрастно разделяло послеоктябрьскую деревню с недавним прошлым. Даже обстановка голода, разрухи, поражающей материальной скудости в эти годы не могли заслонить в сознании крестьян факта поворота действительности (вспомним повесть А. Неверова «Ташкент — город хлебный», рассказ А. Платонова «Родина электричества» и др.) к социальной справедливости, правде.

В связи с этим необходимо подчеркнуть одну особенность А. Дорогойченко — романиста. В 20-е годы в «крестьянской» литературе очень сильны были элементы депоэтизации мужика, демонстрация грубого

физиологизма, звероподобия крестьянина. На проклятия старой деревне не скупятся Ф. Панферов, П. Замойский, Е. Пермитин. Эта традиция оказалась и впоследствии очень живучей. Исследователь творчества М. Шолохова Ф. Бирюков писал о крестьянских писателях второй половины 20-х гг.: «Главный недостаток большинства деревенских прозаиков этого периода — однобокое изображение народа: крестьяне в их книгах порой слишком жадны, злы, пассивны, разобщены, ленивы, стихийны, слепы, трудно постигают новое, зато очень восприимчивы к любому враждебному влиянию»[1]. Установка в романе А. Дорогойченко на изображение созидательных сил и начал крестьянского характера, трудового уклада их бытия были серьезным основанием для перспективного осмысления действительности.

В «Большой Каменке» ставятся проблемы, ставшие позднее традиционными в литературе о советской деревне: сложная дифференциация людей деревни по их отношению к новым формам труда и быта, изменение социальных условий после революции, развитие новых свойств в характере сельского труженика и т. п.

И это — те качества романа, которые в конечном счете позволили ему остаться в ряду оригинальной советской прозы 20-х годов.

Повествование в «Большой Каменке» строится согласно принципам народного эпоса, в центре которого или образ крестьянина-правдоискателя или богатыря-заступника. Фольклорность образов-характеров в романе не столь очевидна, чтобы можно было говорить о стилизации, прямой зависимости от традиции. Романиста выручает чутье художника на поэтическое содержание народной жизни, оно-то и позволяет социально-бытовым зарисовкам, превосходным этюдам народно-разговорной речи сливаться во впечатляющий образ крестьянского мира на переломе к коренному обновлению.

Широкий прием слияния авторской речи с речью героев (несобственно прямая речь) позволяет писателю постоянно сохранять обобщенно-широкий план изображения, создать поэтический образ того психологического и социально-бытового уклада, в котором большое значение приобретают общие — национальные, этнические, классовые — стороны и моменты народной жизни.

«Эх, отдых на пахоте! Эх ты, весеннее солнышко! Бухнулся Санек на землю, распластался от усталости: пахал целый уповод.

Глянул — опрокинулась неба голубая громадина, обстала кругом такая близкая, такая всамделишная. Вот ведь ходит под небом Санек — мальчишка деревенский, крутолобый, рыженький — ходит и не замечает: есть ли оно? А лег на теплую землю — валится голубая громадина, накрывает облаками словно пологом, и не знает Санек: на небе он, на земле ли? Голова идет каруселью.

Отведет глаза — все по-прежнему: на земле Санек, на Чихан-горе».

Образ Чихан-горы занимает в судьбе центральных героев — крестьянского мальчика-бедняка Саньки и его друга Потапа Митрича Солонина, искателя ценных руд, самоучки, поэта по складу натуры — настолько

[1] Ф. Бирюков. Художественные открытия Михаила Шолохова. М., «Современник», 1976, с. 161.

большое место, что в читательском сознании не может не возникнуть аналогии с фольклорными мотивами кладоискательства и поисков народного счастья.

Эти поэтические мотивы романа и поддерживаются общим строем языка, который при всей индивидуальности речевых характеристик персонажей сохраняет фольклорную легкость, ясно выраженную ритмичность повторов, метких выражений, присловий, выразительность безусловно талантливой языковой среды, не задавленной и не разрушенной убогим укладом жизни. Писатель не сужает изображаемый мир до фотографической достоверности в изображении малокультурной, слабо информированной, по-своему косной еще среды. В его Большой Каменке живет крестьянский мир, уже тронутый революционным брожением, мечтательством, подвижничеством. Возьмем, к примеру, образ «кладоискателя» Митрича. Камни-фосфаты, которые собирает и по-своему исследует Митрич, — это невиданное, реальное богатство края, которое с помощью энтузиаста Митрича достается кучке хищников-предпринимателей. Мотив обделенности мужика в первой части романа разрастается в социальную драму, в сознание необходимости коренных перемен по отношению к национальным ценностям. В финале первой части кроткий Митрич зверски избивает жену, назойливо попрекавшую его чудачеством в увлечении камнями. Будничная ситуация неожиданно обнаруживает свой страшный разрушительный смысл, социальный подтекст.

Автор прочерчивает в романе смелую по тому времени перспективу роста человека и новых отношений, которая оправдалась, кстати, в самом скором реальном будущем страны. Это совпадение является особенно дорогим современному читателю, как и общий пафос победы созидательных сил деревни, пафос устойчивости и прочности социалистических тенденций в ее развитии.

Роман начинается с колоритных картин окрестностей Большой Каменки, хранящих нешуточные клады государственного значения, — торф, фосфаты. Сразу же определяется и мотив хозяйственного расчета, который неизбежно сведет бóльшую часть крестьян Большой Каменки с Советской властью — единственной альтернативой бедности и зависимости от «хозяйственного мужичка» — кулака. Романный масштаб изображения есть в самой системе образов, резко противопоставленных по классовому признаку. На одном полюсе — подросток из бедной мордовской семьи Санек, очарованная душа, отзывчивая на знание, красоту природы и любые проявления человечности; Митрич с его государственной жилкой в хозяйствовании, мечтатель, энтузиаст, в которых так нуждалась революция; бедняк Панок, порывающийся уйти из деревни на лучшие земли — агитатор, всегда примеривающийся к новому «городскому» слову, человек с жаждой видеть жизнь шире, управлять ею. Это и жена Митрича Варвара Петровна, не могущая примириться со своим «несчастьем» — геологическими увлечениями мужа, она, как и Степановна в одноименной повести 1924 г. А. Дорогойченко, — ругательница, мастерица этого своего рода разговорного жанра, в котором ощущается несомненный социально окрашенный драматизм; это и больная мать Саньки, содержащая своим трудом семью. Такие люди — плодоносная народная почва Большой Каменки.

Совершится революция, и Санек, пройдя через тюрьму в контрреволюционной Самаре, станет рабфаковцем в Москве. Председатель Большекаменского ревкома Панок, ушедший во время контрреволюционного мятежа в Красную Армию, смертельно больной, напишет свою поразительную историю классового прозрения и подвижничества «Приключении председателя Совецкой власти». Митрич после смерти жены, захиревшей от его побоев, отдаст себя целиком производственной артели, преобразившей жизнь в Большой Каменке.

На другом полюсе — классовый враг: лесник Леопольд Леопольдович Бржезовский, помещик Грязнов, разбогатевший крестьянин-мордвин Михайла Оглоблин, большекаменский кулак Архипов — все те, кто окончательно потеряет почву после ликвидации белочешского мятежа и организации в селе артели.

В жизни Большой Каменки с первых страниц романа чувствуется влияние большого мира — революции. Особое значение здесь имеет вынесение действия «на улицу», в деревенское многолюдье, в обстановку классовых столкновений, стремительно развивающихся событий революции и гражданской войны. Эта композиционная особенность объясняет сложный лаконизм романа, смысловую энергию массовых сцен, своеобразную характеристику персонажей средствами колоритной афористической речи, по-своему отражает обстановку стремительно меняющейся жизни. Ускоренный ритм действий, событий, отсчета времени — характерная стилевая черта романа. Такой ритм задан началом второй главы, повествующей о действиях Советской власти в Большой Каменке:

«Большекаменский ревком. Работа в дым. Галдеж — напролет. Декрет о земле. А снаружи конский топ:

Нарочный!

Новый декрет.

И снова.

Работа — в дым. Галдеж — напролет. Новый декрет в работе. А снаружи конский топ:

— Примай декрет!

— Давай, айда!

Декрет за декретом и над декретом декрет. Впрыгнула Большая Каменка — после германской войны, после революции Февральской, Октябрьской — в новые сани. В оглоблях — ревком. Ревкому вожжи — власть на местах. Ревкому кнут — декрет. Все декреты хватаются с маху. Центр палец покажет — места всю руку берут. А сколько дел сделал Большекаменский колревком, не дожидаясь декретов из центра!»

Отрывок напоминает известную в 20-е гг. так называемую рубленую прозу. Вместе с тем подобные страницы у А. Дорогойченко — не дань моде, а характерный стиль устного сказа, ставшего речевой формой большого, романного полотна. В этом качестве ярко выраженная ритмизация рассказа действительно сокращает автору время на разработку индивидуальных портретов и характеристик, индивидуальный облик пер-

сонажа становится интересным и важным только в связи с теми большими событиями, в которых он участвует.

В романе А. Дорогойченко есть характерный для литературы социалистического реализма поворот к изображению нового героя эпохи — народной массы, все отчетливее сознающей себя общественной и политической силой нового государства. Это осуществляется за счет использования писателем живого разговорного языка, передающего психологию массы, ее настроения, развитие, наполнение характеров новым качеством.

Роман «Большая Каменка» заключает в себе явные черты биографизма: в частности, воспроизведены обстоятельства тюремного заключения А. Дорогойченко во время учредиловщины в Самарской губернии. Прием документального удостоверения заключается и в прямой адресовке к реальному месту действия — Большой Каменке, в которой родился писатель. Эта особенность не могла не сказаться на общем содержании и строе произведения. Оно написано в форме хроники деревенской жизни, типичной для среднего Поволжья (многонациональная деревня от предреволюционных лет до восстановительного периода). Внимание автора сосредоточено на преобразующей работе активной части крестьянства под руководством революционного пролетариата. Проводником этой генеральной идеи эпохи в романе является крестьянин Панок. Ему и принадлежит оригинальная вставная повесть, позволяющая читателю представить мир народной жизни шире рамок деревенской хроники — как выход трудового крестьянства из мучительных противоречий социального бунтарства, неоформленности политических целей и программ к их осознанию.

Этому внутреннему содержанию романа отвечает ясное композиционное расположение его глав: от нравоописательных массовых сцен предреволюционной жизни деревни — к необычному ускорению событий классовой борьбы и перестройки в послеоктябрьское время. Безыскусный, наивный по форме рассказ Панка о главных событиях своей жизни — участии в защите Самары, побеге из-под расстрела и службе в Чапаевской дивизии — это одна из самых обнаженных в русской литературе духовных исповедей человека, наделенного даром к духовному подвижничеству во имя великой идеи. Совпадение его духовного пафоса с революцией, давшей народу действительно достойное поприще для духовного подвижничества, и явилось, таким образом, источником уникального человеческого документа, удостоверяющего право трудового крестьянства на равенство с рабочим классом в революционном деянии.

В связи с этим нельзя не учитывать коренящийся в основе романной формы А. Дорогойченко поэтический склад его художественного мышления.

Обращает на себя внимание сказовая форма повествования, отражающая в литературе наиболее сильные стороны языковой гениальности народа. Сказ, т. е. устная, разговорная форма в изложении материала, предполагает отчетливую индивидуальную манеру говорить, большую чуткость к меткому, характерному, ценимому собеседниками слову, занимательность, речевую свободу, щедрость на речевые краски, юмор, охоту к рассказыванию, живость, легкость. Даже небольшой перечень обычных признаков народного сказа обязывает с огромным уважением отнестись к этой редкой форме прозаического, особенно романного повествования.

Первый вопрос, который в связи с этим может быть обращен к роману А. Дорогойченко: вырастает ли его повествовательная манера до подлинно народного сказа? Не будем искусственно завышать художественный масштаб романа, во многом только приближающегося к достижениям социалистического реализма. В романе, что называется, лишь «прорезывается» эта языковая манера. Не будучи человеком солидной литературной школы, той широчайшей языковой культуры, которой отличаются классики русской прозы, А. Дорогойченко вместе с тем отлично чувствовал подвижный «ручейный» язык своих односельчан, владел им, сознательно формировал его как способ общения с новым читателем.

От первых стихотворных опытов А. Дорогойченко, в которых важна попытка передать состояние необычного по силе душевного подъема трудящихся, до романов конца 20-х гг. и очерковой повести «Праздник» осуществляется единый речевой принцип — непосредственности, разговорной живости, национально-этнической окраски, слиянности голосов автора и героя. Нельзя не учитывать, что язык революционного призыва, гимна, обращения, лозунга был для деревни новым, желанным языком изменившегося отношения к миру, причем языком эстетически выразительным, соединенным с авторитетом печатного слова, народного театра, митингов, собраний, революционных песен. Поэтому ставшие достаточно привычными для современного читателя строфы первых советских поэтов при всем их единообразии, известном стандарте формы и содержания звучали для читателя тех лет, особенно крестьянского, полуграмотного, свежо и сильно:

В мире борьбы небывалом,
Спаяны общим трудом.
В битву с врагом — капиталом
Стройной колонной идем...
Смелы, сознательны, юны —
Красным взмахнули крылом.
Стяг лучезарной коммуны
В мир угнетенных несем...[1]

За легкостью сказовой манеры, за колористическими массовыми сценами обнаруживается незаурядный опыт прозаика с неповторимой и незаменимой школой миропонимания, которую А. Дорогойченко прошел в революции. Поэтому возможный спор читателя с автором по поводу «фотографирования» крестьянского языка — это спор по сложным вопросам общелитературного порядка. И если многие слова романа, вроде «сатаноидол», «спрастывают», «разбрымялись», «вздрючился» и других, на-

[1] А. Дорогойченко. Боевые песни красноармейца. Издание Политотдела Туркестанского фронта, 1919, с. 9.

поминают слова-излишества, за которые А. М. Горький справедливо упрекал Ф. Панферова, то общий речевой строй романа находится, как мы считаем, в согласии с замыслом, материалом и достаточно высоким профессиональным умением А. Дорогойченко. Фольклоризм, песенность — это коренные речевые особенности советского крестьянства, через эти формы поэтами М. Исаковским, А. Твардовским и другими передавались все большие социально-исторические перемены в деревне.

Роман «Большая Каменка» «сказывается», в нем свободно течет живой народный говор. Поэтому повествование поднято над бытом до событий общезначимых и оттого особенно запоминающихся, а характеры раскрываются в движении общественной жизни или в таком ракурсе, который не позволяет автору упустить общую «географию» деревенской жизни того периода. Этим в романе постоянно поддерживается тема социально-экономического, классового и психологического уклада, претерпевающего коренные изменения.

* * *

Изучая прошлое нашей литературы, мы нередко убеждаемся в том, как важна была для первого поколения советских писателей возможность пройти вместе с многомиллионной массой трудящихся невероятно трудный и счастливый путь к самым первым достижениям социализма. Это давало им высокое право говорить от лица Истории. Такое право было и у Алексея Яковлевича Дорогойченко.

А. Киселев

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧИХАН-ГОРА

Эх, отдых на пахоте!

Эх ты, весеннее солнышко!

Бухнулся Санек на землю, распластался от усталости: пахал целый уповод.

Глянул — опрокинулась неба голубая громадина, обстала кругом такая близкая, такая всамделишная. Вот ведь, ходит под небом Санек — мальчишка деревенский, крутолобый, рыженький — ходит и не замечает: есть ли оно? А лег на теплую землю — валится голубая громадина, накрывает облаками словно пологом, и не знает Санек: на небе он, на земле ли? Голова идет каруселью.

Отведет глаза — все по-прежнему: на земле Санек, на Чихан-горе. Рядом дядя Митрич стучит лопатою. Вместе пахали, тоже устал, а не отдыхает Митрич: роет. Тихонько, с раскачкой лопату в гору всаживает, осторожно пласт переворачивает, тонким слоем рассеивает землю — смотрит коршуном себе под ноги. Блестят, переливаючись, сизые ракушки. В руку возьмешь — земля: в прах ракушки рассыпаются.

— Чего ищет дядя Митрич? На кой сдались ему эти ракушки да камешки? Шут ли в них!

Эх, отдых после пашни!

Эх, предзакатное солнышко!

— Чего мужики никогда не глядят на небо, а все больше под ноги...

Но думать мальчику было лень, а в небо смотреть приятно.

Плывут облака стадами. Табунятся стада над Санькoвой головой. Каких зверей тут нет, каких людей! Вон шея-то вытянулась: такого зверя в книжке Санек видал. И шкура желтая такая — солнце позолотило облако.

— Ого, вылитый жирафа! — воскликнул мальчик.

Шея — напрочь у жирафы, туловище — пополам: вот тебе — два столба воротние. Столб на столб падает, верх круглится, а низ у облака расползается и — получается человек. Да какой! Волосы седые и косматые, как у мамки, нос крючком, на голове колпак; вот палец поднял высоко, а в другой руке держит книжищу.

— Дядя Митрич, смотри! Как есть ученый, про коего ты рассказывал. Похожий? Да сюда: вот, видишь, показываю. Раста-аял. Э, не умеете вы на небо глядеть! — прицыкнул мальчик на неуклюжего мужика. Тот ухмыльнулся, поплевав в ладони, и — снова орудует заступом.

— Чудила ты, Санек! Ученые, обыкновенно, такие же люди. Только — блаженные. В губерню камни свои относил я, помнишь? Вышел ко мне музейный. «На что нам камни твои? — говорит. — Мостовую чинить? Она у нас только что починена». Посмотри, говорю, раз ты ученый: камни мои совсем даже не для мостовой. Долго смотрел, сердито смотрел, в очках и без очков смотрел. «Нет, говорит, звесняки: обломки ледяного пириу́да». И еще вроде выразил: дескать, кого другого оммани ты. Да я, грю, тебя не омманываю. Какая корысть мне тебя омманывать? Кто нынче омманет, тому завтра не поверят. Омманешь — в лес уйдешь, а я с людьми живу. Ни в жисть никого не омманывал! Словом сказать, распалился я круто, Санек! Засмеялся музейный: «Это, дядя, камни так называются: аммониты». И повел он меня по столам. Показал, брат, все камни. Ах, какие есть красивеющие! Только — как он хочет, Санек, а мои камни на его не похоже. Стал он меня успорять, совсем рассердился я, взвалил на спину мешчину: Прощай, говорю. Посмотрел он на меня, спрашивает: — «Издалека принес?» — Дорога не ближняя: семьдесят верст. — «Пешком?»

— Ему бы в жнитво, да на лошади! Чудак человек, а еще ученый! — снисходительно улыбнулся Санек.

— На своем на двоем, говорю. — «И обратно будешь тащить на себе». — И обратно потащу, беда небольшая! — Что тут с ним приключилось, Санек, до сих пор толком не разберу: схватил он меня за шею и давай мусолить мне щеку. А сам вроде плачет и приговаривает: «Народушка мой! Правды искатель мой! В лаптях пришел... С мешком пришел»... А сам все хнычет, все тычется в меня, как слепой кутенок в молоко. Отсторонил я его великатно, смотрю на свои лапти: ничего будто — писаные, в восемь лык с подковыркаю. Не то что простоплетки какие! Чего дались ему лапти мои? Не рад — связался-то! А он стал совсем вроде не в себе. — «Нет, нет, погоди, не уходи! Хоть камни твои не нужны мне, а так отпустить не могу. Оставь: под стекло положу, ярлычки наклею и деревню твою обозначу». Ну, оставил я, чтобы не переть зря ума, хоть и круто на него распалился. «У меня есть такие». Да ты пройди весь свет, таких камней не найдешь! Я знаю в камнях толк. Я да не знаю! Они и во сне мне снятся.

Разволновался Митрич — и копать перестал. Но, видя, что мальчик больше облаками занят, прибавил нехотя:

— Сказанул все-таки ему напоследки, не стерпел: покажь, говорю, — кто без очков; може, скорее глаза разует. Вот какие они, брат, ученые! Как есть блаженные.

Смотрит Санек в небо, не мигая. Певучий голос Митрича и стуки заступа — глухая музыка в усталую голову пахарька. Плывут облака. Сплошь, сплошь. Откуда? Куда? Мягкой ваткой все тело обматывают. Белой пленкой заволакивают глаза.

Заснул Санек.

Вся в зареве заката Чихан-гора. На горящем горизонте четко маячит черная фигура Митрича с заступом: неуклюжая, будто пляшет, припадая и распрямляясь, медведь.

Под горой — поля. Словно серый зипун расстелили, на зипуне черных заплат понашивали: пар парят мужики — жирными пластами взметывают отдохнувшую землю. Тут и там, согнутые над плугами, бредут пахари, как заплутавшиеся тараканы по запечью. Тень от Митрича легла по горе и на поля, длинная — в целый осьминник.

Вдали — за полями — Кривое озеро в кольце торфяных болот. Бывал там Митрич не раз: землю смотрел, «торфой» интересовался.

Эх ты, «торфа»-озеро!

Эх, Чихан-гора!

Може, клад зарыт лежит, да не скоро тот клад выкопаешь!

Копает Митрич, спины не разгибая.

А Санек спит, руки раскинул — малелый весь. Снится мальчику от рассказов дяди Митрича, будто стал он богатырем и лопата в руках богатырская. Прорыл Санек Чихан-гору насквозь, дорылся до краю земли — до самого моря. И хлынула вода морская, синяя-синяя, прямо в Кривое озеро: заходили волны по Кривому озеру, по волнам поплыли большущие пароходы...

Куйбышевская областная библиотека имени В. И. Ленина
Обязательный экземпляр
1878127

Вскочил Санек — спросонок разобрать не может: во сне ли, наяву? Пароходы плывут в синеве или облака? Пароходы по небу или облака по морю?

— Чего вытаращился? Эк тебя разморило, парень! Помни мое слово: никогда не спи на работе — хуже нет, очумеешь.

Санек ошалело посмотрел на Митрича и снова бухнулся на землю.

— Смаяла мальца пахота. В бабки еще тебе играть по-доброму-то. Ну, коли, будя. Солнце уже за гору, — вслух ответил Митрич на думы свои, гремучий мешок вскинул на спину. Ласково паренька лаптем под мягкое место:

— Пахарь-знахарь! Пора вставать, курам месиво давать.

Митрич весел, не до устали. Весел Митрич: удалось ему нынче камни диковинные откопать. Должно, не простые камешки!

У загона под горой запрыгала спутанная лошадь. И фигура в густеющих сумерках мельтешит. Санек первый увидел: глаза — ястребы.

— Тетка Варвара! — испуганно прошептал он.

— Ну! Вот нелегкая... Прячь скоре, Санек! Беги! В межники, в полынь положь...

К самой земле пригнулся мальчик под мешком, лягушкой прыгает с горы, камни в мешке погромыхивают.

— Куда те послали? На пашню никак? — встречает Митрича тетка Варвара. Она шагает по-мужичьи поперек загона, мерит, сколько вспахал ее «лодырь царя небесного».

— Ге-е, работничи-ик! Эдак, пожалуй, до зимнего миколы дотянешь? Сбатришь пашню зимой по морозцу?

— Мало тебе? Ерепенишься...

Нарочно храбрится Митрич: промолчи — еще пуще старуха расквокшится.

Видит тетка Варвара — работал мужик на совесть: без малого весь загон перевернул. А ворчит по привычке, чтобы не зазнавался — на предбудущее.

— Ну, заработался. Слова ему не скажи... Пахáло!

— Земля-то камень гольный.

— Ладно оправдываться! Пашка тяжела, земля заскорбла? Камней бы пошел посбирал, ракушек покопал. Дитятко. Не догадался?

— Невдомек, Варварушка! — прикидывается Митрич невинным голубем.

— Тьфу, сатаноидол! Куда мешок отправил? Видела! Ах ты, лодырь царя небесного! Люди на пашне с утра до ночи, а он на Чихане прохлаждается. Люди пахать, а он руками махать. Стыдобушка!

— На Чихан начихать, Варварушка! — ласково хихикает Митрич: в шуточку обратить желательно.

— Заткнись уж! «Начихать». Лебезит, блудня! На тебя бы начихать давно следовало. Работать надобно, зенки твои бесстыжие!

— Когда работать? Солнце за горой. Что ты, Варварушка?

— Теперь, знамо, некогда — до ночи дотянул. Запрягай уж, труженик!

Митрич взялся за оглобли. Санек под рыдванчик нырком. Оба норовят незаметно положить мешок в рыдванчик под солому.

— Куда еще? Невидаль! Камни твои не возила Пегашка? Сними, духу чтобы не было! Сам с ними тютюшкайся. А тебя, шайтяненок, вот чем потчевать! — тетка Варвара схватила вожжи, но Санек уже бежал под гору — нарочно не прямо, а кругами, как жеребенок-игрун, чтобы подразнить сердитую старуху. — Матери скажу, Степановне нажалуюсь! На двор к нам не являйся, вольница!

Взвалил Митрич мешок на загорбок. Благо, дорога под изволок: камни сами погоняют, трут спину, колени подгибаются. Качается Митрич за подводой, как бостыль на ветру.

— Возьми на воз мешок. Тяжело мне, Варварушка!

— Ништо! Лучше отучишься.

— Искры из глаз сыпются.

— А ты собирай, ежли сыпются: годятся печку раздувать. Спички-то нонче дороги...

С приезду—прямо в кладовку Митрич: короб лубошный выдвигает и в строгом порядке по разным углам короба, по сортам, спрастывает камни. Ракушки подсевальным решетом просеивает... Уходит Митрич от пашни, из Большой Каменки совсем уходит в радостную даль, ему одному ведомую. Головою покачивает, поэхивает да поахивает. Глаза на камни, как у ребенка на игрушки. Ржет Пегашка невыпряженная. Не слышит Митрич.

— Ты чего, совсем сдурел? Лошадь необхоженная... Бросай сей секунд! Уйду от тебя, вот святая икона! Да кто живет под одной крышей с таким шалопутом, и тот недобрый человек. Одна я дура выискалась изо всей нашей Каменки. Да за какие грехи, царица небесная, наказуешь...

В избу Митрич вошел бочком: ну-ка, до слез довел старуху!

А старуха, выплакавшись за печкой в чулане, уже снова привычно насмешливо ворчит, только губы скорбно подергиваются:

— Разденешься, може, погостишь маненько. Спешить-то ведь некуда... Проходи, проходи от порога: нонче не подаем — печеного нет.

Митрич разболокся, на печку лезет.

— А вечерять не будешь? Знать, сыт: ракушек своих поганых наглотался.

Митрич садится за стол на кончике.

— Чего не маслишь? Глядеть поставила?

Тетка Варвара берет рывком Митричеву плошку, делает в кашке ямку и полную маслом подсолнечным наливает.

— Что ты, Варварушка, ослепну я.

— Ешь, саматошный!

Храпит Митрич на полатях: завтра спозарань снова на пашню.

А тетка Варвара под окном соседке жалится:

— Чего мне делать с ним, ума не приложу? Одни камни в башке. А теперь еще ракушки собирать вружился. Весь Чихан изрыл. Страмота!

— К Сусличихе сходи, Петровнынька! Тоже на камнях ворожит. Только у ней-то святые камешки: с Афон-горы, кумынька!

— Не миновать сходить. Эх, греха-то мало!

КУЛАЧКИ

— Санек! Куда понесла нелегкая? Надо убрать корову аль нет? Ступай на гумно за кормом, тебе говорят!

В одних чулках выбежала мать на мороз. А Санька — и следы замело: чешет без оглядки на площадь.

«Что, в самом деле, на улицу выйти нельзя: колготись то с коровой, то с овцами. Чай, праздник. Только знает — ворчит. Забыла, как сама была молодая. И на масленицу погулять нельзя».

Сердится Санек на мать, распаляет себя разными обидами, а под шубой совесть ворочается, за сердце щиплет.

Видит Санек.

Возьмет больная мать вожжи, пойдет по непролазным сугробам на гумно. А там — замело сельницу до крыши, воротички не открыть. Будет мать копаться в сугробе сломанной деревянной лопатой, до вечеру хватит. Расчистит, а воротчики-то без петель, падают: надо попридерживать сверху, надо умеючи открывать. Ну, как упадут — задавят маменьку напрочь!..

— Вернуться, што ли? Шут с ней! Чай, не опоздаю: накулачусь за день-то, — вслух уговаривает себя.

Остановился в раздумье. А в проулок площадь выглянула, видно краешком: бегают ребята стайками. Крики слышатся:

— Стой! Стой!

— Выходи, мордва голопузы!

— Выходи на леву руку!

Запылало ретивое, все думы из головы хозяйской вышиблись. Ринулся Санек вперед:

— Вы так? Насмехаться? Знать, не пробовали Санькова кулака!

Несется Санек на площадь, на бегу кулаками сучит, рукавицами громко похлопывает, испускает клич боевой:

— Стой! Стой! — мордва на русски!

Заслышав Саньков клич, мордвишата, как горошинки, выскакивают из боковых проулков, выныривают из-под базарных стоек и ватагой валят к сомкнутой кучке русских.

Соскучился Санек по кулачкам, со святок не дрался: не глядя врезается в лагерь противников.

Склубилась мелюзга на площади, разбрылялась мелюзга во все стороны: не столько дерутся, сколько страху друг на друга напускают.

— Стой! Стой! — кричат с мордовского лагеря.

— Стоим, хоть дой! — отвечают русаки.

— Эй, русски, брюки узки, — стой!

— Эй, эрзя, токамс нельзя,[1] стой!

— Эй, сухолински девки умны, они... ходят за гумны, стой!

— Эй, эрзя, у кого в погребе бочонок «кислы молоки» взорвался, стой!

— Жаль кулаков на таких дураков.

— Наши дураки не глядят на кулаки.

— Сто-о-ой!

А за мелюзгой зорко наблюдают парни и с мордовского конца и с русского. Чуть неустойка, выныривает парень из трактирных сеней, где расположен русский лагерь; бежит по площади, пригибаясь к земле, чтобы меньше ростом казаться, ударяет с крыла на мелюзгу; та — врассыпную, как плотва от прожорливой щуки. А другая «щука» с мордовского лагеря, который расположен в сборне, мчится, прячась за магазинами, за базарными стойками, и внезапно вбрасывается в середку. На помощь первому другой русский парень делает перебежку, другой мордовский, третий...

Перебежки становятся чаще, гуще. Доходит дело до пожилых мужиков. Стеной валит народ, грудь против груди.

Над церковной площадью тысячеголосый гам. Напрасно старается перекричать бойцов обезумевшая галочья стая над куполом. Кипит народ на площади, как крутая каша в котле.

А когда выйдут главные бойцы — Бикай со стороны

[1] Мордвина трогать нельзя — русско-мордовская поговорка.

мордвы и Ванька Сухарь с русской стороны, — кулачки переходят в смертный бой. Тут мелюзге делать нечего: ни под руку, ни под ногу не попадайся. Отбегает мелюзга за базар и здесь колотится стенка на стенку, стараясь не уступать ни пяди, подражая в упорстве старшим.

А старшие — как бешеные быки.

Мечется рев:

— Валяй, Бикай!

— Тещик парстине![1]

— Истя,[2] Бикай!

Реву — ответный рев:

— Жмякни, Сухарь!

— Блябни под едала!

— Под девятое бей!

Разворачивает плечи Бикай, размахивается с плеча Бикай — чешет стену сбоку, как на сенокосе. Падают бойцы под его рукой подкошенные. А Бикай ровно на работе: деловито, молча, не спеша и не задерживаясь, все дальше идет к своему главному супротивнику. Тот на другом крыле работает с таким же усердием.

Иногда какой-нибудь храбрец вздумает задержать Бикая и вцепится в него. Тогда Бикай остановится на минутку на этом месте и за такую наглость наворочает целую живую поленницу и — дальше пойдет, как ни в чем не бывало.

Удар у Бикая — как взмах дровосека, как размах косца. Кулак у Бикая пудовый.

А у Ваньки Сухаря короткий удар: костяной кулак. Сам он поджарый, сухой — за то и прозвали. Врезается длинная мосластая его рука со свистом, как прут железный, как цеп в голову снопа. Немало мордвов, попытавши разочек удар Сухаря, закашливались да так и не переставали кашлять до скорой могилки. Говорили: гирю зажимает в кулаке Сухарь, оттого удар такой убойный. Только это пустяки. Следят за этим востро. Чуть заметка, не сдобровать бойцу, покарает его смертью суд кулачный, кто бы он ни был.

А Сухарь с Бикаем нарочно в рукавицах выходят, нарочно на морозе рукавицы с рук сымают, ладони голые над головами кажут, чтобы видели все: дело идет начистоту. Чтобы не пеняли, ежели кто уж больно удачно под кулак подвернется и будет ему «кулысь»[3].

Встреча Сухаря с Бикаем решает исход боя. Как только падет один из них или отступит на шаг — заколыхается

[1] Звездани хорошенько!
[2] Так.
[3] Умер.

лавина человечья тысячная, тронется, как ледоход на Волге, как прорвавшаяся сразу плотина. И катится лавина человечья по широкой площади, мимо высокой белой церкви до самого курышинского сада, где русский город, или до Шкудим-латко,[1] где город мордовский. Дальше этих границ кулачки не заходят: дальше — нейтральная зона.

Во время боя — тишина. Только порою слышатся отдельные выкрики да вскрики. Только густо, быстро взлетают-падают тысячи кулаков, будто рубят капусту. Только горит морозный крест над церковью, осеняя православную забаву.

Так между курышинским садом и Шкудим-латко, на пространстве доброй полуверсты, ходят живою стеной бойцы то в ту, то в другую сторону.

Бой часто затягивается: больше часу иногда длится кулачный уповод. Час после этого шапки разбирают. Летят к небу шапки, малахаи, будто царя на площади встречают:

— Чья? Чья? Чья?

После шапочного разбора начинают подбирать павших на поле, кто остался без движения. Легко пострадавшие, пошатываясь, тычутся разбитыми носами в снег, хватают снег горстями, прикладывают к лицу, чтобы остановить кровь. А снег краснеет и кровью течет по бороде.

На площади как на бойне: она расцвечена ярко-красными комьями снега, пропитанного свежей кровью, вчерашними темными кровяными пятнами, желтыми пятнами мочи человечьей, засорена подсолнечной шелухой и слеглой грязью от овчинных полушубков и валенок.

Отдых недолог. Об этом старается мелюзга. Едва окончится битва, слетаются снова мальчишки со всех подворотен — разжигать усталые страсти.

— Стой! Стой! — кричат с русского конца.

— Эй, русски, нос привышный к табаку, а шея к кулаку, — стой!

— Эрзяй ротозей, куда ни поедешь, семь верст не доедешь, — стой!

— Еду, еду не путем — на двуногом на конём, погоняю кулаком.

— И у дурака два кулака.

— Сто-о-ой!

Валтузятся мальчишки, парней подзадоривают, а те втравливают мужиков — и разгорается новая схватка.

Схватки все жарче: пьяных все больше.

Санек — художник своего дела. Санек дерется по всем правилам. Санек знает, где подножку дать, где правой звякнуть, где с левши поддать. «В кулачки идти — не сви-

[1] Шкудимский дол.

ней пасти» — это Санькова поговорка. А если подвернется с вражеской стороны злыда, который малханит, запрещенные приемы употребляет: мазку бьет, лежачего бьет или в рукавицах дерется, — не пеняй такой кулачник на Санька! Такой кулачник — вне закона. Санек без жалости ударит такого пинком.

— Вот тебе!

И покатится тот, как подкошенный, и глаза у него на лоб повылезут. А Санек спокойно скажет:

— Так тебе и надо: не малхань!

Мороз ли крепкий на святках или оттепель на масленице — Санек не замечает ни мороза, ни оттепели. Жарко на кулачках, как в бане. Жарко от боевого задора, от битвы молодецкой. И только когда устанет рука подыматься, когда подкашиваются ноги от беспрестанных атак и стремительных бегств, выходит Санек из круга. Любит он тогда наблюдать поле кулачное, любит взобраться на Чихан-гору. Сверху да издали кулачки больно даже красивы. Как есть картина Полтавского боя (у них дома на стенке висит), только ядра не рвутся да генералы не скачут на белых конях.

Но чтобы устал Санек, много надо времени: если с утра вышел на кулачки, может, к закату и возьмет его усталь. Да и то не всегда.

Вот нынче: дело к вечеру, а только разошлась рука. Правда, Санек уже с разбитым носом, но это не в счет: не по правилам разбили. Сзади ударил свой же мальчишка, Махай, а сзади бить вообще не полагается. Трусишка этот Махай: нагадил и бегает, как заяц, увертывается от Санькова кулака да еще дразнится издали, выпячивая свои ошметочные губы.

— Врешь, не уйдешь, трегубый! Ты мне нос расквасил, я те не такое сделаю: век будешь помнить, как сзади заходить!

Бегает Санек за Махаем, досада берет: и мальчишка-то моложе его на год, бить-то как?

А тот, знай, дразнится:

— А вот и не побьешь! Урю, урю!

— Побить не побью, а ухи наверчу, как надо. Знай правила!

— А вот и не навертишь! Урю! Урю!

Разозлил: поймать во что бы то ни стало! Ловит Санек Махая, не замечает ничего. Ловит Санек Махая... Вдруг тонкий холодный сверк врезался в щеку Санька.

— Вжик!.

И, свету не взвидя, покатился Санек кубарем по снегу.

— С дороги! У-у, животное...

И сквозь визг и брызнувшие слезы в горьком тумане

мелькнул змеей извилистый грозящий хлыст, мелькнули тонкие-тонкие полозья беговых саней и меховая спина помещика Грязнова.

Поднялся Санек, озирнулся, словно спросонья, — хохот мужичий закружился над ним. Деться некуда: в клетке, в железном обруче — в этом хохоте.

— Получил горяченького?

— Ха-ха...

— Скусно?

— Хо-хо...

— Барский кнутик: стальной, не мочальный!

— Хи-и-и...

Молчит Санек: убит издевкой, болью, обидой. Слезы, словно сок из спелого плода, сами брызнули из глаз, и вдруг такая злоба на мужиков налетела, перехватила горло! Не помня себя, мальчик сгреб замерзший лошадиный помет, швырнул прямо в лицо хохочущей толпе.

— Ах ты, змееныш!

Со всех сторон набросились на Санька с матерной бранью. А он увертывался, как уж, хватал, что ни попадя, швырял в толпу. Вот камень большой схватил с размаху, но камень примерз к земле — упал Санек грудью на камень: загудело в груди, нет силы подняться.

— С дороги, говорят тебе! Задавят, пащенок!

Помещик Грязнов мчится уже обратно на крупной, на огненно-рыжей, на беговой своей кобыле. Мчит кобыла, колесит ногами — голова смотреть кружится. Сам Грязнов привстал на маленьких, словно игрушечных санках. Натянуты вожжи донельзя, длинный медный хлыст за кушаком. Мчит кобыла, дымится снег за санями — шарахаются люди окарачь. Целая грядка девок в снег покатилась с испуту вместе с невестой: на розвальнях девки катались, с песнями, с наряженным веником — человек пятнадцать на одной лошаденке. Гик, визг, хохот и руготня. Ленты девичьи на снегу словно змеи разноцветные.

— Ой, девоньки, за розвальни копытом задел. Думала, конец мне.

— Самашедший!

Парни окружили девок, смеются:

— Ты думало — нумало[1], хвать да — косой заяц?

— Марька, ну-ка еще разок. Как ты задом-то вывернулась, лещ трехпудовый на затоне!

— Охальники, вам бы только надсмехаться.

— А вам бы этих охальников только слушать.

— Ай-ай-ай... Скоре! Вертай! Девки, скоре! Задавит. Вправо вертай-ай-ай...

Легко сказать, но как тут повернешь? Скособочилась ду-

[1] Заяц. Русско-мордовская поговорка.

га, наряженная полотенцами, лентами, бумажными цветами, — того гляди совсем распряжется у девок коняшка.

— Задавит. А-ай, задавит!

Мчит кобыла. Барский хлыст вжикает по бокам да по спинам ротозеев...

...Ощупью, хватаясь за заборы, пробирается Санек домой.

Над правым глазом по краю лба наискосок багровый бугор. Из рассеченной правой брови струится кровь, заливая лицо, застывая на морозе.

Оттесненные с площади кулачники бьются в проулках. Здесь негде разойтись, стенка на стенку, бьются отдельными толпами, кулачки постепенно переходят в беспорядочную драку.

Уже дерутся во дворах. Уже пускают в ход колья, оглобли, гирьки и ножи. Уже слышатся отчаянные крики:

— Караул!

— Разбой!

— Уби-и-или...

На крики появляются стражники. Но от стражников толку мало: не решаясь сразу подступиться к дерущимся, они не столько разнимают, сколько стравливают озверевших людей.

Площадью всецело завладел помещик Грязнов. Тонкополозные беговые санки все быстрее и быстрее мызгают по площади из конца в конец.

Уставшие бойцы сходятся кучками и наблюдают, как Грязнов проминает свою рысистую кобылу.

— Подраться не даст! — говорит один, сморкаясь кровью в полу овчинного полушубка.

— Катался бы в степе, круг своего хутора. Нет, за шесть верст примчал, не видали его тут.

— Чего ты, кум, зря разоряешься? Не впервой, чай: кажну маслинцу.

— Скоро, што ли, кончится их маслинца!

— Пошуруют, на их век хватит.

— Врет, придет и на них великий пост!

Белая шерсть полушубка становится розовой, а кровь из носу не унимается.

— Ты, кум, запрокинь голову-то, будто водку пьешь: сразу остановится.

В другой кучке — другие речи:

— Ну, коли, Грязнов появился на кобыле, скоро Оглоблин — на жеребце... Вот будут беситься!

— Подождем?

— Чего тут ждать! Кабы на санки посадили...

— Давай подождем.

— Айда, наших бьют!

Спорят молодые мужики: между скачками и кулачками разрываются.

Особенно рьяные кулачники с криками «Стой! Стой!» переходят на Заднюю улицу, увлекая за собою всю огромную толпу; кулачки разгораются с новой силой.

Передняя улица опустела, дав простор для скачек. Зрители прижались к трактиру. А Грязнов, как нарочно, пустил кобылу тихой-тихой иноходью.

— Ишь, черт, прохлаждается!

— Что ей: день иноходит, три дни со двора не сходит.

— Не скажи, кум! Лошадей губит, почем зря. На прошлой неделе из Самары ехал — тройку загнал. Каки-и-их лошадок! Кучер Софрон рассказывал...

— Да-а... Горячий барин.

— Ну, Оглоблин все равно обставит!

— Калякай!

— Чего калякай: жеребца нарочно подгадал к маслинце. Три тыщи — жеребчик!

— А эта кобыла знаешь сколько стоит?

— Сколько?

— Сэстолько!

Мужики заспорили о хороших лошадях, о ценах на рысаков так горячо, словно сами их покупали. Но спор сразу оборвался, когда раздался крик:

— Едет, едет!

Из-за церковной ограды важно выезжает Михайла Оглоблин, бывший простой мордвин, а теперь владелец вальцовочной мельницы на реке Сок и второй гильдии купец.

Пляшет жеребец под серебряными удилами, пар столбом из ноздрей, как из гудка паровозного. Сам Михайла крепко в санки вдрюпался.

— Ну и туша! В ем одном пятнадцать пудов. Где обойти ему барина? Смотри, какой жиденький, как струна.

— Обойдет, вот те хрест!

— На кой мне твой хрест, держи на гайтане!

— Смотри, мотри! Вместе съезжаются. Говорят чего-то. Михайла головой крутит: должно, не соглашается. А тот хлыстиком помахивает.

— Ого-го! Рядом становятся. Ну!..

— Не подгадь, Михайла!

— Дай напиться барину!

Лошади рванулись, седоки привстали на санках, гикнули, хлопнули, взвился белый свет мелкой снежной пылиночкой.

— Э-эх, выручай, што-ли-ча!

— Каяк, каяк соненээ, Михалка![1]

[1] Дай, дай ему, Михайла!

УЧЕНЫЙ

Пашню кончили мужики, сенокос еще не подоспел — самое время сидеть на бревнах, раскалякивать. День праздничный, день солнечный. Улица широкая да зеленая густой травой поросла. Вот и сидят, крутят махру бесперечь, шутками перекидываются.

Одаль, отдельно от мужиков, бабы на лужайке.

Когда бабы начнут перебирать косточки отсутствующих соседей и соседок — это одно: чем длинноязычнее сплетница, тем больше она скромности напускает, и платком-то повяжется под самый подбородок. Губы у сплетницы бантиком, голос масленый: живая в рай просится.

— Митрич-то совсем ряхнулся: и спит с камнями в обнимку. Варвару-то гонит от себя.

— Бедняжечка! Ровно безмужная...

У мужиков — проще. Найдет стих посмеяться, смеются открыто, при людях, ни на кого особенно не нападают — всем одинаково достается. Разве на долю Алексея Иваныча Панкова да Потапа Митрича Солонина побольше при этом достанется. Зато они и сами — изо всей Большой Каменки.

Вот Панков, его ни с кем не спутаешь: его по походке видать. Высокий, жилистый, идет — во все стороны вертится.

— Панок! На шалберах ты, что ли, привинченный? Мила-ай! — встречает его Кусочков Степан — мужик бедный, а насмешистый. Панок отцепляет:

— Ты зато на конных гвоздях сбит: наглухо.

— Не сердись, — ласково уговаривает Кусочков. — Правду говорю: по походке не нашинска-ай.

Остальные мужики начинают Кусочкову подпевать:

— Да-а уж: походка-походочка!

— Верблюд так не ходит...

— Эх, Панок, сам не стоишь ни гроша, зато походка хороша!

Панок будто не слышит насмешек мужиков, фасонисто снимает малахай.

— Мир вам, дорогие мои согражданы!

— Поди-ка к нам.

Оглядывает мужиков свысока:

— Отдыхаете?

— Нет, смотрим, как ты работаешь.

Общий взрыв смеха. Панок снова презрительно оглядывается.

— Чего туды-суды, как флюгер на ветрянке? Садись, гостем будешь. Али сесть на бревна при вашей важности

не полагается? Яноты свои боишься ободрать? — улыбается Кусочков и тянет Панка за рваный полушубок.

— Не тронь его, Степан! Али не знаешь? Садиться ему никак невозможно: в отлет собрался!

Снова смех, кашель от махры и замечания со всех сторон наперебой по-русски и по-мордовски:

— Кадык, кадык, сонзэ![1]

— То-то кадык у него выдался на три версты, как у дудака.

— Как есть дудак.

— Вылитый.

— Да, пожалуй, и правда, пора уж тебе, Панок, на новы земли отправляться: сенокос подходит. А то работать, кой грех, заставят! — сочувствует Кусочков.

— Смотри, не опоздай, придется самому сенокосничать.

— У него баба за мужика: и косит, и пашет — удивления!

— А когда спите, кто у вас наверху-то?

Смех переходит в хохот. Особенно зло насмехаются над ежегодными хождениями Панка по новым землям. Не потому ли, что каждый мужик в душе только об этом и думает.

— Смейтесь, необразованные ваши физиономии! На край света сбежишь из Каменки нашей — неестественной. Разве земля у нас, спрашивается? Кал, я вам скажу, благородно выражаясь.

— А чего делать прикажешь с землей, ваша панковская благородия?

— Камни сбирать, как Митрич, и то лучше! — сердито обрывает Панок.

Хохочут мужики:

— Тогда уж лучше корки сбирать под окнами: помягче.

— Больно дошлые вы с Митричем: из дерьма хотите конфеты делать.

— Не трошьте его: у всякого своя дурь в голове.

— У всякого, да не всякий ее показывает.

— А вы что показываете? Что вы знаете? Червяки земляные! Черви, сказать вам по-ученому! — сердится Панок. А когда рассердится, начинает в дело и не в дело вставлять разные непонятные и страшные слова, слышанные в городе. — Уйду от вас. Фактически! Стану колонистом!

— Лодырем ты станешь, это да!

Смех оглушает Панка, но он отмахивается клочкастой рыжей бородой:

— Думаете, трудоспособности боюсь? Или нет во мне энергетики? Или сельскохозяйственным производством не

---

[1] Не тронь, не тронь его!

умею заниматься? А только не хочу несознательно спину гнуть. Гните вы! Дураков работа любит.

— Где это тебе рай земной припасли? Скажи-ка на милость.

— И найду! Не я буду!

— Держи карман — просыпишь.

— Что ж ты каждое лето, где ни ходишь, а к зиме назад к нам в Каменку вертаешься? А?..

— Чего мне с вами речи терять, дубье стоеросовое! Сказано: поэт ты сам свой высший суд и адиотов не оспаривай.

Панок сбил малахай на затылок, победно осмотрелся и вдруг, как складная сажень, подогнувшись сначала в коленях, потом в туловище, сел на бревно рядом со Степаном Кусочковым. Длинная мосластая нога вытянулась на пол-улицы: Панок не спеша доставал из кармана синих самотканых мордовских портков резиновый кисет с махоркой фабрики Левковича.

Митрич подходит молча. Молча картуз снимает, обнажая розовую лысину. Мужики дружно снимают шапки в ответ:

— Потап Митричу!

Почтительно так, а за спиной рожи корчат.

Степан Кусочков заводит:

— Вот разговор промежду себя ведем: что-то, мол, Потап Митрич сурьезно камнями занялся, на Чихан больно часто стал наведываться, не клад ли, мол, где зарыт поблизости?

— Клад не клад, а вроде этого, — серьезно отвечает Митрич.

— Ну?! С зароком положенный, клад-то?

— Большой котел-то, Потап Митрич?

— Гнетом, поди, придется подымать?

Посмеиваются мужики потихоньку: неудобно перед Митричем сразу свой смех показать.

— Знаю, зубоскалите про меня. А дело верное, мужики: ищу я камень такой, чтобы от крепкой водки не шипел и не рассыпался. Жила проходит в наших местах.

— Вот что! — удивляется Степан. — А ты, Потап Митрич, ненароком не обмишулился?

— Выходит, нет. По всем видимостям, тут она: в Чихан-горе.

— Ишь ты!.. То-то тетка Варвара сказывала...

Хохот, долго сдерживаемый, вырвался сразу при упоминании о семейных делах Митрича. Нахмурился старик:

— Чего она могёт вам сказывать? Тетка Варвара — женщина необразованная.

— Она-то баба — ай-ай, да ты, видать, малахай!

— Да, хозяйка у тебя, Потап Митрич, не по твоему характеру, — вздохнул Кусочков и вдруг испуганно крикнул: — Вон она и сама бежит! Прячься, Потап Митрич! Сердитая — косы распростоволосились...

Тетка Варвара на бегу кричит:

— Тут, что ли, отпетый-то мой! Кабы на гору черный не понес. А там его спрашивают, из города приехали.

— Кто приехал? — вынырнул Митрич.

— Фу ты, греха-то мало! Напугал инда... Чего прячешься? А вам какой смех! — набросилась тетка Варвара на мужиков: — Чего сидите, лодыри царя небесного! Посмотрели бы, солнышко-то где? Не стыдно день целый лясы точить? Эх, совесть! Уж были бы люди, как люди, а то ведь...

— Варвара Петровна, ты уж больно строго на нас накрываешь, — прервал Степан Кусочков. — А мы, по-твоему, кто?

— Свиное пыхто! Посмотрел бы на себя хорошенько, галах несчастный! Все вы...

— Кто там приехал-то, Варварушка? — ласково напомнил Митрич.

— Челэк, кто еще! Какой-то вроде дьякона. Нащет камней твоих. Прогнать хотела: думаю, другой такой же дуролом выискался. А он говорит: за все заплачу, только примите, место покажите, где камни ваши. Ну, думаю, раз деньги сулит... — и вдруг, рассердившись, крикнула: — Тебе говорят, айда! Люди добрые дожидаются.

Мужики, бабы, молодежь — валом за Митричем: посмотреть на приезжего чудака, который деньги раздает за показ, где камни собираешь. Мало ли где собирают! Где хочешь, там и собирай: вся местность каменная. На то и Каменка!

Закрутился Митрич с приехавшим ученым: с утра до ночи в окрестностях пропадают. Тетка Варвара ни разу не заикнулась даже, что старик работу бросил, все по горам, по лесам да по болотам таскается. Сам да еще Пегашку мучает! Если деньги дают, значит, дело стоящее, значит, правда клад есть зарытый.

Сразу вырос Митрич в глазах жены. Только не разболтал бы зря! Больно уж мужик — рубаха. Ей бы, тетке Варваре, в руки этот клад, денег бы гору с ученого взяла и ученого вокруг пальца обвела. Не стерпела однажды, шепнула Митричу, когда он запрягал Пегашку, чтобы везти ученого за реку Сок:

— Ты, мужик, не больно все-то показывай. Самим пригодится. Мозгуй!

— Дура ты! Не смей мне такие слова... Вари — твое дело, спокой человека.

Пять дней прожил ученый у Митрича, по трешнице в день отваливал. А уезжать стал — за хлеба пятишну отдельно. Бабы много об этом судачили, много тетке Варваре завидовали, сплетни такие пускали — срамота одна!

— На старости-то лет...

— А он чего смотрел, Митрич-то?

— Да он, знамо, блажной: думает и правда за камни ему деньги платят.

— Знать, была бы голова, а рога будут.

Мужики унимали расходившихся баб:

— Врухи! Вы хоть врите, да меру знайте.

— Прислонись, Пелагея, к забору — упадешь!

— Эх, кукушки-пустобрехи! За кукушку бить вас в макушку.

Уехал ученый, Митрич надолго загрустил. А тетка Варвара ругается:

— С тобой, дураком, ни найти, ни потерять. Чего куксишься? Радоваться надо: в год не заработаем сэстолько. Барин — надо бы тароватей да некуда: денег дал, грамоту оставил. Почет, можно сказать. Какого еще рожна? Дивуй бы за дело... Ну-ка, что там в грамоте, прочитай-ка мне.

— Да отстань ты! Чего понимаешь?

— Все-таки читай, антиресно мне: буквы-то золотые.

Митрич рывком хватает бумагу, хмуро бормочет:

— Ну сказано: «Благодарность за содействие изучению родного края».

— «Засодействие». Это что же слово обозначает?

— Да ну тебя, отвяжись!

— Чего ты нукаешь?

— А то и нукаю!

Сгреб Митрич картуз, бежит из дому. Санек догоняет его за гумнами:

— Дядя Митрич! А у меня сколько камней накопилось на подловке! Ко мне тоже ученый приедет, когда буду большой. Приедет да приедет — врет!

— Не велико счастье, сынок, что приезжают они.

— Как это? А сам говорил про ученых...

— Говорил, сынок, и буду говорить. Только не настоящий это ученый: от компании подосланный. Все об ракушках да насчет удобрения только и выспрашивал. «Мы, говорит, у немцев покупаем удобрение — бешеные деньги платим да пошлины, а у нас у самих, говорит, богатство под боком. Поставь завод под вашим Чиханом: завалят заказами». Я ему о серебряной руде да о золоте — смеется: «Здесь этого нет и быть не может, Потап Митрич! И думать брось». В глаза врет! А зачем врет? А вот зачем, Санек: золото отроешь, все равно ихней одной компании не достанется — казна заберет.

Идут за селом, по залогу, старый да малый. Митрич рассказывает о золотой жиле, которая проходит в Чихан-горе; Санек с сияющими глазами, с полуоткрытым ртом слушает, крупнокудрая голова мальчика в лучах предзакатного солнца горит золотым слитком. И Чихан-гора, похожая на гигантский котел, опрокинутый вверх дном, горит вся в золоте заката.

От горы свернули к торфяным болотам. Из-за поворота выскочила и обоих чуть не смяла тройка лошадей.

— Эй, берегись, православные! — лихо крикнул грязновский кучер Софрон. В коляске сидела Грязниха в большой нарядной шляпе с лентами.

Санек быстро поднял с дороги, стряхнул от пыли и подал Митричу слетевший картуз.

— Чего делают на нашей неопытности! Растут, как собачьи грибы. Вон она, краля-то, на тройке приурезывает. Да-а... Видишь, Санек, болота? Были наши. Мы их Грязнову продали. Прямо, надо сказать, пропили. Деньгами едва ли попало обществу, зато неделю поил всех в дым. И я, сынок, грешный человек: и я пропивал мирское добро. Водочкой-то я не брезгую, скусная она, продажная дурь! Радовались, дураки: сбыли с рук негодные земли. А Грязнов — какущий тысячник стал на них! Вот те — неудобь!

— Зачем же продали, дядя Митрич? — со слезами на глазах спросил Санек. Вспомнил он кулачки, хлыст, потрогал рассеченную правую бровь, и так жаль стало ему мирскую землю, и такая злоба на Грязнова подкатила к горлу! «Меченый!» — дразнят теперь Санька ребятишки на улице.

— Зачем, спрашиваешь? Затем, сынок: ума своего нет, а занять не у кого. Вон ученый-то приезжал. Ты думаешь, ежели он нашел чего, то нам с тобой доложит? Как бы не так! Он к барину поедет, ему обо всем расскажет, ему свой совет подаст. А тот и объегорит нас, не хуже Грязнова. И найдется наш же брат, вроде Вани Гнусавого, подзуживать будет: продай да продай барину.

Болота все изрыты, на дне громадных ямин густая черная вода, а наверху по краям сушится добытый торф — большие влажные пряники, как саманные кирпичи. Идти по болотам трудно, все время приходится обходить и колесить. Но Митрич словно нарочно идет поперек всей разработки, молча и хмуро смотрит, как по пояс в воде и в грязи работают грязновские поденщики — большекаменские девки, парни, мужики.

За болотами мелкий осинник. Комары от болотины — тучами. Митрич хлещет себя по шее, по лысине и ворчит:

— Да не сплю я, ну вас в озеро! И какой я вам кум?

Санек смеется:

— А ведь правда, дядя Митрич! Вот-вот пищит: ку-у-ум. А вот другой: спи-и-ишь.

Тихо в осиннике. Только комары, — как далекий плач ребенка. Только листочки на тонких, на резвых стебельках, как на детских ножках, бегут куда-то при каждом дуновении ветерка; дрожат, бегут и убежать не могут.

Здесь самые грибные места. То рыжик стыдливой рожицей выглянет из-за пенька, то покраснеет до ушей краснушка, то снежно-белый подберезовик... А глубже в осинник — подгруздки и, наконец, настоящие грузди: мохнатые, золотые — идут они целыми грядками, еле приметные под прошлогодней вспученной листвой. Хорошо кушать грузди, а еще лучше искать их! Увлеклись и старый и малый...

Домой возвращаются в сумерках, лесом — через Архиповский хутор, мимо лесопилки.

— Вот и Архипов: был мужик, гнал смолу, жег угли, торговал дегтем. А после столыпинского манифеста подвернулся ему случай: начал он скупать землю у разных тех людей, которые и в Каменке-то давным-давно не живут и землей не занимаются. А земля-то, оказывается, за ними числилась по наследству от дедов-прадедов: по ревизским сказкам. Вот ведь что удумал! Накупил он таким макаром по дешевке, можно сказать, задарма, пятьсот десятин, на отруб вышел — барин! И все это на моих глазах, сынок! Теперь он на горе: рукой не достать. Без мала Грязнов. А то, пожалуй, и больше потянет, даром из мужиков. Лаписто живет. Вся Каменка в руках, всю Каменку продаст и выкупит. Земли хочет — даст, хочет — нет. Денег под работу хочет — даст, хочет — нет. Жаловаться на него некому: земский начальник ему зять, сам он член управы. Вот, Санек, какие дела-то. Вникай! Кому — житьё, а кому — вытьё.

Заговорился Митрич, еле успел отскочить с дороги: промчались еще две тройки с колокольцами.

— Легки на помине, чертоломы! Один за другим шпарят.

На передней — Архипов с приставом, на второй тройке — лесничий Леопольд Леопольдович Бржезовский, член управы Титов и старшина Пузанков Митрий.

— А-а, вот оно! Ильин день сегодня; именинник Архипов-то: Илья Максимыч, ведь. Вся знать съезжается. Грязниха тоже туда промахнула... Видишь, с кем знается? Эх и попьянствуют в день ангелочка!

Широкие хуторские ворота настежь: пара за тройкой влетают в них.

Из леса, с той стороны хутора, доносится игривый женский смех, и бархатный бас поет студенческую песню:

Быстры, как волны,
Все дни нашей жизни...

Остановился Санек посреди дороги, слушает песню. Что-то большое внутри просыпается, такое большое — грудь распирает, в груди не местится. Понравились мальчику и тройки с колокольцами и веселый этот смех. Особенно понравилась песня: все бы слушал, все бы слушал, все слушал бы.

Митрич легонько берет его за плечи:

— Видал али указать? Хорошо поют, весело живут. Чего же мы, Санек, не приглашенные? Знать, забыли про нас? Не беда! Зато тетка Варвара про нас не забыла. Придем домой, выпьем в честь Ильи пророка родниковой студеной водички. А если груздочки наши покажем, то тетка Варвара и вовсе смилуется: ругаться не будет и угостит нас печеной картохой.

Тетка Варвара ругалась пуще прежнего:

— Куда шлялся? Бесспрося! Чего тебе надобно, орясина? Чего тебе не хватает? Назола! С ребятишком связался, нашел ровню. Люди добры наскрозь просмеяли, идол! В такую ли пору за грибами ходить, окаянная твоя душенька!

— Зачем кипятишься, Варварушка.

— Зато у тебя жизнь прохладная. Только прохладно жить накладно!

— Проживем, Варварушка! Посолить бы надо груздочки-то...

— Уйду я от тебя, вот разрази меня на месте, мати всепетая пресвятая богородица! Нет моченьки больше жить с таким дураком. Скоро ли ты сдохнешь-то! Прибери его, владычица, услышь молитву мою грешную.

Тетка Варвара в слезах упала перед божницей. Митрич кинулся подымать:

— Варя, Варюша, Варварушка! Что ты? Что с тобой? Неужто и жалко не будет?

— Уйди, мучитель мой! Страсть как жалко: попляшу на твоей могилке, — вскочила и ударила по картузу и подолу рубахи с груздями — грузди рассыпались по полу. На Санька со скалкой: — Тебе чего тут надобно? Убирайся, шатущий! Там мать день целый тебя ищет: она тебе покажет, как со старыми дураками за груздями ходить.

Санек, усталый, еле добрел до дому. В избу не зашел: перелез через сарай и завалился спать на повети — без побоев. Но спать не хотелось: все смотрел, как в небе падают, вскрикивая, предосенние звезды. А когда закрыл глаза, поплыли: Чихан-гора, Кривое озеро, кучи торфа по берегам, осиновый колок, где шли они с дядей Митричем, где пищали комары, как малые дети, где трепыхались осиновые листья от страха перед буяном-ветром, где насбирали они вдвоем целую пудовку груздей. Снова послышалась песня, такая разымчивая:

Быстры, как волны...

— грузди, всё грузди — гнездами, грядками, кругами.

В ЛЕСУ

Зимой здесь дико жить: казенный дом, большой и длинный, две маленьких избы поодаль и — больше ничего. Как ни прочищай дорожек в сугробах вокруг дома, как ни протирай оконных стекол, — все кажется дом холодным. Будто не квартира лесничего Леопольда Леопольдовича Бржезовского, а нежилой отрог. Три голландки пылают с утра до ночи, дров не жалко — дрова дарма. Тепло в просторных комнатах. Только вьюга в трубах воет неуемно, только быстро вьюга тепло выдувает.

Скучно.

Выйдет лесничий Леопольд Леопольдович из дома, в канцелярию зайдет, объездчики и полещики — навытяжку, мужики — в три погибели в ноги падают:

— Не погуби, барин, сдуру мы.

— Не погуби, ваше благородия, лыки драл.

— А мы порубщики...

Канцелярия в простой избе. Стены толстые — из цельной кондовой сосны, стены голые — на мху кладены. Мох даже не пробит между венцами, свисает прядями. Смотрит Леопольд Леопольдович, как покачиваются лохматые мшинки от пронизывающей зимней вьюги. Скучно. А тут еще приходится с мужиками валандаться. Полушубки их воняют кислятиной. Мерзлые лапти по-мертвецки стучат об пол, оттают лапти — лужи грязные пустят из-под себя. А Леопольд Леопольдович — шляхтич. Скучно ему, и неприятно ему. И зачем ему в канцелярии долго засиживаться? Встанет, скажет своему помощнику:—Разделайтесь с ними! — и выйдет из канцелярии. Снова в струнку перед ним подчиненные, стоят не шелохнутся. Совсем рассердится барин: отвлекают от дум козыряньем, наперебой свое русское рабство показывают. А Леопольд Леопольдович либерал.

Тоска. Выйдет за двор: лес — заповедник. Лес обстал лесничество кольцом. Дубы со всех сторон жалобно протянули к лесничеству свои корявые руки, словно тоже в чем-то виноваты и просят пощады, как мужики. А дальше вглубь, за дубняком, темный бор. Тишина в бору. Иногда лишь хрустнет упавшая ветка, стряхнет охапку снега покачнувшаяся верхушка сосны, словно для того, чтобы подчеркнуть морозным треском: какая густая, какая холодная в бору тишина.

Тоска.

А когда ветер засвищет по просекам, когда дубы и сосны начнут плескать в ладоши в неподвижном хороводе, тогда тоска еще пуще. Тогда день такой бывает сумеречный, тогда солнце закатывается все в стрелах и в крови, а по земле метет колючая стеклянная поземка, тогда особенно жалобно воют волки в оврагах под самым лесничеством.

Что остается делать лесничему Леопольду Леопольдовичу? Народная пословица гласит: «Был бы хлеб да жена, и к лесу привыкнешь». Плохая привычка. А о жене лучше не говорить! Расплылась Бронислава Станиславовна, «дьябол» знает на что похожа стала. Алексею Ивановичу Щучкину, большекаменскому доктору, она кажется женщиной сдобной, а у Леопольда Леопольдовича оскомина: помнит он молодость, видит он другую Броню — девушку двадцатилетнюю. Какая она была стройная! Какая она была упругая!

Наговорит Леопольд Леопольдович своей теперешней Броне разных страхов о детях, растревожит ее сердце материнское, посадит ее в широкие сани — катит Бронислава Станиславовна в Самару, где учатся сыновья Стасик и Владик, один в коммерческом училище, другой в гимназии. А сам запрется в доме накрепко, прикажет закрыть все окна на болты; ставит перед собой графин шустовского коньяку — пьет до потери сознания. Не то прикажет тройку заложить: едет в гости к ближайшему соседу на Соку Михайле Оглоблину или за Сок к помещику Грязнову.

В пути дорога удлиняется: как-то сама рука подталкивает кучера, кучер делает небольшой крюк, заезжает в Каменку и на церковной площади перед школой осаживает тройку. Стучится Леопольд Леопольдович в квартиру недавно присланной учительницы с гимназической скамьи. Учительница Тихонова испуганно прислушивается: по стуку узнает лесничего. Не открыть — неудобно, а открывать — чего-то боязно. Бежит молодая учительница Тихонова через двор к старой деве, учительнице Пискляевой, зовет к себе, усаживает за стол. Потом уже открывает дверь лесничему.

«Ах, какая она стройная! Какая она, должно быть, упругая!». Пройдет неделя, другая — надо за Броней ехать. Махнет помолодевший Леопольд Леопольдович за шестьдесят верст, да и живет в Самаре с неделю, а то и с месяц, предварительно отправив обратно Брониславу Станиславовну, напуганную неустройствами в домашнем хозяйстве. Живет в городском культурном центре, где есть оперетка и цирк. Благо, есть и в городе своя постоянная квартира. А служба терпит, служба самостоятельная: недаром зовут в просторечьи лесничего барином.

Так и тянется время до святок.

Святки — время особенное: святок год ждут. Учащаяся молодежь съезжается отовсюду на каникулы. И взрослое большекаменское образованное общество преображается: вспоминает большекаменское образованное общество свою ушедшую молодость, свои годы гимназические, годы студенческие. Гостюют по очереди друг у друга.

Новый год всегда встречают у Бржезовских в лесничестве.

В лесу на святках уютно: можно бега Грязнова с Оглоблиным устроить по Соку, по речной накатанной дороге в город; можно охоту на волков затеять; можно на лыжах ночью лунной вдоволь вываляться в снегу, нахохотаться на морозе.

Почему же этот новогодний канун как назло?

В природе с утра неразбериха: сверху буран и снизу буран. Ветер, как на кулачках: стучит большими белыми кулаками; с протяжными криками, с визгом налетает с крыла, крутит колесом сухие хлопья снега, взвивается ввысь, падает, зарывается в сугробы, снова взметывается исподнизу, бьет и лепит прямо в глаза: метет пути-дороги.

Вышел Леопольд Леопольдович в канцелярию на часок, обратно возвращаться стал — еле перелез через наметанный у крыльца сугроб.

В такую погоду только лес воровать. Такая погода порубщикам праздник: воет ветер по просекам — не слышно стука топора, метет метелица — никаких следов не останется, хоть какие будь широкие полозья у розвальней.

Казенный дом дрожит в тряских объятиях вьюги. Вьюга рвется в трубы, стучит в ставни — жутко в пустых просторных комнатах. Зябнет посреди столовой большой стол, накрытый для гостей.

Смерклось — нет никого.

Леопольд Леопольдович бегает вдоль стола, нетерпеливо потирает руки: то коньяк переставит, то отодвинет мадеру, то сунет в рот маринованный груздочек, не зная зачем.

— Все ли соберутся, Броня?

Жена успокаивает взволнованного мужа:

— Все будут, Лео! Кто захочет такой день пропускать?

Все-то все, а будет ли учительница Тихонова? С кем и как она доберется? Лошадь бы выслать за нею, если бы можно...

Сверлит Леопольда Леопольдовича эта мысль не меньше, чем желание поскорее приступить к выпивке. А вслух говорит:

— Погода бешеная.

— Кого из наших знакомых под Новый год остановит погода? Что ты, Лео! У каждого свой выезд. Смерклось рано, а времени только пятый час. Я еще не думаю одеваться.

Первыми пришли два молодых человека — большекаменские учителя. Леопольд Леопольдович кинулся к ним:

— Пожалуйте, пожалуйте. Вы с Антониной Семеновной?

— Нет, мы одни. Мы пешком.

— А будет она?

— Кажись, собиралась... А впрочем, у нас мало общего.

Лесничий отвернулся от учителей и еще быстрей забегал вдоль стола. Бронислава Станиславовна глядит молча, непонимающими глазами.

— Мы, кажись, рано?

— Пожалуйста, проходите. Извините... я не одета.

— Мм. Это ничего.

— Садитесь на кушетку.

— Мм. Ничего. Мы — к голландке.

Помявшись у порога, оба решительно устремились к голландке и обняли ее, обернувшись к хозяйке задом. Побелевшие от мороза пальцы начали отходить и заныли, руки становились багрово-красными.

Хозяева молчали, гости тоже. Но долго молчать в гостях неудобно, учителя смущенно переглянулись.

— Мм... Ну, знаете и вьюга, дорогу совсем замело, — проговорил наконец один из них.

— Это ужасно, — отвечает Бронислава Станиславовна, сама сердито косит на мужа.

— Как только мы не заплутались совсем... — робко вставляет и другой, откашливаясь.

— Это ужасно! — повторяет хозяйка, чтобы поддержать разговор. Увы, разговор падает. Учителя мужиковато мнутся у голландки, хотя стоять у раскаленной печки, злобно пышащей жаром, становится невыносимо.

— Что же вы стоите, господа! Садитесь покуда на кушетку — гости еще не скоро съедутся.

— Мм. Это ничего, мы погреемся.

Лесничий мечется по комнате, не обращая внимания на случайных гостей. Молодые люди не знают, как оторваться от голландки, главное — куда девать руки, ставшие вдруг ужасно чужими, торчливыми. Спасли портреты и фотографии на стене: оба враз отшагнули и вперили взоры свои в стену, в мужественном отчаянии созерцая дедов и прадедов из фамилии Бржезовских.

А за спиной Броня наступила на ногу Лео:

— Ты пригласил?

— Пришлось, Броня. Неудобно: они вместе были...

— С кем вместе? Ага, понимаю: с новой учителкой. Пассия...

— Что ты, Броничка?

— Молчи, юбочник!..

В широком меховом тулупе, в бобровой шапке, весь в снегу — медведем ввалился Архипов.

— Ты прости, Ляпольдыч, я к тебе поране. Окромя встречи, у меня, брат, дельце к тебе есть. Насчет леску для моей лесопилки. И еще тут Грязнов одну штуку удумал, хочу посоветоваться. Жеребца-то работнику твоему сдал. Чай, не сведут со двора?

— Что ты, Илья Максимович! У меня караулы выставлены.

Лесничий и Архипов направились в кабинет.

— Куда ты, Лео? Займи гостей!

— Мм. Ничего, не беспокойтесь: нам не скучно.

— Пожалуйста, господа! — хозяйка показала на стол и заставила себя улыбнуться. — А меня прошу извинить, я пойду одеваться.

Учителя остались одни и заспорили: уйти или оставаться?

Под окном колокольчик за колокольчиком: гости начали подваливать густо.

— А, нашему Джеку-потрошителю! — встречает Леопольд Леопольдович друга своего, доктора Щучкина. — Что же вы фельдшерицу не прихватили?

Докторша Лина Васильевна поджала губы:

— Мы с некоторых пор избегаем общества этой особы. Это, оказывается, такая хамка! Представьте, она подала клеветнический донос в земскую управу, что мы с Алексисом берем взятки с больных.

— Это ужасно! За это нужно бойкот объявить! — возмущается хозяйка дома.

— Она не так уж виновата, Лина! Это просто твои догадки.

— Молчи, Алексис! Ты рад всех оправдывать. Знаете, Бронислава Станиславовна, у моего Алексиса очень великодушная натура, — говорит докторша вслух, а на ухо шипит мужу:

— Постыдился бы хоть при людях выгораживать свою шмару!

— А ты хоть при людях оставь свой жаргон. Не забывай, что мы не дома. Лина, прошу тебя! Уверяю тебя: ничего между нами не было. Веришь?

— Ну, хорошо, об этом дома расскажешь! — многозначительно говорит Лина Васильевна, притворно весело смеется и громко целует мужа.

— Что ж вы дома не нацеловались? — смеется Леопольд Леопольдович.

— Счастливая пара! — вздыхает Бронислава Станиславовна.

Ватагой вваливается молодежь, и сразу шумом и гомоном наполняется дом.

Леопольд Леопольдович просиял, увидев среди них учительницу Тихонову. Бронислава Станиславовна прищурилась. Один из учителей ревниво закусил ноготь.

Последним приехал Грязнов с женой и дочкой восьмиклассницей.

Грязнову дочку мигом окружили студенты, гимназисты. Полились звуки пианино, стало по-праздничному весело, уютно.

Хозяин кричит молодым тенорком:

— Господа! Время не ждет. Приступим...

— Стой, брат! — прервал доктор. — Неужели с этих пор начнем накачиваться? Что же мы потом-то будем делать до утра? Ведь только семь часов. Мы собрались под Новый год вот здесь, в лесу, можно сказать, в волчином царстве — да не поохотиться!

— На охоту! На облаву! — поддержала молодежь.

— Предлагаю и женщинам идти, — продолжал доктор. — Объявляю запись желающих в облаву на волков. Кто первая?

Первыми на облаву изъявили желание жены. Долгих трудов стоило лесничему и доктору отговорить Броню с Линой от такого рискованного дела. Броне пришлось рассказать несколько страшных историй про волков. Лине — настойчиво напомнить о ее нежной натуре и хрупком здоровье. Насилу убедили обеих, что им лучше поехать покататься: одной с Архиповым на жеребце-новокупке, а другой с Грязновым на его беговой кобыле. Жен заменили молоденькой учительницей Тихоновой и гимназисткой Клавдией Оглоблиной.

Лесничий спешно мобилизовал всех подчиненных, живущих на хуторе, и разослал их на добычу лыж и валенок.

Свищет вьюга, метет метель.

Веселой гурьбой — мужчины с охотничьими ружьями, молодежь с револьверами, женщины с лыжными палками — отправляются охотники в лес. Охотников обгоняют тройки и пары выехавших кататься, из санок — смех:

— Отступление французов из Москвы...

— Держись, волки!

— Леопольд Леопольдович, соседку не подстрелите.

За охотниками лениво и недоуменно потянулась стая собак-волкодавов.

А по дороге в Большую Каменку ныряют в сугробах две забашлыченные фигуры. Костерят учителя друг друга в душеньку.

— Идиоты! Все ты: увязался за Тихоновой. Плевать на тебя хотела. Ослеп ты, что ли, не видишь, куда дело гнет?

— Неужели она с лесничим свяжется?

— Связалась уж. Сам чёрт их не развяжет!

— Врешь! Откуда знаешь? Нет! Я, думаю, что...

— Думаю. Каким ты только местом думаешь!

— А ты чего не остановил меня? Благородной компании захотелось?

— Молчи уж, дон Жуан!

— Ну, ладно. Хорошо, что выбрались. Думал, сдохну со скуки...

— Сдох один эдакий! Вот не съерашиться бы в Мордовский овраг — до Каменки не дотюкаешь.

Ныряют учителя в степи, в буранном бездорожьи.

В лесу тише. Лыжи зарываются в пухлом снегу и выскальзывают из-под ног. Девушки с визгом, криками чуть не по шейке тонут в сугробах.

— Нет, нет, я дальше не поеду. Ни за что! — кричит гимназистка Оглоблина.

— Да почему же? Пустяки! — уговаривает ее влюбленный Владик, старший сын лесничего.

— Хорошенькие пустяки! Не понимаете, так молчите. У меня же снег везде...

— Где? Скажите!

Владик горел рыцарским желанием проникнуть всюду, чтобы извлечь нахальный этот снег.

— Не смейте! Что вы делаете? — Клавдия с силой оттолкнула Владика и еще глубже утонула в сугробе.

— Ну, это не охота, господа! — забурчал доктор. — А вы, молодой человек, чего смотрите? Спасать надо даму, а он ее в снег заколачивает.

Доктор схватил гимназистку и, выдернув из сугроба, как пробку из пенистой бутылки, поставил на лыжи, а лыжи повернул обратно:

— Шпарьте к домам — наохотились. Молодой человек, проводите. Будьте кавалером!

— Я тоже! Я тоже обратно. Не хочу! — рвется учительница Тихонова из рук Леопольда Леопольдовича.

— Нет, вас мы не отпустим. Коли приехали в наши медвежьи края, — привыкайте!

— Правильно, Леопольд, тащи и не пущай. В чем дело? Вы женщина самостоятельная: забудьте о гимназии.

То и дело попадались свежие следы: то заячьи, то волчьи.

— Это вас волки боятся, — ласково посмеивается Леопольд Леопольдович. — Вот он только что был здесь, — лесничий пригибается к земле, пристально рассматривает следы и вдруг, выпрямившись, обнимает учительницу и кричит ей в ухо: — Волк!

А та и сама испуганно жмется к нему: рассказы о волках, следы на снегу не на шутку приводили ее в ужас.

— Боюсь я. Повернем обратно, Леопольд Леопольдович! Право...

— Ни в коем случае! Охота только начинается, — и он привычно разгоняет лыжи, увлекая за собой учительницу все глубже в лес, часто останавливаясь: втыкая в лыжи ее выскальзывающие ножки.

Доктор бежит за ними по следу и хохочет:

— Лесная малинка мелка да сладка. Правда, Леопольдина?

— Отстань, будь другом. Чего за нами увязался! Следи за собаками. Где остальные?

Больше двух часов пробродили в сугробах, устали, настроение упало. Доктор поднимает его рассказами о своих необычайных приключениях: как он ловил трехпудовых окуней на леску в три волоса... Но все знают, что доктор страстный рыбак, и его вранье никого не интересует.

Учительница Тихонова так выбилась из сил, — еле ногами передвигает, безвольно приклонившись к Леопольду Леопольдовичу.

— Ох, не дойду обратно!

— Я донесу вас на руках, — шепчет лесничий.

— Голова кружится: упаду в снег и замерзну, как заяц.

— Я упаду на вас: я согрею вас, как добрый мишка.

— Ах, помните у Толстого «Хозяин и работник», — какая сила!

— Да, прелестно! — соглашается лесничий, давным-давно забывший про Толстого.

— А читали у Короленко? В другом духе, но какая прелесть!

— Да, да! — второй раз соврал лесничий.

Любовь — на что только не пойдешь из-за нее! Сказано: ешь с голоду, люби смолоду. А Леопольду Леопольдовичу всего лишь под сорок.

В глубине леса стало теплее и еще тише. Ветер пролетал изредка мягкими взвивами.

— А вы читали...

— Тсс! — насторожился лесничий и приложил ухо к дереву. Долго слушал, грозясь пальцем на встревоженных охотников. И вскрикнул вдруг: — Ах, мерзавец! У меня под носом? Ах... — чуть-чуть не пустил лесничий по-русски, да тонкая ручка учительницы вовремя оперлась на его плечо. — За мной! — скомандовал он.

— Леопольд, не валяй дурака! — кричит испуганно доктор, в одышке не поспевая за остальными.

Вышли на поляну. Лесничий остановился, соображая: где-то здесь должна проходить лесная зимняя дорога. Ночь, кругом сугробы, а деревья плотно сдвинулись в темноте, словно хотят спрятать дорогу. При свете карманного электрического фонарика лесничий быстро пересек поляну, тут же вернулся обратно, снова припал к дереву и молча показал рукой направление.

— Что за чёрт! — пробурчал доктор. — Зачем ты деревьям кланяешься?

— Тсс! — цыкает лесничий и пробирается, крадучись, будто выслеживая крупного зверя. Доктор отстал и, озираясь по сторонам, взяв на изготовку, пошел позади всех.

Вскоре наткнулись на дорогу. По дороге, полузанесенной снегом, идти стало легче, лыжи скользили сами.

Неожиданно послышались удары... Все реже, с большими перерывами. Видимо, дровосек сильно утомился. Когда звук раздался совсем близко, лесничий остановил свой отряд, выстроил всех, и быстрая лавина двинулась на стук топора с криком:

— Руки вверх!

Вот уж истинно снег на голову Степана Кусочкова! Поднял руки Степан, как две корявые ветви, топор скользнул к ногам и разрубил лапоть. Степан закричал от боли и наклонился, схватившись за ногу. Учительница Тихонова закричала от страха, молодежь бросилась в стороны, а доктор убегал по дороге.

— Отдай топор! Стрелять буду... — поднял ружье лесничий.

Собаки, откуда ни возьмись, с адским лаем набросились на мужика.

— Отдай топор!

— Возьмите, христа ради. Не губите, барин! Не буду. Барин...

Лесничий подполз к топору, выхватил из-под ног, выпрямился:

— Ты что же это? Под носом у меня, сукин сын! А?!

Размахнулся, но учительница повисла на его руке:

— Не смейте! Какая гадость!..

— Скажи ей спасибо, — опомнился лесничий. — Марш за мной!

Он отогнал собак, которые бросились к лошади. Но лошадь, запряженная в розвальни, вся белая от намерзшего инея стояла, не шелохнувшись, как привидение.

Молодежь окружила Степана, образовав конвой.

— Барин! Лошадь отпустите. Не моя, шаброва. Барин...

— Заберем и соседа!

— Что вы, барин! Не виноватый он. Я один. Я выпросил за сеном корове съездить. Отпустите лошадь. Чужая...

— Знаю я вас: исполу воруете. Не разговаривать!

Леопольд Леопольдович посадил учительницу в розвальни и сам сел рядом:

— Ну, как вы себя чувствуете? Струхнули? Устали? Не дует вам? Давайте подверну.

Девушка, брезгливо отстраняясь от его рук, прижалась к краешку и чуть не упала с розвальней.

— Держитесь за меня! — слегка приобнял ее Леопольд Леопольдович. — Знаете, я вам очень благодарен. С этим народом и сам незаметно грубеешь. Подумайте, какие нужны нервы!... — и вдруг он засмеялся и крикнул: — Доктор, ау! Струсил наш охотник знаменитый. Но вы! Вы прямо героиня... — голос его становился привычно ласковым, а руки пытались крепче обнять молодую девушку.

Ведут. Впереди Степан Кусочков, за ним — толпа молодежи. У Стасика, младшего сына лесничего, и курок на спуске.

— Ну, ты, шагай!

— Воришка!

— В тюрьму тебя отправим.

Десяток тумаков врезались в спину Степана, как только он оступился с пораненной ногой или чуть замедлил шаг, задумавшись о том, что теперь будет с Митричевой Пегашкой. Пегашка то и дело останавливалась, натыкаясь мордой на спины.

А Леопольду Леопольдовичу казалось, что слишком быстро идут впереди. Хотелось ему, чтобы медленно, совсем медленно шло время. Ах, какой стройный стан у новой каменской учительницы! Ах, какая она упругая! А какие свежие груди у девушки, как молодые малосольные подгруздочки! Кричит Леопольд Леопольдович:

— Осторожнее, господа! Лошадь не поспевает за вами, трудно ей на поворотах: пеньки.

Ах, зачем все в мире кончается? Зачем маячит в темноте махина приземистого дома? Зачем слышен смех и говор гостей? И зачем так четко выделяется жирный голос Брони?

Степана Кусочкова заперли на ночь в канцелярию лесничества. Завтра отправят в большекаменскую «арестанку». Ух, какой нагоняй даст завтра лесничий всем полещикам и объездчикам! Какой рапорт напишет о ночном происшествии!

Да что думать о том, что завтра будет, сегодня — ночь под Новый год, сегодня праздник в лесничестве.

В доме шумно и хохотно: наперебой делятся впечатлениями от лесной прогулки. Учительница Тихонова рассказывает хозяйке, как ей было страшно. Бронислава Станиславовна любезно ужасается и смотрит испытующе на сияющего Леопольда Леопольдовича.

А среди молодежи громкий принципиальный спор: гимназистка Грязнова возмущается поступком порубщика, гимназистка Клавдия Оглоблина возмущается социальной несправедливостью. Ее поддерживает Владик, не скрывая своей враждебности к профессии отца.

Доктор подзуживает молодежь:

— Справедлива народная мудрость: на то лесничему и лес дан, чтобы мужики голели.

— Это мудрость рабов! Стыдитесь, доктор! — звонко негодует румяная гимназистка Оглоблина.

— Молодец, Клавдия! Браво! — хлопает Владик в ладони и восторженно жмет острый локоть девичьей руки.

Но все это не мешает гостям весело рассаживаться за длинным столом, составленным из трех.

С мороза хмель берет быстро. А когда вплотную перешли к праздничному угощению, когда странные фамильные часы Бржезовских прокуковали без четверти и стрелки быстро поползли к встрече на двенадцати, встал сам Грязнов:

— Господа, разрешите мне поздравить вас всех с наступающим...

— Спасибо! Спасибо... И вас также!

— Новый год пусть будет годом наших увеселений и нашего строительства. Разрешите мне предложить тост за одно предприятие, пайщиками которого являются некоторые из присутствующих здесь. Я предлагаю тост за новый завод минеральных удобрений, который мы начнем строить с весны.

— Ура...

— Этот завод — наша гордость и, можно сказать, воистину — наша родная промышленность. Этот завод будет строиться для снабжения удобрением имений и экономий землевладельцев нашей губернии и всего Поволжья.

— Ура!..

— За родную промышленность...

Вскочил захмелевший Архипов:

— Ах, едят те мухи!..

Все притихли выжидающе. Но Архипов, подняв стакан, растерянно выпучился и вдруг так икнул, что дернулся всем туловищем, стакан скривился в руке, и вино полилось на скатерть. Громким хохотом приветствовали гости такой необычайный тост. Смех Архипову — как жеребцу удар кнута:

— Грязнов!.. Скажи, кто шире меня плюнет? Такого нет! Не родился таковой человек в Большой Каменке. Правильно я говорю? Только ты тягаться могешь. За это люблю! А это все стрикулисты. Ихнее дело: хи-хи, ха-ха, хо-хо... А делового дела нет. А твои — деловые слова... Грязнов скажет — Архипов сделает. Денег надо? Дам! И все... И больше ничего... Почеломкаемся. С Новым годом, с новым счастьем!

Архипов облапил Грязнова и смачно мусолил бритые щеки.

— Ура! Архипову!

— За русский народ...

— За здоровье большекаменского самородка!

Архипов раскланивается неуклюже, всем туловом. Видно, что не привык он к таким церемониям, и трудно ему сгибать шею. Но Архипов рад почету в таком образованном обществе. Архипов пьет и льет, бордовой струей течет вино изо рта по бороде на поддевку синего сукна. Архипов трясет за плечи тщедушного Грязнова и кричит, куражась:

— А где Михайла? Почему нет дружка моего Оглоблина? Знаться не хочет? Клавдия, куда тятяя спрятала? Давай его сюда! Садись на моего жеребца...

— Он сердит на меня с прошлой масленицы. Обогнал я его на скачках, — говорит Грязнов, усаживая Архипова.

Но Архипов вскакивает:

— Ах он, мордовский лапоть! Чего захотел! Барина обставить... Грязнова! Нет, брат, нос у тебя картошкой, — Грязнова обогнать. Молодец, Василь Митрич! Так ему и надо. Кто шире нас плюнет? Михайла — ноль без палки. Хочешь, его мельница завтра же будет Архиповская? Почеломкаемся! — снова навалился на Грязно-

ва и кричит пуще прежнего: — Спрыснем! Спрыснем мою покупку леса у здешнего хозяина... мою лесопилку.. и наш совместный грязновский завод. Только, чур, с уговором: пить всем — дамам и мужикам. До беспредела, Ляпольдыч! Одно мое слово: до бес-пре-де-ла.

И пили...

В лесу не видит, не слышит никто. Только лесники по долгу службы охраняют хутор. Но лесники — могила. Мужик, попавший в лесники, руками и зубами держится за должность: первое — лесу дают; второе — покосу сколько хочешь, сколько выкосишь за лето по лесам; третье — жалованье. Поэтому барин за лесником, как за каменной стеной: лесник отца родного по миру пустит, от сына своего при людях откажется, а начальства не выдаст.

А других свидетелей нет, разве зимняя луна да волки, воющие в Мордовском овраге.

С НАХЛЕСТОМ

Крестьяне любят весну. Саньку весна тоже нравится. Лето не то: работы по горло. А весной: бахчи мамка и одна посадит, корова в стаде, а сенокоса своего нет. Нанялся бы в люди косцом, уже неплохо косит, да кто такого наймет, тщедушненького, пятнадцатилетнего: плати ему как заправскому полтину или целый рубль в день, а он только прокос ломать, траву портить. С большими косить — не шутка!

Вот и выходит — до жнитва Санек вольная пташка: пропадай на Соку хоть всю весну. Он всю весну и пропадает. Домой приходит лишь после счастливого улова: принесет мамке щуку десятифунтовую или деньги за проданную рыбу.

Ловит Санек и удочкой, и жерлицами, в сармах и на стрежнях, ночью и на зорьке. И в полдень — с нахлестом.

Барчата лесничевы увяжутся за ним — мешают только. Саньку шут с ними. Зато всю рыбу, какую выловит, покупает их папа. А это заработок!

С младшим, со Стасиком, Санек подружил крепко, не разольешь, пожалуй. Бронислава Станиславовна барыня добрая: посадит всех ребят за стол, начнет чаем поить с вареньем. Потчует и Стасина друга, как гостя. Барин выйдет иногда на веранду, начнет что-то по-польски лопотать. Не понимает Санек в чем дело, а чует: про него. Покраснеет Санек как пунец, не знает куда глаза девать. Барин фыркнет и уйдет с веранды, а барыня еще ласковее угощает Санька.

Думает иногда Санек: построить бы шалаш на берегу Сока и жить там, не ходить ночевать в канцелярию лесничества. А потом раздумается:

— А пущай его барин фырчит, не к нему хожу.

Но шалаш все-таки выстроил. Стасик частенько убегать стал из дома — спали два друга в шалаше у реки.

Узнали рыбаки о Саньковом шалаше — от постояльцев каждую ночь отбою нет. Даже сам дядя Кормилай, самый главный изо всей Каменки рыбак, нет-нет да и зайдет прикурнуть на часок перед зорькой. Старый, трудно высидеть всю ночь на затоне. Мужики смеются, прозвали его Гормишкой — за бедность. Ничего они не понимают! Спросили бы Санька, он порассказал бы им, что за человек Кормилай Иванович Кочетков, каких он сомов ловит и как ловит!

Дядя Кормилай ночь-полночь рыбачит один, близко никого к затону не подпускает. Уж сколько с ним набивались... А Санька он брал с собой на затон, Саньку он все хитрости рыбацкие показывал. У Кормилая Ивановича, у первого рыбака по всему Соку, перенял Санек рыбацкую повадку.

Сколько дела рыбаку! Дела-то сколько! Глистов нарыть, прикормку сварить, живца наловить, жерлицы приготовить засветло, а к ночи сесть на затон.

С вечера распоряжается Санек:

— Стаська! Тащи из дома сала свиного. Сомы больно любят его, а сомам теперь клев: ночи месячны. Самое время сомячье. Больше неси! Смотри, чтобы папашка не заметил. Гвоздичного масла не забудь от комаров.

Стасик бежит сломя голову доставать сомячью приманку.

А Санек рыбак заправский: долго ходит по берегу, местечко для затона выбирает. Глаз да глаз нужен — затон хороший выбрать, чтобы место было глубокое, чтобы вертелась вода тихой и широкой воронкой. Место выберешь — надо ухетовать, чтобы удобно было сидеть, чтобы все под рукой. А ухетуешь... что же может быть лучше, как сесть на затоне, воткнуть удилища в глинистый берег, смотреть, не мигая, как густеет, чернеет от ночи вода!

Качаются, шушукаются камыши. Опрокинулся лес вверх ногами...

Слушать шепот камышей, бульканье воды вкруг лесы, монотонные стоны болотной выпи!

А как удилище хлобыснет по воде!

Как забьется на удочке сом!

Только вот комары поедом едят: ни гвоздичное мас-

ло, ни керосин не помогают. Да сидеть больно мокро на глиняном берегу. Шубу разве подложить?

Всю ночь сидит Санек за удочками. А чуть зорька, и задымится-закосматится река, — время жерлицы проверять. Тут ухо востро: того гляди щука-разбойница не только живца сведет с удочки, а и всю жерлицу вместе с удилищем в Сок унесет. Здорово рыба берет на заре. Проголодалась за ночь, не разбирается.

А разойдется туман над рекой, подымет день солнечную голову — как раз пора рыбачить с нахлестом.

Кричит тогда Санек:

— Стась, кобылок лови!

— С нахлестом, Санек, поедем? Я пойду лодку пригоню.

— Не учи рыбу плавать тебе говорят, кобылок лови! Да поскорее, некогда!

— Устал я, Санек, бегал-бегал. Не хочется.

— Чего же тебе хочется? Титьки мамкиной?

— Иду ведь, чего ругаешься?

— Бить тебя надо, не токмо что... Рассусоливать с тобой попусту. Видишь, солнышко наяривает: к обеду дело. Пропустим клев.

Стасик бежит на поляну, носится там как обезумелый за кобылкой: бьет ладонью, накрывает своей форменной фуражкой, падает животом на кобылку, увлекшись. А кобылка прыгает из стороны в сторону, не ухватишь ее никак!

Упарится Стасик, наловит десятка два — идти с ними к Саньку или нет? А жара, а лень какая, все бы лежал в траве.

— Стась, сдох ты, что ли, там?

Встает Стасик с поляны, бежит на зов, сам кричит издали:

— Я много наловил, Санек! Да большие какие, жи-ирные.

— Посмотрим! — сердито хмурится Санек, разглядывая Стаськин улов.

— Чего ты головой мотаешь? — обижается Стасик. — Вон какие жирные: на них жерех клюнет.

— Сам ты жерех! Ты бы еще все ножки им поотрывал. Ну, куда эта годна, безногая? Какую кобылку загубил! На! Клюй сам ее, безногую! А у этой кишки вылезли. На, ешь!

Санек бросает кобылку прямо в лицо Стасику. Стасик вспыхивает, на глазах слезы досады...

— Никогда на него не угодишь... что я тебе, малайка? Сам ты Меченый!

Если бы другой так назвал, избил бы Санек за обидное прозвище. А Стасика жалко, да и связываться некогда: время горит.

— Ну, ладно, пошутил я. Обидчивый какой. Беги, гони лодку скорее. А кобылок без твоих хватит: вон я сколько наловил! — Санек вынимает из кармана жестяную баночку и подносит к уху Стасика. — Слышь, как шумят? Карабкаются, живые! Играть будут на крючке. А твои все равно не годятся — полудохлые.

Стасик с задов тихо подкрадывается к мосткам, бесшумно отвязывает казенную лодку, чтобы старший объездчик не заметил, и угоняет.

Вооруженный длинным-предлинным удилищем Санек садится на нос.

— Смотри, правь по самой серединке Сока. Не бултыхни веслом! Лодку не гони: пущай несет ее течением. А на стрежнях попридерживай. Понял?

Эти наставления Санек делает таинственным шепотом. Мурашки по спине у Стасика от предчувствия удачного улова. Ведь рыбаку перед рыбалкой всегда чудятся золотые горы.

Солнце улыбается мальчикам во все свое весеннее лицо. Сок переливается золотистой чешуей. Играет большая рыба в камышах под лопушками, а то вдруг выплеснется на самой середке.

Идет или остановилась лодка?

Живые или неживые два мальчика на ней?

Один застыл, вцепившись в кормовое весло.

Другой на носу — не шелохнется.

Вот они тихо-тихо (не распугать рыбу!) выплывают на середину реки, пускают лодку по течению. И длинное нахлыстовое удилище со свистом начинает рассекать воздух по обе стороны лодки.

— Бжик... Бжик... — тонко поет удилище.

— Хлюп... Хлюп... — смачно хлопает о воду волосяная леса с насаженной кобылкой.

Нахлест берет рыбу на обман. Нахлест не дает рыбе опомниться. Хлюпнет кобылка о воду — вмиг хватает кобылку рыба. Кажется рыбе: это с берега свалилась в воду лакомая штучка. Не может рыба так быстро сообразить, какое коварство придумал ей парнишка в лодке. А рыбак не дает рыбе соображать: не схватила насадку, дерг лесу из воды и по другую сторону лодки:

— Хлесть.

Не схватила и там — снова налево:

— Хлесть.

Снова — направо:

— Хлесть.

Кажется, сидит мальчик в лодке на носу и поигрывает удилищем — обрызгивает Сок справа налево, слева направо, делает радугу: летят мелкие капельки от лесы навстречу солнцу, переливаются.

Переливаются, пока не клюнуло. А клюнет, не до радуги!

Заплещет рыба хвостом по воде, будто рыбаку аплодирует; потащит лодку в сторону, будто в гости — в омут к себе — приглашает; начнет мыкаться с лодкой по Соку, будто одурела от радости.

Тут рыбак не зевай: подсекай ее с налету, подводи ее сторонкой, не пускай рыбину под лодку.

— Держи сак, раззява! Поддевай, упустишь! — орет Санек на Стасика.

Растерялся Стасик, мечется по лодке с сачком, лодка того гляди опрокинется. А рыба выплеснулась и — в сторону: натянулась леса и дрожит и бежит по воде, как живая.

— Сюда! Ко мне поближе. Подводи сачок. В воду спусти его, в воду! Не бабочек ловишь — не игрушки тебе! Поддевай, поддевай исподнизу! Да не нагинайся сам-то: пойдет лодка перкувырдышки!

Общими силами подтаскивают бьющуюся рыбу к лодке.

— Голавль, Санек?

— Никак жерех...

— Ого, большина-то!..

— Ну, батёк!

— А брюшко-то какое!

— А зебры!

Вот она рыбина — протянул руку — и...

— Поддевай, говорят! Поддева-а-ай, орясина!

Знать, рыба в реке — не в руке: промахнулся Стасик, поддел изо всей силы пустое место, потерял упор и загремел на дно лодки, а сачок через голову и — поплыл...

— Эх, рыбака — гола собака! — презрительно покачал головой Санек и давай на чем свет наругивать Стасика. Стасик заплакал: всю коленку расшиб, а он еще ругается.

— Будя рюмить! Лови сак — уплывет. Правь, говорят! — Но, видя, что Стасик совсем не в себе от волнения (чего доброго, и весло упустит), Санек смягчился: — Ну, Стаська, перестань: одна ушла, другая не сорвется. Подумаешь, горе большое. Ну, не сердись, мы с тобой, как рыба с водой... Только вдругорядь не зевай, что у тебя руки-то крюки?

— Себя не помнил, — заикаясь от рыданий, говорит Стасик.

— Помнить надо. В кулак сожми сердце-то, чего как хвост овечий...

— Санек! Я больше не могу. Я лучше слезу. Поезжай один.

— Вот еще выдумал, баба! Правь! Вон стадо голавлей идет...

И снова лодка на середине реки.

И снова.

Идет или стоит лодка по Соку?

Живые или неживые на ней два мальчика?..

Когда особенно погожий день, когда без устали играет верховая рыба — таскает ее Санек из воды, все дно лодки покроет жерехами, голавлями, судаками.

Напрасно ищет лодку старший объездчик, напрасно кличет Стасика мать к обеду: верст на пять по течению спустятся рыбаки.

Обратно возвращаются медленно: против течения да еще с грузом. Устанут грести, выбьются из сил — вылезут на берег: тянут лодку, как волжские бурлаки.

Солнце закатится за Чихан, причалят к мосткам у барской купальни. Санек разделит улов поровну. Рыба живая, трепыхается. Санек по-рыбацки отбирает из своей доли только крупную и бьет одну за другой головою о борт лодки. Рыба судорожно дергается, широко раскрывает рот, глаза от боли выскакивают, кровь ломаными струйками расплывается по мокрой чешуе. Стасик не может переносить такого зрелища.

— Санек, брось! Зачем ты рыбу мучаешь?

— Молчи, ежели не понимаешь. Живую рыбу принесешь домой, не станет больше ловиться.

— Глупости это. Бабьи сказки!

— Ты больно умный. Какой мужик выискался! — насмешливо улыбается Санек. Потом задумчиво хмурится и перестает мучить рыбу, слушается ученого друга.

Вот что значит рыбалка с нахлыстом или с нахлестом, как говорят в наших местах.

Вот откуда деньги у Санька.

Вот почему после такой рыбалки Санек не остается ночевать в шалаше, а отправляется прямиком через Чихан-гору в Большую Каменку навестить мамку, рыбкой Степановну попотчевать.

Шалаш остается пустым: один Стасик ночевать в нем боится. А старший брат Владик ничего, кроме ухаживаний за гимназисткой Оглоблиной, не признает. Сколько ни зовет его Стасик в шалаш, не идет. Этот Владик большой дурак, хоть и усы прорезаются. Втюрился! Странно и глу-

по, только и можно сказать, по мнению Стасика. Ну, чего хорошего таскать под руку эту румяную пышку?

Скучно Стасику без Санька. Бродит он по берегу целыми днями, дежурит, чтобы не пропустить; как только друг покажется на той стороне — подать ему лодку.

Однажды, после особенно удачной рыбалки, Санек ушел и долго не возвращался. Только на петров день послышалось знакомое:

— Эге-ей! Ло-о-одку...

Санек пришел с целой вязанкой жерлиц, но был мрачен. Стасик теребит его, заглядывает в глаза, кормит сдобным пирогом с сагой и сомятиной, но друг молчит, как воды набрал.

— Я ждал тебя, ждал! — обидчиво надулся Стасик.

— Только тебе делов-то. А у меня жнитво. Ржи поспевают на высоких местах, смотрел сейчас по дороге... Прощай рыбалка.

— Знаешь что, Санек? Я поговорю с мамой. Она мне зимой по пяти рублей в месяц дает на карманные расходы. Я попрошу у ней вперед и дам тебе; ты найдешь татар, они уберут вам рожь, а мы будем все лето в шалаше жить и рыбачить.

— Дурак ты, Стасик! Не могу думать.

— Почему? Ну, давай наловим полную лодку рыбы, махнем по течению прямо в Волгу, спустимся до Самары— от Жигулей всего ведь тридцать верст. Речная рыба вкуснее, можно дороже продавать: на сто рублей продадим!

— Ты махнешь... Махнул один эдакий. Болтаешь, слушать нечего! Торговец нашелся. Рой глисту, лови кобылок. Я иду жерлицы ставить на ночь. Порыбачим как следует напоследки!

Санек говорит притворно строгим, спокойным голосом. А сердце гребтит: жалко прощаться с рыбалкой, жалко расставаться со Стасиком.

«НЕ УЧЕНЫЙ, А ЖУЛИК»

Большая Каменка всполошена вестью: в газетах про Каменку пропечатано, чего сроду не было. Просто воскресенье, а народу на бревнах как в престольный праздник. И сельский писарь сидит посередке в синих очках, с газетой. Писарь читает с перепойной хрипотцой; слушают — муха не прожужжит. Прочтет — взметнется галдеж, как на сходке; на матерный лад взовьется.

Подходят все новые.

— А ну-ка, Мариныч, прочкни разок: Панок послушает.

Мариныч — в который уже раз — надевает синие очки, разворачивает «Губернские ведомости», откашливается. Только читать закончит, снова:

— А ну, Мариныч, еще разик: Степан Кузьмич слухнет.

Степан Кусочков всю зиму сидел в губернской тюрьме за порубку леса, недавно вернулся и стал в глазах мужиков не просто Степан, а Степан Кузьмич...

— Только это, чур, в последний! — взмолился Мариныч.

— Ладно тебе! Только и делов-то, что языком трепать, — поощряет Кусочков.

— Шшш...

НЕИССЯКАЕМЫЕ БОГАТСТВА

Наш местный геолог Потанин, труды которого скоро выйдут из печати, недавно открыл громадные залежи минеральных удобрений в пределах нашей губернии, этим блестяще подтвердив высказанные задолго до него предположения. О существовании в наших местах залежей фосфоритов говорится в целом ряде книг и ученых трактатов, но до сих пор точного их местонахождения установить не удавалось, хотя из года в год в разных уездах нашей губернии велись раскопки.

Геолог Потанин задался целью во что бы то ни стало отыскать место наиболее мощного залегания пластов фосфорита. С этой прекрасной целью он заперся у себя в ученом кабинете для кропотливой исследовательской работы. Путем детального изучения строения почвы и прилежного штудирования допотопной истории нашего края самоотверженный деятель науки пришел к выводу, что залежи фосфоритов должны находиться в Самарском уезде, где-либо неподалеку от села Большой Каменки...

— Чего?!

Мужики, все время сидевшие с полуоткрытыми ртами и мало что понимавшие в закрученной речи провинциальной газеты, сразу встрепенулись при слове Каменка.

— Так и пропечатано: «Большая, мол, Каменка»?

— Может быть, Малая Каменка?

— А, може, Каменный Брод? Я знаю, есть там за Самарой. Тоже мордва живут.

— Знаешь ты! Те мордва откуда пришли? А мы вон откуда. У них и выговор-то совсем не нашинский. К примеру, у нас лошадь — алаша, а у них...

— Это мы говорим по-татарски алаша. А коренное мордовское слово, если ты хочешь знать...

Начался было спор, кто коренные мордва и кто не коренные, кто откуда и когда пришел за Волгу, но на спорщиков прицыкнули:

— Тише, шишиги!

...Пешком, без копейки денег, без чьей бы то ни было помощи отправился отважный ученый в вышеуказанный район. Многие месяцы ходил он, тщательно исследуя почву и растительный мир прилегающих к названному селению окрестностей. Геологу Потанину удалось, наконец, с точностью установить, что залежи находятся в холмистых разветвлениях отрогов Общего Сырта, в пределах так называемой Чихан-горы...

— О!

— Неужто и про Чихан?

— Чего же они там нашли? Там и трава-то не растет.

— Вот врут!

— Шшш...

...Открытием заинтересовалась группа местных предпринимателей и капиталистов.

— Все! — облегченно вздохнул Мариныч и поспешно снял очки.

— А ведь это тот, с дьяконскими волосами! Прошлый-то год приезжал...

Безрукий Барбин даже привстал от неожиданности своей догадки и взмахнул пустым рукавом.

— Быть он! — удивленно согласился Иван Яраскин, полуслепой от трахомы мордвин.

— Эх, какие вы догадливые! — насмешливо удивился Степан Кусочков.

— Как расписали-то: пешком, грит, без копейки. Эх, мать их, чего делают! — снова приподнялся Барбин, запуская единственную руку в свой лохматый и рыжий затылок.

— Расписали — пускай: на то они и писатели, Барба! А вот об Потап Митриче ни гу-гу, — снова вмешался Кусочков. — Потап Митрич, как ты об этом?

Митрич молчит, свесив голову.

— Вроде бы чаркой обошли тебя? А?

— Чего пристаешь к старику? Знамо, жулики! Хоть кому доведись, — вступился Панок. — Говорил я тебе, Митрич, наплюнь на все, айда на нову землю. Разве народ здесь!

— Ну, кто о чем, а Панок о своем. Чего ты на народ? Тут не народ, а ученые.

— Ай да ученые!

— И правда, жулики, мать их не замать!

— Что за шум, а драки нет? Мир вам! — степенно шутит, подходя, Сергей Павлович Палагин, как дуб высокий и разлапистый.

— Не бай, не говори.

— Дела деловые, палки еловые!

— Дела те в халате, да коротки рукава те, — протяжно тянет Степан Кусочков, поглядывая на согнувшегося Митрича. — Ну-ка, Мариныч, прочкни: Сергей Палыч послухает.

— Ну вас к лешему! — крутит шеей Мариныч. — Горло пересохло.

— Ужли не промачивал? — сочувственно спрашивает Степан.

— Сергей Палыч сам не хуже меня прочитает. На-ка, вот тут! — ткнул пальцем Мариныч.

— Что за диковина? Почитаем.

Хоть и в самотканой ходит рубахе Сергей Палыч (его все так зовут), хоть и в молоканах обретается, вроде как нехристь выходит, а дельный мужик и по библии грамотный. Переползает со строчки на строчку строгий мужичий глаз, упрямые губы шевелятся.

— Чего ты для себя? Читай на воздух! — просит Иван Яраскин.

— Дай срок, келя![1] Чай, я не писарь сразу-то читать.

— А ему бы все слушать, вот ненасыта! Сколько раз слыхал! — спрашивает Кусочков.

— Больно чудно, Степан Кузьмич! На бумаге сказано: Каменка, Чихан... Да кто знал про нас, про мордвов, допреже-то. Вот я про что, Степан Кузьмич... Чего ты, Палыч, ворожишь всамдело? Ловнык![2] — поддержал и Барбин. Сергей Палыч не спеша прочитал всю статью, обстоятельно осмотрел газету со всех сторон и сказал спокойно:

— Ну и жулябия!

Барбин снова привскочил и взмахнул пустым рукавом:

— Ах ты, екуня Ваня! Митрич, пиши апелляцию! Я, мол, ему, сукину сыну, показал: как кошку, мол, в дерьмо очкищами ткнул, а про меня ни четь-словечка!..

— Иха воля, — примирительно вздохнул дед Силуян Иванович, — чего хотят, то и пропечатывают.

— Иха воля! — передразнил Барбин. — Они эдак возьмут да и пропечатают, что всех ребятишек в нашей Каменке пристав сделал.

Мужики рассмеялись.

---

[1] Мордовская присловка.

[2] Читай!

— Чай, пристав не мирской бык. Что ты, Барба!

— Сроду так. Жизня наша индейская. Поумнеем, что ли, когда али дураками сдохнем. Солдаты на войне город заберут — к награде ведут генералов, а в «Ниве» патреты печатают: все герои с мочалами на плечах, ровно они одни и воевали, а нашего брата и убитого ни одного нет. Ах ты... — и Барбин злобно изматерился.

— Эксплатация называется. Фактически! — раздался сердитый голос Панка.

— Зачем про тебя, Алексей Иваныч, не пропечатают и разочка? — ласково обратился к Панку Степан Кусочков. — А следовало бы...

Хохот.

— Смейтесь, необразованные ваши физономии! — огрызнулся Панок и хлопнул Митрича по плечу. — Чего, старик, призадумался? Наплюнь на это дело с высокой повети. Мало ли что в газетах назвонют. Поверить — так у нас не земля, а золото: и обманиты, и супостаты разные в ней есть. На самом-то деле ни хрена в ней нет. Голая у нас земля. Бежать от нее надо взлягышки! — Панок сел на своего конька. — Пускай их завод открывают, у кого деньги бешеные: обожгутся на нашей земельке-то.

— Чем запугал, жалко им деньги народные! — подзуживает Степан.

Панок ударил малахаем о землю:

— Эх, дали бы мне сто рублей! Улетел бы я от здешнего золота вольной пташечкой. Эх, едрит твою под корень!

А дед Силуян качает головой, говорит певуче, раздумчиво:

— И скажи, братцы, на милость, что с землей нашей попритчилось? — семь грехов с половиной... Говорит Панок: земля у нас плохая, никудышная. А давно ли это самое? — семь грехов... Раньше сеяли гречиху, горох; в три года раз сеяли и не съедали. Каждый год сеять — сусеков в амбарах не хватило бы. До самого вешнего Миколы сеяли, суши не боялись. А ноне, ежели с воды не посеешь, не жди...

— Что старое вспоминать, дед? Много ли в этом радости, коли теперь двадцать челяков едва натюкаешь с десятины. С хозяйственной!

А дед с приглушью да с прислепью продолжает вслух свои стариковские думы:

— Дожди идут несусветные, снега лежат трехаршинные — весной в половодье наскрозь земля пропитается, а рожь родится редкая, семь грехов с половиной. Колоски у ржи, что головки булавочные, в небо торчат, насмехаются, семь грехов... Высохли соки в земле, высохла живая кровь в мужичьих жилах. Течет по нашим жилам рыбья кровь: синяя. Не греет сердца эта кровь, не радует мужика. Эхе-хе-хе...

Голова седая на грудь клонится, размашисто качает головою дед Силуян.

Митрич первым прервал молчание:

— Что ты, Силуян Иванович, причитаешь, как келейница по покойнику. Нет у нас умного человека, кто совет бы дал — вот и все. По-новому надо хлеб сеять, по-новому землю обхаживать. Что мы руки музлаем? Что мы спину гнем внапраслину? Разузнать надо толком: какой завод собираются строить и какие там будут удобрения? На навозе нам дальше ехать некуда. Какой навоз от нашей скотины?

— Скотина, знамо.

— Скотина лядащая.

— Ну вот! А тут будет — фосфор! Он даже на мозги человеку идет, не то что на поле.

Мужики чешут затылки, малахаи на лбы сдвинулись.

— Больно умен хочешь быть, Потап! Широко плюешь, семь грехов с половиной. Чего ты дашь земле, коли у нее свои нутряные соки вышли. Чего ни дай — попусту, мертвых не воскресишь.

— А ну вас к ляду! Сами вы мертвецы! Только и знаете — воняете, — Митрич вскочил с бревна, бросил на ходу отрывисто: — Глаза бы на вас не глядели! На край света ушел бы от вас, как панково дело.

— Правильно, Митрич! Погодь, и я с тобой, — обрадовался Панок. — На нову землю надо. Фактически! Меня об этом давно пленила мысля...

Молчат мужики. Косится солнце на мужиков, идя к вечеру. Покачивается седая Силуянова голова:

— Не воскресишь. И нам всем смерть, семь грехов...

— Сдыхайте, ежели ничего протчего не знаете! — отрезал Панок, подымаясь за Митричем.

Разозлившийся Барбин кричит им в спину:

— Вы больно много знаете — ученые! Клады ищете. Новые земли понадобились. Кладу не ищи, а землю паши!

— То-то вы пашете до глины, а едите мякину, — со смехом обернулся Панок.

— Либо пахать, либо песни играть. Доиграешься, голубок, погоди! Вот был обыск у Митрича — мало? Еще в острог запичужат за речи ваши и за книжки разные. Обоим вам туда дорога, смутьяны!

Сергей Палыч, все время хмуро молчавший, дернул Барбина за рукав:

— Зря ты, Барба! Чего орешь на всю улицу? Правильны Панковы слова: не всякий пашет, кто и хлеб ест.

— Зло берет на эту жизнь. Тоска под сердце подкатывается! Не знаешь кому рожу бить за жизнь такую... А они кочевряжутся, — мрачно нахмурился безрукий Барбин.

Успокаивал мужиков, ругал мужиков за уныние, а себя успокоить Митрич не мог. Сидит в избе и целыми часами думает о нужде мужицкой, о помещичьих наливных полях, о мужицких полосках, исковерканных сохой.

Стал Митрич нелюдим, в сельских разговорах не участвует, камни и камушки больше не собирает.

— Будя!

Неделями сидит за книгой: так называемая популярная геология, — приезжавший ученый подарил. Десять лет искал Митрич тот особый камень с желтыми переливами, который бы в крепкой водке не шипел. Нет такого камня. Не может даже быть его среди обломков морен и размытых кварцевых пород. Есть глины самых разных цветов: и желтые, и красные, и синие. Но в глинах нет ни золота, ни серебра. Мелу есть целые горы. А кому он нужен? Разве что мазанку выбелишь. В долах песок да глина, на склонах холмов — камень.

Кроет мужик поля навозом, поливает потом — все равно не родится хлеб. Не поймет Митрич: как земля могла истощать, каких соков не стало в земле, что она родить отказывается. Голова болит от думы, а в голове яснее не делается.

Тетка Варвара бранится с каждым днем надсаднее и злее, житья не стало.

— Эх ты, лодырь царя небесного! Погубитель ты мой. Накачался ты на мою шею, статуй!

А тут еще студенты понаехали изыскания делать, то и дело бегут к Митричу: никто лучше его не знает здешних мест.

Вслушивается Митрич в разговоры изыскателей: «делювий», «слювий», — не понимает.

— Вы по-русски расскажите мне одно: откуда же у нас песок на поле, а рядом у черновских непроворотный чернозем? Ума не приложу.

Начнут ему по-русски: про гранитный щит Скандинавии, про Юрское море, под которым миллионы лет тому назад была часть губернии...

— Это и в книге у меня есть, да не пойму никак. За три тыщи верст принести льдом такие камнища! Да что вы, ребята, смеетесь над стариком? С ногами они, что ли, морены-то?..

Зато когда постройка завода началась, стало Митричу понятнее. Он хмуро, но пристально присматривался, не как остальные каменские мужики. Остальные посмеивались над барской затеей, глядя, как Грязнов мыкается туда-сюда на своей кобыле: переговоры ведет, распоряжения дает, поденщиков в Каменке нанимает.

— От безделья бесится.

— Весь Чихан теперь разворочают!

— Этот хоть на лошади проминается, а Михайла Оглоблин пешком по залогу целый день шагает, будто землю мерит: дикое мясо, вишь, наросло — он эдак лечится. Мочион делать доктора приказали.

— Небось, впрячь его в оглобли, как рукой сымет всю хворь и весь твой мочион.

— А эти, с казенными-то сундучками на головах, все ищут чего-то.

— Ищи не ищи, а толку чуть: камень сквозной.

— Архипов, бают, много дал Грязнову взаймы.

— Плакали денежки!

— Пусть бы рыдали — не жалко. Только платил бы поденных побольше, а то за гроши нанять норовит.

— Чижало копать нашу землю, прах ее возьми!

Митрич на поденную не нанимается, но целыми днями торчит на постройке.

В курмыше смеялись:

— Вот еще дурашман выискался! Ровно для него завод строится.

Днем на постройке торчит, а вечерами снова за книгой сидит: все-таки хочется Митричу побороть так называемую популярную геологию. Не дается наука: день ото дня становится старик молчаливее и мрачнее.

Тетка Варвара решила положить конец: шабры засмеяли. Улучила минутку — на мужа набросилась:

— Взойдешь ты в разум когда-нибудь? Бросишь хозяйство зорить? Бросишь слонов продавать без копеечки? Что тебе грязновская выдумка — дитя родное?

— Варварушка, не суйся не в свое дело. Давно я тебя христом-богом прошу: брось ты меня сживать со свету.

— Я тебя сживаю? Ах ты, бесстыжая образина! Ах ты, наригатель!

— Перестань, пожалуйста! Все равно не будет по-твоему, пойми!

— Ах, так?! Не будет по-моему? Ну и по-твоему не бывать, так и знай! Завтра же я ухожу от тебя, самашедший дьявол! Что я, лыком говенным к тебе привязана?

— Уходи! — спокойно ответил Митрич. — Давно собираешься...

— Та-ак, — удивилась тетка Варвара. — Ученый стал? А жену побоку? Жена вон ступай из дому? Нет, ты вон из моего дома! Я его наживала. Своим горбом!

— Я тебя не гоню, Варвара! Только слушать твою ругань больше не хочу.

— Я знаю, что тебе наплевать на мои слова. Что бы жена ни говорила, как стенке горох. Ну, ладно: я тоже не желаю больше даром слов терять. Не на таковскую напал! — тетка Варвара вырвала книгу и бросила к порогу.

— Варвара!

— Чего белками ворочаешь? Страсть как испугалась. Страшно да не боязно.

— Маманька, перестань! — заголосила двенадцатилетняя дочь Нюрка.

— Ты еще куда лезешь? — тетка Варвара дала дочери такого подзатыльника, что та тоже отлетела к порогу.

Митрич молча поднял книгу и снова сел за стол, бережно расправляя смятые листы. А тетка Варвара встала у чулана, подперла подбородок рукой:

— Эх, бессовестный! Эх, бесстыжие твои зенки...

— Не мешай! Последний раз тебе говорю... — и закрыл уши руками.

Тетка Варвара перестала голосить и затопала ногами, закричала, как на маленького:

— Я тебе тоже последний раз говорю: брось шалберничать! Бросишь? Говори сейчас! Молчишь? Закрылся? Вот тебе! — схватила коромысло из чулана и огрела Митрича железным наконечником по загорбку. — Вот, если слов не понимаешь! Вот еще.

Отшатнулся Митрич. Потом встал с табуретки, схватил бабу за космы, ударил об пол. И медленно, молча — и кулаками, и каблуками — измял в кровь.

— Караул! Убили...

Пролежала тетка Варвара месяц в постели. Встала согнутая, молчаливая.

Дивовалась вся Каменка: первый раз избил Потап Митрич Солонин свою жену. Да еще как!

— Дивуй бы спьяну или смолоду.

— Мужик-то какой смирна-ай.

— Вот те и клад!

— Вот те и золота руда!

— Не бей по голове, колоти по башке.

— Лупи своих — чужие бояться будут.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МОНАСТЫРЬ

Большекаменский ревком. Работа — в дым. Галдеж — напролет. Декрет о земле.

А снаружи конский топ:

Нарочный!

Новый декрет.

И снова.

Работа — в дым. Галдеж — напролет. Новый декрет в работе.

А снаружи конский топ:

— Примай декрет!

— Давай, айда!

Декрет за декретом и над декретом декрет.

Впрыгнула Большая Каменка — после германской войны, после революции Февральской, Октябрьской — в новые сани. В оглоблях — ревком. Ревкому вожжи — власть на местах. Ревкому кнут — декрет. Все декреты хватаются с маху. Центр палец покажет — места всю руку берут. А сколько дел сделал Большекаменский волревком, не дожидаясь декретов из центра!

И вот.

Новый пришел декрет. Тоже с нарочным.

И первый раз, как разбежавшийся конь перед прегра-

дой, остановился волревком. Затоптался на месте. Гай, ор, крик.

Не выполнить нельзя — и выполнить мудрено.

Не выполнить нельзя.

Всем. Всем. Всем. Немедленно!

Выполнить — не в ту жилу попадешь, пожалуй...

Волосы рвет Панок — председатель ревкома: приходится идти на уступку. Кому?! Монашкам!

Послали подводу за игуменьей монастыря: просим, мол, в ревком для переговоров. Не приехала мать-игуменья. Второй раз послали — не желает дела иметь с ревкомом, хоть ты что с ней! И в третий вернулась подвода порожняком.

— Подрыв центральной власти! — гремит негодующий Панок.

Длинный, жердястый, весь рыжий, раскраснелый весь от злости мечется Панок.

А дело и впрямь откладывать дальше нельзя: потянулись в монастырь все обиженные. Потап Митрич, который сначала был за то, чтобы повременить с этим делом, попробовать миром да ладом, сам сказал председателю:

— Правда твоя, подрыв получается.

— Очухался? Фактически! — обрадовался Панок и собрал ревком.

Постановили — комиссию.

— Баста полтораста! — еще проворнее мечется по правлению повеселевший Панок. — Поворачивайся, комиссия! Копуши! А еще солдаты. Накрыть, пока не пронюхали! Попрячут все, сам черт не найдет. Эй, Софрон, готовы лошади? А сам готовый? — кричит Панок.

— Не поеду, я, товарищ Панков! — виноватым голосом отвечает Софрон.

— Почему такое? Саботаж декрету революционной Советской власти?

— Не могу греха на душу положить.

— У-у, балаболка! Небось Грязнова возил к монашкам, когда кучером у него был. Не грех было? Вместе, поди, плёшничали? Комиссия, не расходиться! Степан, ты куда? — Поймал за рукав шинели Степана Кусочкова.

— Сейчас я, Алексей Иваныч! Лошади замешу на минутку, с утра голодная.

— Ты спятил? Есть когда об лошади! Говорил я, не надо тебе лошади давать. Только получил, а уж смотришь в сторону? Вернись, говорят!.. Наградили безлошадника. Проторизовать вас, чертей! А они: «Дать ему лошадь, в жисть не имел». Вот и дали! Он теперь всю революцию на лошадь сменяет, — кричит Панок в сторону Митрича.

С правленской подловки, где штаб волостной революционной дружины, сошли два солдата — члены только что выбранной учетной комиссии — с берданками.

— Это еще зачем? Вы пулемет бы взяли. Танку бы прихватили. Дьяволы! Сказано: мандат и — больше никаких. Власть мы на местах или дерьмо на лопате? Санек, готовы мандаты? Давай подпишу!

— Сейчас, товарищ председатель! Сначала тебе самому дядя Митрич подпишет.

Митрич сидит за столом, задумчиво нахмурясь, крепко закусив свою сивую бороду. Он, не спеша, берет мандат и, отнеся руку в сторону, рассматривает исподлобья.

Панок на него:

— Чего, старик? Давай, коль, сам себе подмахну!

— Не строчись. Дай срок...

— Эх, Митрич, старый стал.

— И ты не зря ли молодишься? Прыгаешь, как мышиный жеребчик.

— Я прыгаю, а ты хвост поджимаешь. Не можешь, чтобы по приказу революционной Советской власти... — Панок хлопнул старика по плечу и коротко рассмеялся:— И черт под старость в монахи пошел, а ты дрейфишь.

— Не я. Мир. Слыхал, что Софрон баит?

— Мир, народ, обчество... Слыхали мы это есерство. Сказано по большевицкой программе и — крышка! — Митрич, вздохнув, подписал мандат.

Панок уже напяливает дырявый чапан на драный полушубок, сам кричит:

— Все, что ли, комиссия? Едем! А где Степан? Эх, за смертью вас только посылать.

— Не накаркай! — говорит Митрич, грузно вставая из-за стола.

Солдаты — к Панку.

— Председатель, так безо всего и поедем?

— Леворверы есть, чего еще? Не на немца...

— С немцем-то мы знаем как разделаться, а тут...

— Разговаривай! Вот кто у нас за секретаря? Надо на рифметику шустрого: подсчет будет, гляди, не маленький.

— Какие мы рифметчики? Санька придется...

Панок посмотрел на «технического секретаря» и улыбнулся:

— Да он не хочет.

— Хочу, товарищ председатель! Возьмите! — крикнул Санек так громко и радостно, самому неловко стало.

— Ишь ты. Думаешь, медом накормят?

— Как же он поедет — не выбранный?

— Так и поедет! Кабдация. Не слыхали такого слова? А еще на фронте были, революцию делали. Санек, ментом беги-собирайся, одна нога там...

— Я готов.

Лошади холеные, сани войлоком обитые, с задками: у лошадного класса тройку под комиссию мобилизовали. Кучкой солдаты на крыльце. Кучкой старики вкруг Софрона на площади.

— Счастливо! — кричат солдаты.

— Антихристы... — шипят софроновцы.

Лошади рванули. Митрич напутствует вдогонку:

— Не горячись, Алексей Иваныч! С монашками повеликатне.

— Баста полтораста! Под благословение подойду, ручку мать-игуменье поцалую! — хохочет Панок, высовываясь из саней.

— Действуй, действуй, Панок, по-военному! — смеются солдаты.

— Дай дуракам волю, они и две возьмут, — хмурятся софроновцы.

За тройкой женщина бежит по площади. Увидал Санек, стебанул лошадей, — чуть из саней комиссию не вывалил.

— Ну, ты, кучер! Правь как следовает. Чего оборачиваешься?

— Мамка...

Остановилась Степановна, смотрит вслед удаляющейся тройке и причитает:

— Санек! Сыночек ты мой. И куда ты уехал? С большими. Хоть бы хлебушка взял на дорогу — с утра ведь не емши. Уху-ху...

День русский, декабрьский. Скрипят полозья по захрясшему снегу. Накатанная дорога слепит глаза.

— Вот испугаются монашки! Все подолы обмочут...— шутит Панок.

Взъехали на Чихан-гору. Вся она изрыта, в яминах. А под горой — разоренный грязновский заводик.

— Тпру! На Митричеву владенью заехали. Ребя, попробуем здесь леворверы?

Все слезли. Солдаты осматривают Митричевы рытвины.

— Окопы хоть куда...

— Чего он тут копался-то?

— Жилу искал, — смеется Панок.

Выбрали выступ покрепче, начертили круг.

Выстрелы режут морозный воздух на толстые ломти. Лошади вздрагивают и шарахаются, еле удержать. Санек

сердится, бьет лошадей по мордам: ему тоже хочется испробовать свой наган.

— Ну, кучер, иди и ты тарарахни разочек, — вспоминают, наконец, о Саньке.

Долго метился Санек. Зато приурезал чуть-чуть не в цель: каменная пыль задымилась змейкой. Вторая мимо пролетела, как не было. Санек с досады третью следом шлет и прыгает от радости:

— Тут! Вот она, как вляпана...

— Будя! Отниму штучку, — грозится Панок. — Садись на козлы, буран собирается.

Солнце скрылось, посинел Чихан, полетели первые белые мушки. Далеко внизу, за Чихан-горой, темнеет лес по берегу Сока, сияют монастырские главы.

— Снаружи — страсть революционный: красного кирпича весь, — указал Панок.

— А стены — вышина-то: крепость! — удивляется солдат.

— Прежде, чем перелезть, подумаешь! — вторит другой.

— Лазют, когда мужика захочется. Как черные кошки карабкаются...

В монастыре зазвонили к вечерне.

— Со звоном встречают, мать их не замать! — смеется Степан Кусочков.

Санек тоже смеется и повторяет, подражая колоколам, нараспев:

— К вам... К вам... Едем к вам...

Кусочков под вечерний торжественный звон рассказывает скабрезные истории о похождениях монашек с работниками.

— Эх, Барбу не взяли: он бы подряд их, без счету...

Звон оборвался. Всем стало не по себе. И буран сразу гуще повалил. И будто валится вместе со снегом на голову — прошлое. Каждый в детстве бывал здесь не раз: на поклон к чудотворной иконе богородицы «Всех скорбящих утешение». Далеко по округе эта икона славилась. Приходили к ней в благоговении, страхе и трепете. А теперь... Приумолкла учетная комиссия.

У Санька память моложе всех: будто вчера только были здесь с матерью. Вот они в рукодельной мастерской. Сидят молоденькие-молоденькие монашенки; все черные, как грачи; все быстро-быстро вяжут, вышивают шелком; лица под платками низко спрятаны; глаза светятся: обнимают, щупают, щекочут мальчика их потайные взгляды. Взгляды юрко бегают, перекрещиваются, как шелковые мыши. Вздрагивает Санек от незаметного прикосновения этих шелковых мышей, истома разливается по всему те-

лу, хочется сладко потянуться и лечь на мягком вышитом коврике на полу. А мать дергает сына из стороны в сторону: примеряет ему плетеный черный шелковый с кистями пояс. И долго торгуется из-за цены со старой и строгой монашкой в клобуке...

Еще помнит Санек церковь — пустую и мертвую. Службы там никакой не было: стоял там посередке каменный статуй — христос, ростом с Митрича: по бокам два ангела, тоже каменные. Санек боялся этой церкви, а мать первым делом тащила туда и заставляла руку целовать у христа. Рука белая, холодная — и тошно делалось Саньку, будто живого мертвеца целует. Есть ничего не мог после целования, когда приходили в корпус на ночлег. Мать начинала охать у изголовья: не заболел ли сыночек?..

Помнит Санек службу: страшный живой клубок людей, дикие вопли припадочных и кликуш перед черной чудотворной иконой и жалобные рыдания матери на полу; сапогами, лаптями, ботинками мяли голову матери, и мальчик никак не мог поднять с полу обессилевшую женщину...

Вот они — эти самые тяжелые железные ворота с иконами!

Санек отогнал воспоминания и остановил лошадей.

В монастыре уже знали о комиссии: еще днем, заранее, с этой вестью прискакал из Каменки парнишка Махай, сын прежнего старшины и теперешнего церковного старосты Пузанкова. Мать-игуменья тут же созвала старших сестер на совет. Был на этом совете и помещик Грязнов, под большим секретом скрывавшийся в монастыре со всей своей семьей.

Комиссию встретили монашки с хлебом-солью. И сама игуменья, черная дебелая дева в высоком клобуке, вышла навстречу.

Комиссию попросили в трапезную, лошадей в конюшне на овес поставили.

В трапезной фыркает двухведерный самовар, цельная рама сотового меду струит пряный луговой запах. В трапезной пахнет сытой, теплом, покоем.

— Откушайте с дороги во славу божью, — смиренно потчует мать-эконом.

Утерпит ли мужик от чая, да еще с медом вдоволь! Когда он видал столько меду на столе? Но Панок за всех наотрез отказался от угощенья и сразу к делу приступил.

Мать-игуменья не противилась, попросила прощенья, что из-за своих немощей не могла приехать в ревком по вызову, и, не дожидаясь вопросов, начала, сама рассказывать обо всем монастырском хозяйстве.

— Извините, товарищ мать-игуменья! — прервал ее Панок и вынул из папки бумагу. — Вы этот декрет Совета Народных Комиссаров знаете?

— Да, читала в губернской газете.

— Мы есть власть на местах. Мы есть власть законодательная и исполнительная. В этом деле мы только исполнители декрету, для чего у нас имеется мандат.

— Не надо, я знаю, кто вы. Пожалуйста, делайте, что нужно.

— Мы, как учетная комиссия, ничего у вас не возьмем, только опись государственного советского имущества требуется.

Мать-игуменья повела комиссию в кладовые, на скотный двор, по амбарам. Всюду был порядок, везде встречали заведующих и прислуживающих — все из монашек. Мать-игуменья распорядилась всюду отпереть замки, все показывала, обо всем, подробно докладывала. Заведующие и прислуживающие монашки, одни в скуфьях, другие в платках, встречали и провожали комиссии молчаливыми низкими поясными поклонами. Мужикам даже неловко стало: ходят за игуменьей, свесив головы, словно приговоренные. Один Панок выхаживает, как хозяин осматривает, расспрашивает, примечает. Мать-игуменья охотно дает разъяснения. Даже кассу несгораемую мать-игуменья тут же хотела отпереть. Правда, ключ оказался у мать-ключницы, но та с часу на час должна явиться. Комиссия может не беспокоиться: касса у них вся заприходована в книгах. Книги мать-игуменья тут же передала на руки Панку.

— Ну вот... Зря грешили на монашек, — шепнул Степан Кусочков.

— Не зря, а в куче! — оборвал его Панок.

Тем временем смерклось. А пурга не унималась.

Комиссия снова возвратилась в трапезную. Санек вывел заглавие:

АКТ

о взятии на учет народного имущества в Архангельском женском монастыре «Всех скорбящих утешение» Большекаменской волости...

Санек подумал и жирно вычеркнул «всех скорбящих...»

Акт получился не маленький.

А тепло кости распаривает. А мед пахнет полем. А на столе разносолы откуда-то появились. И... красное причастное вино.

Если бы вы знали, как проголодалась комиссия!

Смотрят члены комиссии на стены, на окна, на потолок, чтобы только на стол не смотреть. Голубые масленые стены, высокий белый потолок, узкие окна с ореолами, как в церкви. Солдаты кряхтят, беспрестанно крутят махру, густо сплевывают под стол. А слюна сама течет!

Наконец, и Панка засосало: начал коротко, нервно покашливать и все чаще посматривать на стол.

Только Санек, примостившись на краешке стола, вдохновенно пишет, торопится, увлекается, не глядя, раздвигает явства: акт составлять мешают.

В окно бьется ветер снежными крыльями, словно тоже рвется к столу. Даже высокие стены монастырские не могут остановить вьюгу. А что теперь делается в степи!

С монастырской колокольни зазвонили к бурану. Монашки, как по команде, перекрестились. Над самыми головами членов учетной комиссии падают удары большого колокола — уныло, редко, монотонно. Не по себе становится от этого звона; представляется степь, люди, плутающие в белесой тьме бурана, замерзающие в сугробах.

Панок, обойдя стол сторонкой, пристально посмотрел сквозь окно, прислушался к вою вьюги, к звону и решительно тряхнул головой:

— Придется заночевать, товарищи! Как смотрит комиссия?

— Смотри не смотри — куда в такую непогодь поедешь?

Степан Кусочков не выдержал:

— Спать бы уж, что ли, скорее... Терпенья нет!

— Чего ты, Степан! Что толку в спанье? — Панок кашлянул раз, другой и хрипло выдавил: — Почаевничаем!

— Угу! — хором ответили члены комиссии и придвинулись к столу.

— Садись, Санек! Отдохни маненько. Потом докончим честь-честью.

Игуменья приветливо улыбнулась:

— А меня прошу уволить до утра. — Панок мотнул головой, не в силах слова вымолвить набитым ртом. — Прошу комиссию подкрепить силы. Пожалуйста, не стесняйтесь, если будет мало. Вот мать-эконом все вам предоставит. — Та в знак послушания поклонилась игуменье в пояс, а игуменья комиссии поклонилась и вышла.

Мать-эконом потчует, монашки прислуживают. Уплетают мужики разносолы, прикладываются к красненькому, наворачивают мед ложками.

После трапезы завязалась тихая, чинная беседа.

Говорит мать-эконом:

— В миру над нами смеются, а у нас ведь коммуна. Теперь мы хотим совсем на светский лад перейти: устав вырабатываем новый...

— А Миколашка зачем у вас висит до сего время? — лукаво подмигивает повеселевший Степан Кусочков на царский портрет.

— А нам и не ума! — спохватилась мать-эконом. — Давным-давно повешены, и забыли про них.

— Забыли ли?

— Мы снимем, сейчас же, на ваших глазах, — засуетилась монашка: — Сестры!

Степан берет мать-эконома за руку:

— Не надо, мать... как тебя звать-то по имени?

— Мать Евпраксия.

— Так вот. Это просто к слову пришлось, Евпраксеюшка!

Панок строго перебил:

— А потом все-таки примите меры. Не место им висеть!

— Слушаюсь, товарищи!

Мать Евпраксия поклонилась в пояс, Панок сердито отвернулся.

Беседа за столом продолжалась. Мать Евпраксия выпила рюмочку красненького, много смеялась. Потом неожиданно поднялась:

— Теперь и меня увольте, товарищи! Вам спокой нужен: спите со господом. Если ночью что понадобится, дежурные сестры все вам сделают. Они здесь будут спать, рядом комната. Пригласите их.

Черницы посмотрели вслед — ушла ли? — и сразу оживились, начали наперебой рассказывать о неправильных порядках в монастыре, о том, как много заставляют их работать. Они совсем недавно поступили в монастырь из деревень: без залогу. Им здесь уже надоело батрачить на старших сестер.

Убрав со стола, черницы принялись готовить постели приезжим.

После плотной еды, после красненького усталость набок валит мужиков: сколько дней подряд не спали как следует!

На мягкие перины уложили комиссию черницы, а сами удалились в соседнюю комнату. Не притворивши двери...

Потонули мужики в перинах:

— Вот житье! Помирать не надо.

— Да-а-а... А тоже ведь — трудящие.

— А ты как думаешь? Слыхал, сколько приходится работать до пострига.

— Да еще кажну ночь без мужика, — вставил Степан Кусочков и потянулся так, что кости хрустнули.

— У тебя, Степан, видать, губу разъело. Давеча мать Евпраксеюшку за белу ручку взял...

— И-эх! Подежурил бы на перинке с монашенкой молодой! — Степан свесился с перины и тихо солдатам: — А что это экономка про дежурных-то выразила? Може, и вправду?.. Вон и дверь оставили не притворя. А? Не попробовать ли сдобненького...

Мужики зашептались.

— Стяпан! — прикрикнул Панок из угла.

Шепот смолк. А через минуту заиграли горлами члены учетной комиссии на разные лады.

Санек плавает в полузабытьи: то всхрапнет, то мигом проснется.

Спит комиссия. Не снится ей, что мать-игуменья отправила посланцев в Ершовку:

«Каменские приехали монастырь грабить. Спасите!»

Ершовка всего в двух верстах от монастыря, поэтому ершовцы считают монастырь как бы своим. Хотя и Ершовка и монастырь Большекаменской волости, но с революции этот вопрос спорный: ершовцы сами себя объявили волостью.

Спит комиссия. Не снится ей, как тонко рассчитала мать-игуменья.

Ночью один Санек проснулся вовремя, и то еле-еле успел выскочить. Но выбраться из монастыря и ему не удалось бы: стены прямо тюремные, да сгоряча попал Санек в склеп и наткнулся там на схимницу, заживо похоронившую себя в раке. Схватил ее Санек за грудки, насмерть перепугал и, сам вконец перепуганный, еле успел добиться от нее, где потайной выход.

Прямиком через Чижан, себя не помня (только ноги знали привычную дорогу), прибежал Санек в Большую Каменку:

— Дядя Митрич, в монастыре комиссию убивают. Вся Ершовка сбеглась!

Митрич, сидя, спал в правлении при семилинейной керосиновой лампе. Вместе дежурных дружинников на правленской подловке взбулгачили. Послали за остальными — на площадь начали сбегаться солдаты.

Митрич выбежал в темноту и заплутался у крыльца, тычется как слепой, сам кричит:

— Солдаты! Чего кружитесь? В Миловку надо. К Сомову! У них дружина максималицкая: патроны, бомбы, есть пулемет.

— Да где ты сам-то, Митрич! — кричат ему.

— Заплутался я у крыльца, греха-то мало. Куриная слепота напала: зги не вижу ночью. Кто это?

— Я. Айда сюда!

— Ты, кум?

Сергей Палыч Палагин вывел Митрича на свет от лампы.

— Чего теперь делать, Митрич? У нас патронов ни единого! — окружили его дружинники.

— Прислали нам из города берданки без патронов.

— Ублаготворили, называется!

— Эх, где теперь моя винтовка! Дурак, оставил...

— Поздно об этом обсуждать, ребята! — перебивает Митрич. — Говорю — в Миловку! У них там все — патроны, бомбы... Ехать надо!

— Кто поедет в такую непогодь... — слышится недовольный голос.

— А как же теперь: хорошей погоды дожидаться, пока не перебьют всех?

— Там и днем-то надо знать, где ехать.

— Съерашишься в Мордовский овраг — костей не соберешь.

Митрич снова перебивает:

— Кому костей не жалко? Солдаты!

Молчат.

— Мне, видно, не грех: я молоканин. А кости у меня не гнутся, не ломаются, — решился Сергей Палыч и крикнул в толпу: — Кто дорогу знает? Показывай!

— Кому знать, окромя Софрона.

— Позвать одним ментом!

— Не пойдет.

— Не пойдет, так поедет! Тащи с конвоем этого саботажника.

Софрона сняли с печки. Оглоблинского жеребца мобилизовали. Митрич на Софрона строгостей напускает с крыльца:

— В Миловку Сергей Палыча свезешь. Дело требует. Понял?

Софрон косится на ощеренные берданки, молчит.

— Не хордыбачься! Понял?

А Сергей Палыч уже садится в сани:

— Ну-ка! Грязнова ты всю жизнь катал, — прокати меня, кучер барский, один разочек, как Грязнова!

«Я те прокачу, молоканская рожа!» — подумал Софрон и молча взял вожжи привычной рукой.

— Трогай! Сроку час.

— Что же мне — лошадь загнать?

— За жеребца ревком в ответе. Гони в нашу голову! — говорит Митрич.

— Эх ты, купецкий! — гикнул Софрон по-кучерски, привстал на козлах, вожжи взвились над жеребцом.

Рванул жеребец, взвился буран колесом, засвистел, залепил все лицо Палагину.

В поле буран шурует — у-ух ты!.. В поле белая тьма. Дорогу перенесло, только лошадь найдет ее чутьем. Только Софрон, кучер квалифицированный, в такую пургу не заплутается.

К реке Соку дорога пошла глаже, переносы реже. Ровная степная гладь расстегнулась во все стороны. Мчит жеребец в белую тьму, а ей конца-краю нет. Мчит, не мотнется, как по ниточке. Софрон воротит жеребца в сторону — нейдет, крутится на месте, храпит, взвивается на дыбы: не понимает жеребец замыслов Софроновых. До крови врезались удила в губы лошадиные — своротил Софрон жеребца в поле. Мчатся полем, бурьяном, межами; и от Каменки Софрон не отдаляется и к Миловке не приближается: пускай ершовские потешатся над безбожной комиссией!

Сергей Палыч вглядывается в степную муть, чует, не по-прежнему подскакивают сани.

— Стой, Софрон! Куда мы едем?

— Куда сказали, туда везу.

— А не сбились?

— Нет, дорога торная.

— Какая к черту торная! Стой! — выпрыгнул из саней, щупает дорогу валенками. — Знамо, заплутались. Эх, кучер липовый! — заплясал по степи; дорогу ногами ищет. — Слезай, и ты ищи!

— Где найдешь, коли потеряли?

— Слезай, тебе говорят! — заорал Палагин. — Лень чертова!

Софрон слез и нехотя топчется, в сторону от дороги норовит.

— Куда? В этой стороне должна быть. За мной! За что только кучером тебя на всю жизнь держали? Грязниху на перинах ублаготворял... Дорогу в буран не можешь найти за десять верст.

Палагин взял жеребца под уздцы, пляшет с ним по полю — ноги глазами стали.

— Вот она, кормилица! Вот! Твердая. А ты куда махнул? Заснул ты, что ли? Валяй дальше, да, смотри, не сбивайся!

— Поехали, — Софрон снова вертит жеребца.

— Пускай, пускай слободне, чего боишься? Видишь лошадь рвется: дорогу почуяла.

Мчит жеребец, дух захватывает. С визгом крутится буран, словно тысячи голых людей колесом кувыркаются на руках по степи.

По времени должна уже Миловка выглянуть.

Софрон дернул жеребца на повороте, сбил с дороги и ударился полем.

— Стой, сволыга! Это что еще такое?! — привстал в санях и звякнул Софрона по уху, тот покатился с облучка. Палагин прыгнул за ним.

— Сергей Палыч, не погуби! Нечаянно.

— Я тебе дам нечаянно. Была чтобы дорога!

Едут. Софрон с опаской обертывается:

— Не по той ведь дороге едем, Сергей Палыч!

— Как так! А это что за огни?

— Денисовка.

— Ах ты, сукин сын! Как же теперь быть?

— В объезд надо.

— В объезд? Чтобы опять заплутаться на всю ночь? Дуй на огни!

— Нельзя, Стенькин вал на пути.

— Нельзя, да можно!

Поехали на счастье. Вал этот, проходя через все большекаменское поле, тянется, говорят, из-под самой Казани до самого Хвалынска. По преданию, это окопы Стеньки Разина. Когда-то вал был, видимо, очень широкий и глубокий. Еще и теперь есть места, где он совершенно непроходим, но в большинстве края обвалились и сравнялись настолько, что через вал без труда можно перейти, а кое-где есть узкие, но совершенно ровные проходы, которые, видимо, с какой-то стратегической целью оставлялись неизрытыми.

Огоньки заплясали ближе. Вскоре жеребец круто взбросил ноги и остановился.

— Слазь! Своди жеребца тихонько. Ну!

Палагин толкнул Софрона, тот ухнул в ров, вскарабкался с другой стороны и жеребца потянул. Жеребец заработал во рву всеми четырьмя, захрапел, зацепился передними ногами за твердое на той стороне, но вывезти сани не мог.

Палагин подал сани обратно и приподнял сзади.

— Тяни! Еще разик, еще раз. Да тяни, злыда!

Софрон рванул жеребца, сани опрокинулись, и задком шибануло Палагину прямо в грудь. Сергей Палыч отлетел в ров на более глубокое место и поплыл в свежанаметенном снегу как в воде, стоймя. Кулаки высоко над головой грозят Софрону:

— Руку дай. Убью!

Собаки стаей набросились на сани, когда въехали в поселок. Палагин стукнул в первое окно:

— Солдаты есть?

— Как солдатам не быть! — ответил голос из сеней.

— Ты кто будешь?

— Парфенов Иван. Никак Сергей Палыч из Каменки.

— Он. Сбирайся со мной в Миловку. Дорогу-то знаешь?

— Не забыл еще.

Солдат вышел с винтовкой.

— Садись за кучера... Дорогой расскажу.

— Сергей Палыч, а я? — спешил Софрон.

— Завтра разберем! А сейчас дуй бегом в Каменку. Митричу доложишь, что я из Денисовки выехал в Миловку с надежным человеком. Сроку — час! Опоздаешь— пристрелю! — и, ухватившись за ушибленную грудь, не вытерпел, застонал.

Поехали. А Софрон вышел за околицу, остановился: вот так история!

— Не стоять послали, эй, бегунец! Ну-ка пульни, Иван!

Солдат выстрелил в воздух. Качнулся Софрон и побежал вприпрыжку. От смертного ужаса и с радости, что жив, закричал недуром, но тут же осип от налетевшей вьюги и молча бросился со всех ног.

— Теперь до самой Каменки не остановить. Кабы не задохся, сволыга!

— За что ты его угнал-то?

— Пристрелить бы надо по-доброму. Заплутал меня нарочно.

— Ну! А чего в буран такая экстренность?

— Пригрелись вы тут в поселках, в Каменку и не заглянете.

— Како пригрелись! Муравлиную кучу свою растормошили так, что и не рады. Богачи наши со студеновцами съединились — целый фронт!

— И дворянишки?

— Еще как, брат! С вилами на нас пришли. Потеха!

— А у нас учетную ко́миссию в монастыре прихлопнули. Панок там, Кусочков и двое солдат. С вечера бьют. Выручать еду: за сомовской дружиной.

— Видал волк зиму, а черт схиму. Чего они туда затесались-то?

— Гоняй, айда!

— Ну, дела-а-а... Бык ревет, корова ревет, а кто кого дерет — сам черт не разберет!

В Миловке не успели подъехать к воротам Петрухи Сомова — начали сбегаться дружинники.

Сам Петруха собирается не спеша, будто на работу.

— Жди сражения. Я знаю, у них в монастыре и пулеметы есть. Отобрать надо напрочь, — говорит Петруха спокойно, уверенно, не глядя на окружающих, и добавляет: — Ванятка, бери все.

— Есть, брать все! — кричит младший брат Петрухи, матрос.

Он в кожаной тужурке, в бескозырке, лента полиняла и оборвалась; грудь наружи.

— Тулуп надень, шапку. Не на смотр идешь, — советуют дружинники: они все в шубах да в тулупах поверх шинелей.

— Айда, не разоряйся обо мне. Дружина, стройся! — командует Ванятка.

Посерела ночь. И буран притомился. Небо чуть-чуть голубеет, словно от мути ночной умывается.

Ползет из Миловки целый маленький обоз. На первой подводе пулемет, на второй патроны, на третьей запасные винтовки и разный шанцевый инструмент. С винтовками, с бомбами шагает дружина за лошадьми, десятка два людей. Плотный русый Петруха грузно ступает обок с Сергеем Палычем. Рядом Ванятка скачет на одной ноге, от мороза отбивается.

Медленно ползет обоз в гору. Еще медленнее ползет, расширяясь по краю горизонта, бледно-розовая полоса. Пустеет воздух, обнажаются поля, иней опушает лошадей.

— Щипе́т, едрит твою под корень! — пляшет Ванятка на морозе, у пояса болтаются бомбы.

Когда выползли на изволок, совсем рассвело. Вдали четко обозначились красные корпуса и золотые главы монастыря в морозном блеске. Плывет от монастыря протяжный звон к ранней обедне.

— Упокоили людей, теперь помолиться от трудов праведных, — раздумчиво говорит Петруха.

— В требуху разнесу всю шатию! Мать их... — матюкнулся Ванятка, побежал к саням и осматривает пулемет.

Под монастырем дворянский поселок. Остановились посредине улицы.

— Чего делать будем, ребята? — спрашивает дружину Петруха.

— Айда к Щербаку! — решает Ванятка.

Щербак самый богатый и знатный в поселке дворянин. По-матросски перескочил Ванятка через забор,

открыл ворота. Гусь гагакнул под ногами, хватил его прикладом. Щербака еле отыскали за перинами и занавесками.

— Что у вас здесь?

— Ничего, спим.

— Что в монастыре?

— Не знаю.

— Где каменские?

— Слыхом не слыхал.

Ванятка подошел к Щербаку вплотную:

— Айда, не зарывайся, дворянин столбовый! Веди в монастырь!

— С винтовками?! Боже меня упаси...

— Ага, ты так? Упасет, мать вашу... — Ваняткин приклад тупо стукнул по виску, голова Щербака коротко мотнулась, кровь ломаной бороздкой проступила вдоль уха. — Где каменские?

— Это ершовские. Мы ни при чем. В Ершовку их увезли.

— Били?

— Мы не били...

— А ершовские?

— Били...

— До смерти?

— Не знаю.

Ванятка выбежал во двор:

— Выгружай оружие! Здесь — штаб.

Началось совещание: идти ли на монастырь и как идти? Сбежались поселковцы. Работник Щербака, дрожащий и взволнованный, мечется от Петрухи к Ванятке:

— Товарищи, не ходите в монастырь. Побоище будет, вас приготовились встретить. Мой хозяин всю ночь там был. За стеной солдаты ершовские с пулеметами.

— Айда, заткнись! Чего дрожишь, как козел перед овцой? Эх, тебя напугали. На, бери винтовку!

— Винтовка что — дело привычное. Только, братцы, не надо...

— Айда, заткнись! На, бери бомбу!

— С бонбой мне не приходилось...

— Э, крестик несчастный!

Ванятка вооружил еще несколько поселковцев, на ходу агитируя их. Выстроил дружину во дворе, сам сел в сани за пулемет.

— Отворяй! Живо! Смирно! А ты впереди пойдешь, — кричит Ванятка на Щербака, — будут стрелять — ты первый получишь!

По улице шли в строю. За поселком рассыпались в цепь. Началась перебежка. Ванятка навел пулемет. До монастыря оставалось каких-нибудь двести шагов...

Только приготовился Ванятка отдать последнюю команду, как со стороны Чихан-горы вымчался всадник и с наскоку врезался в цепь.

— Митрич! — закричал Сергей Палыч.

А Ванятка орет:

— Куда тебя, старый черт, занесло. Осади — застрелю, как собаку. Не мешай работе!

— Братцы! — поднял руки Митрич. — Убейте меня, а монастыря не трожьте зря. Не расхлебаем кашу. Братцы, привезли ведь каменских в волость.

— Живы?

— Живы. Только Панку голову проломили, Кусочкову руку сломали и других тоже по-всякому. Теперь не вернешь. Бросьте монастырь, товарищи!

— Я тебе брошу, старый черт! Уходи с дороги.

Петруха встал с земли и сказал спокойно:

— Ванятка, отставить!

— Ах ты... полумать вашу в бога мать... с громом... с кондебобером. У-у, суки всесветные!

Ванятка рванул ворот тужурки, глотнул широко воздух, стащил пулемет и затараторил по толстой каменной стене. Пыль красноватой дымкой взвилась от стены, загрохотали от пуль чугунные монастырские ворота. Лошадь взвилась и помчалась в поле без седока, волоча по снегу опрокинутые сани.

А Ванятка садил в исступлении. Петруха, подбежав, сгреб его за шиворот и как котенка бросил себе под ноги:

— Опомнись, чертило!

Ванятка вспрыгнул и вскинул карабин на брата. Петруха пригнулся, ловко вышиб карабин и придавил парня к земле:

— Ванятка!

Тот заскрежетал зубами, забился на земле, извивается, молотит снег пятками: розовая пузыристая слюна течет изо рта на сторону. Петруха шепчет ласково:

— Ванятка, перестань! Братишка... — потом кричит столпившимся дружинникам: — Держите ему руки, изобьется в кровь, не видите — припадок у него.

Митрич растопырил руки, не зная, что делать с Ваняткиным карабином.

Сергей Палыч ловит мечущуюся по полю лошадь.

ГОЛОВЕШКИ

Лесничиха Бронислава Станиславовна елозит на коленях перед голландкой, дует изо всех сил в печное чело. Дрова сырые: то и дело тухнут. А разгорятся — такой шип поднимут, такую стрельбу, как из двустволок. Чуть прогорят в середине — рухнут поленья; и сыплются головешки прямо в комнату. Чад по столовой синий, угарный. Не поспевает Бронислава Станиславовна подбирать головешки, все руки обожгла. А дрова снова потухли. Адская работа! Как это у кухарки Мавры легко выходило? Три печки каждый день топила кухарка между делом, за труд не считала: ни чаду, ни головешек. А теперь! Бронислава Станиславовна, щурясь от едучего дыма, беспомощно осмотрелась и скорбно поникла головой, готовая заплакать. На что похожей стала большая столовая, когда спрятали мягкую мебель, убрали горку в буфете, сняли гардины и занавеси с окон? Кто теперь узнает былую веселую столовую в казенной квартире Леопольда Леопольдовича Бржезовского, где собиралось в гости все большекаменское образованное общество. Деревянный пол давно не крашен, весь выжжен около голландки, исцарапан, облупился. Косяки окон грязные, засижены комарами. Оконные рамы отсырели, гниют, течет с них вода. Сами окна намерзли, тусклые, немытые: и торчит в этих страшных квадратах темный лес — неприветливый. Нет, не прежняя веселая столовая, а какая-то вокзальная комната, и портреты по стенам, и киоск, и буфетик, и людей порой немало, а все будто никого и ничего.

В столовой и сейчас людей не меньше прежнего. Те же: доктор с женой, Архипов, даже Михайла Оглоблин здесь. И молодежь: сыновья лесничего, студенты Владислав и Станислав, курсистка Клавдия Оглоблина; все они изгнанники из теперешних вузов, как непролетарский элемент. Нет только помещика Грязнова: укатил Грязнов в Самару после монастырского случая, а из Самары, есть слухи, в Сибирь подался. Нет и учительницы Тихоновой. Ее на порог не пустили бы здесь после того, как узнали от священника, отца Киприяновского, что Тихонова хочет продолжать работу в школе и при большевиках: по их нелепой школьной программе. Для Леопольда Леопольдовича это новое доказательство вероломства такой с виду простенькой и тихонькой женщины, за которой он столько лет ухаживал безрезультатно. Много людей, а столовая кажется пустой: уже нет в ней былого уюта.

Не первый день собираются, не первый раз говорят: все об одном и том же, об одном и том же...

Надоело.

Вместе тошно, а дома в одиночку — прямо-таки боязно.

Молчит большекаменское образованное общество, возмущенное московскими декретами, убитое варварскими действиями местного ревкома.

Только доктор Алексей Иванович Щучкин не теряет своей обычной жизнерадостности. В минуты, когда все молчат угрюмо, он, внутренне посмеиваясь над мрачной серьезностью собравшихся, всегда первый — то ли всерьез, то ли в шуточку — бросает какое-нибудь нарочито резкое замечание. Оно, как хлыст, горячит измучившихся людей, и спор начинается снова.

Вот и сейчас:

— Господа! А все-таки какие же молодцы, взяли да и разогнали — подумать! — само У-чре-ди-и-тель-но-е. Воля народа, тайное — явное, прямое — кривое... А нам наплевать! Нет, эти люди не вши, а право имеют, как говорится где-то у Достоевского. Восторгаюсь!

На доктора ополчились со всех сторон. Особенно это задело супружеское и материнское сердце докторши Лины Васильевны, ей в последнее время приходится со стыда гореть за своего Алексиса.

— Всегда у тебя эти идиотские шутки. Научился у мужиков хамству в своем приемном покое. Каждый день возится с этим сумасшедшим стариком Митричем: глаза ему лечит. Я бы капнула в глаза, чтобы полопались! А этому председателю ревкома я такую бы перевязку сделала!

— Лина, что ты говоришь! Медицина превыше всего — альма матэр аш два о!

— Медицина? А не видишь Валька у нас куда идет? Почему не запретишь ему как отец? — кричит Лина Васильевна на мужа и обращается к остальным: — За детьми не смотрит. Старший сынок уже с этим советским секретарем снюхался, ежедневно в Совет шляется. А речи какие оттуда приносит, кошмар! Вы послушали бы, что он матери говорит, господа! Прямо кошмар! А манеры какие перенимает. И это мой Валентин.

— Молодежь чутка ко всему новому. Вспомни себя...

Лина Васильевна зажала уши ладонями и повалилась на диван:

— Слушать не хочу! Убирайся от меня, мужик, большевик, хам!

— Заметано! Завтра же заспиртую в банки всех докторят и — развод по советскому декрету. Запишусь с молоденькой стопроцентной пролетарочкой.

— Ты давно этого хочешь, я знаю! — истерично разрыдалась Лина Васильевна.

— Вот вам и гибель семьи, основанной на любвеобильном чувстве частной собственности, — иронически улыбнулся доктор; ему дома надоели истерики жены, поэтому он ограничился строгим окриком: — Перестань себя показывать, не время!

Отец Киприяновский привычно ласковым елейным голосом увещевает докторшу:

— Стоит ли так расстраиваться, Лина Васильевна? Люди, отрекшиеся от веры христовой, объявившие поход на святую православную церковь, поправшие все законы божеские и человеческие, — такие люди способны на все. Гробы поваленные. Вас, Алексей Иванович, все мы знаем. Вы шутник, но все же я советовал бы таких шуточек не изрекать. Вы привыкли, извините за выражение, делать вивисекции. По этой причине вы очень просто и, я бы сказал, легкомысленно смотрите на жизнь. Вы матерьялист, доктор! А это — корень пагубы. При вашем таком, я бы сказал, нигилизме недалеко до греха, станете, спаси бог, и вправду большевиком.

— Ого-го, куда хватил, батя! — раскатисто засмеялся доктор. — Я просто старый расейский интеллигент. Такие, батя, у большевиков не в моде: новых найдут. Вот поступлю в рабфак...

— Не шутите. Прежде чем согрешить...

Леопольд Леопольдович веско оборвал батюшку:

— Не в этом дело, господа! Что церковь отделяют, — давно пора. Это просто подражание культурным странам. А так как Россия страна варварская, то и выходит это по-азиатски. Учредительное собрание разогнали — тоже в истерику впадать не следует. Я не особенный сторонник этого учреждения. Скажу даже больше. Ответьте мне, господа, положа руку на сердце: разве Учредительное собрание способно было бы справиться с анархией? Эсеры сами насквозь заражены анархией.

— Ложь! — возмущенно воскликнула курсистка Клавдия.

Оглоблин грузно колыхнулся при восклицании дочери, кресло под ним заскрипело.

Леопольд Леопольдович, пожав плечами, снисходительно заметил:

— Зачем такие выкрики в серьезном разговоре? — и продолжал спокойно. — Я утверждаю: каждая солидная партия на месте большевиков сделала бы то же самое. Такие ли времена теперь, господа, чтобы оплакивать нерожденное дитя? Разгон этот для большевиков не страшен, на этом большевики шеи не сломают, будьте спокойны. Прошло уже несколько недель, а ничего не случилось: народ молчит. И будет молчать. Только

такие юнцы, как Клавдия Михайловна и мой Владислав, полны гнева и печали.

— Народ еще скажет свое слово! — запальчиво перебивает отца старший сын Владислав.

— Да, он скажет. Я тоже так думаю, — снисходительно улыбнулся Леопольд Леопольдович. — Но только не за Учредительное собрание. Он скажет свое слово совсем по другому поводу. И это слово, господа, для большевиков будет смертельным.

— Се есть тысяча первое пророчество о втором пришествии господа нашего... — вставил доктор, подражая торжественному голосу отца Киприяновского.

— Нет, это не пророчество, а совершенно точный расчет. Большевики уже зашли в тупик. С чего они начали? Начали они со своей знаменитой раздачи чужого добра. Они отдали солдатам, рабочим, мужикам на поток и разграбление земли, фабрики, имения и даже церковное имущество. Здесь я вполне согласен с отцом Киприяновским. Но такое положение не вечно. Давать больше нечего. Они, начинают уже брать, и в первую голову — с мужика. Они объявили крестьянский хлеб общей собственностью, к этому толкает их экономическое положение страны. Они вооруженной силой начинают отнимать хлеб у крестьян, ибо города умирают с голоду. Здесь корень вопроса, господа! Разрешите мне привести простой арифметический расчет: сколько стоит содержание разных продотрядов? Во что обходится каждый отобранный у мужика пуд? Содержание этой армии преторианцев стоит гораздо больше денег, чем они могут извлечь из деревни хлеба. А хлеба все же не хватает, города мрут, рабочие разбегаются, мужики держатся за хлеб зубами, ропщут и восстают. Вот где собака зарыта, господа!

Леопольд Леопольдович обводит всех торжествующим взором. Архипов смотрит в рот лесничему с настороженной надеждой и недоумением. Михайла Оглоблин сидит недвижимо, вцепившись в ручки кресла и низко склонив кудлатую голову. Клавдия Михайловна в стороне возмущенно спорит с Владиславом, который успокаивает ее, жмет ей руки и смотрит на нее влюбленными глазами. Лина Васильевна шипит на доктора, а тот, отворотившись, иронически улыбается лесничему:

— У богачей берут, а беднякам дают, как в Каменке. Это ве-ли-ко-лепно! Это называется перераспределение народного достояния.

— Это грабеж чужой собственности называется! — резко обрывает лесничий.

Головешки падают из голландки и раскатываются по столовой.

Бронислава Станиславовна в изнеможении встает с пола:

— Ничего не могу поделать. Лео, ты хоть помог бы мне, все глаза изъело.

— Брось к черту, если этого даже не умеешь сделать!— кричит лесничий на жену.

— Как ты огрубел, Лео! Я никогда раньше от тебя этого не слышала.

— Но... Прости, милая. Я нервничаю.

— Архипов подходит к печке, перекладывает дрова. Бронислава Станиславовна внимательно смотрит, как надо делать кладку, утирая рукавом покрасневшие глаза. В таком виде она очень неинтересна и чем-то напоминает кухарку Мавру. Леопольд Леопольдович кривится и отворачивается.

Снова долгое молчание.

Снова прерывает его доктор:

— Нет, дружище Леопольдина! Они совсем даже не такие дураки, как ты изволишь думать. Вот эти самые продотряды — гениальная штучка! Рабочим все равно есть нечего, а в продотрядах они и сами кормятся и семьям посылочки посылают, и города бесплатным хлебом снабжают. А главное просвещают неумытую нашу деревню...

— Но ведь производство-то от этого падает! Падает или нет, я тебя спрашиваю, садовая твоя голова?

— Предположим. Чего же ты плачешь: упадет, встанет.

— Плакать о большевиках я не собираюсь, это было бы дико. Я именно говорю, большевики на краю пропасти, они рубят сук, на котором уселись было. Не нынче — завтра...

— Се есть тысяча второе пророчество...

— Вам бы, доктор, шутом быть в Кремле, при дворе Ленина. Там ваши горькие истины больше бы кстати пришлись! — снова срывается Клавдия Михайловна.

Голос у нее грудной, девичий, гневом налитый всклень, дрожит и плещет через край. Кресло снова заскрипело, Михайла Оглоблин ниже пригибается, втягивает голову в плечи от дочернина голоса, как от кнута. Владислав хватает девушку за руку, успокаивает:

— Клавдия, не волнуйтесь, все это временно, надо мужественно переждать... Народ...

— Ах, отстаньте вы еще от меня, тряпка! Не смейте говорить о мужестве, если нет его у вас. Не смейте говорить о народе!

Владик обиженно умолкает, Клавдия презрительно выдергивает свою руку из его влажной руки.

— Почему вы такие храбрые и умные, когда собираетесь в четырех стенах? Послушать вас, так большевиков давным-давно и на свете нет: сотни раз похоронены, речами вашими как землей засыпаны, и в могилу осиновый кол вбит учеными выкладками Леопольда Леопольдовича. Почему вы на людях молчите, если верите тому, что говорите здесь? Почему не выйти на улицу, не сказать этого открыто, хотя бы перед Каменкой? Почему не вырвете Каменку из рук этого сумасшедшего волревкома?

— Да здравствует Жанна д'Арк! А в чеку не хошь? — подмигивает доктор.

— Алексис, замолчи! — истерично кричит докторша.

Клавдия тоже кричит, перебивая ее:

— Пускай говорит. Он не боится показать свои уши. Браво, доктор! Чека за спиной, бойтесь сказать лишнее слово. Пускайте свои двусмысленные шуточки. Но знайте, шуточками вы не отделаетесь. Народ раскусит ваши шуточки и скажет вам в лицо: трус! Этот позор вам всем никогда не удастся смыть. Перед лицом истории нельзя шутить. Лучшие революционеры — Каляев, Софья Перовская и другие — без боязни шли на каторгу, в равелины, на виселицы, когда нужно...

— Вот именно, когда нужно...

— А теперь, по-вашему, не нужно? Теперь — не царизм? Вы посмеете утверждать, что большевики это не новый царизм? Бросьте ваши шуточки! Мы стоим перед лицом в тысячу раз худшего азиатского невежественного пролетарского царизма. Мы живем в царстве Пришедшего Хама. И перед лицом этого Пришедшего Хама мы стоим, склонивши голову, мы бессильны, мы молчим, как самая последняя сволочь...

— Фи, какие выражения! — смешливо морщится доктор.

— Наплевать мне на выражения. Я — мужичка, из мордовской семьи...

— Но из купеческого звания, не забудьте добавить для точности.

— Да! Ну и что же? Я проклинаю это свое новое звание, я росла в мужицком звании...

— В каком: в кулацком, середняцком или бедняцком? Нельзя ли поточнее?

— У большевиков спросите, в волревкоме. Для меня важны не званья, а идеи.

— Ваши идеи суть надстройка над папашиным кошельком.

— Зато у вас ни кошелька, ни идеи! Вы растеряли ваши старые идеалы, а новых не нашли: боитесь искать. Идейный банкрот, вот вы кто! Прикрываетесь шуточками, потому что у вас полнейшая безответственность...

— Перед лицом истории... — в тон Клавдии поддразнивает доктор.

— Издевайтесь. Плевать мне на вас, шут гороховый!

— Вот расплевалась девица — не уймешь.

Доктор шумно передохнул и завертел головой, его пухлая отечная рука дернула ворот косоворотки. А Клавдия, равнодушно отвернувшись от доктора, звенит на остальных своим молодым девичьим, нетерпеливым голосом:

— Бросьте ваши разговоры и потайные собрания! Дела нужны! А где они? Найдется из вас хоть один, чтобы в тот момент, когда грабят трудовой хлеб у трудового народа на уплату немцам за позорный Брестский мир, крикнуть прямо в лицо изменникам народа о бесчеловечной подлости их дела? Найдется?

— Замолчите вы, черт бы вас побрал! — заорал вдруг доктор: лицо его налилось синевой.

— Алексис, тебе вредно волноваться! — испуганно крикнула докторша. — У тебя же астма.

— А... Мы слишком умные! Такие умные, что уже ни для какой борьбы не годны. Кто из нас? Владик? Он только разговаривает о мужестве, грызет ногти и объясняется в любви. Больше от него нечего ждать. — Кровь брызнула у Владика из-под откушенного ногтя, когда Клавдия выкрикнула эти слова. — Или Леопольд Леопольдович? Он взял на себя роль профессора. Большевикам не страшны теперь такие профессора — они целые университеты разогнали... — голос Клавдии задрожал и осекся. От мысли, что она сейчас в такой момент может вдруг по-детски расплакаться при людях, от гнева на себя и на большевиков и на всех присутствующих здесь, девушка еще громче закричала: — Или отец мой с Архиповым выступят в защиту?! У них отобрали землю, мельницу, лесопилку. Они молча проглотили эту обиду. У них и еще отберут — они будут молчать.

Михайла молча колыхнулся, кресло в третий раз печально заскрипело. Из угла, где сидел Архипов, послышалось сердитое ворчанье:

— Я долго гожу, да вдруг отплачу. За лесопилку еще вспомнят Архипова. Дело не прошло...

— Правильно, дело только еще начинается, — подхватил Леопольд Леопольдович.

— Опять самоутешение. Опять оправдание своей трусости. Тошно смотреть! — снова крикнула было Клавдия, но почувствовала, что она устала от переживаний и ей нечего больше говорить. А на душе оставалось что-то неясное. Девушка мысленно перебирала все недавно прочитанные эсеровские брошюрки, стараясь найти новые мысли, чтобы продолжать спор, доказать свою правоту себе и вот этим

безвольным людям с отпущенными брюшками... но хозяйка прервала думы девушки:

— Господа, неужели вам не надоели эти споры? Прошу к столу — угли у меня нагорели, сейчас самовар вскипит. Лео, пойди покарауль самовар и подай его на стол.

Гости начали рассаживаться.

Леопольд Леопольдович, раскорячившись, тащил самовар, когда вошел новый посетитель — церковный староста Пузанков.

— Ты что, Димитрий, за мной? — спросил отец Кирияновский.

— Нет, батюшка. Я к Ляпольд Ляпольдычу.

— Ну, проходи, — пригласил лесничий.

— Пройти недолго, только дело у меня есть к тебе... Мир вам, как уж теперь называть, не знай: граждане-товарищи.

Пузанков поздоровался со всеми за руку и отвел лесничего в сторону:

— До твоей милости. Пшеницы привез пудиков сотню. Нельзя ли у тебя где схоронить на время.

Леопольд Леопольдович и руками замахал:

— Что ты, Пузанков! Ничего не знаю и сделать ничего не могу. Сам все попрятал в чужие люди.

— Ишь ты! А я думал, свезу в лесничество; казенное, дескать, место — туда искать не придут.

— Чудак человек! Ведь казна-то теперь в их руках. Сюда скорее всего нагрянут. Жду со дня на день. Видишь, квартиру оголил?

— Вот греха-то мало! Не поверишь, Ляпольдыч, скружился со страху...

— А чего ты? Страшно да не боязно: переждать надо.

В комнату вбежал сын Пузанкова, Махай:

— Тятя, айда, скорее, лошади не стоят.

— Сейчас, сейчас. Ну, коли, я в лес. В какую сторону лучше податься-то, Ляпольдыч?

— Лес велик, где хочешь... Овраг недалеко тут, знаешь?

— Что это Пузанков затормошился? — спросил Архипов, когда тот поспешно вышел.

— Хлеб привез прятать в лесничество, — засмеялся Леопольд Леопольдович.

— Вот вам! — показала Клавдия на дверь.

— Нет, это вам! — передразнил доктор, повторив ее жест. — Это ваш трудовой народ. А мой народ немножечко другой. Вы школьница, обиженная тем, что вас прогнали со скамьи. А я больше чем двадцать лет изо дня в день вижу мой народ. Больной, голодный и трахомный, он больше не хочет быть таким, — доктор удушливо закашлялся

и продолжал прерывисто сквозь кашель: — Он покажет, всем нам... перед лицом истории... Так-то, девочка!

— Алексис, перестань! — прикрикнула докторша. — У тебя же астма.

Доктор, нарочито испугавшись, зажал себе рот рукой.

Настало тягостное молчание. В столовую вползли лесные мохнатые сумерки. В голландке шипели и постреливали подложенные Брониславой Станиславовной дрова. Печной угол кровавился в дрожащих отсветах пламени.

— Не поехать ли нам, Лина Васильевна, домой, хирургические инструменты убрать? — пошутил доктор.

— Не беспокойся, без тебя все спрятала.

— Ты это серьезно, Лина?

— А то нет? Им оставлять по-твоему?

Доктор разинул рот и схватился за ворот косоворотки. А Бронислава Станиславовна докторше жалуется:

— Мученье с хозяйством. Всех старых служащих уволил ревком, а к новым не подступайся. Все самой, все самой! — и трет воспаленные глаза, размазывая сажу по лицу.

Стреляют дрова в голландке. И как назло на самую середину столовой выкатилась большая головешка. Чадит головешка, и дым едучий лезет всем в глаза.

ХЛЕБНЫЕ ИЗЛИШКИ

А в Большекаменском правлении сидит с забинтованной головой, с рукою на перевязи председатель ревкома Алексей Иванович Панков. Санек, технический секретарь ревкома, разбирает присланные из уезда бумаги, докладывает:

— Вот, дядя Панок, телеграмма спешная.

— А ну! — мычит Панок сквозь зубы — бинт в зубах, старается сам себе руку перевязать. Бинт срывается с шеи, рука плетью падает на стол, Панок морщится от боли и снова упрямо мусолит бинт. — Что же ты не читаешь?

— Погоди, — машет на него Санек, потом вскакивает с криком: — От Ленина!..

Долго и молча сидел за столом Панок, забинтованный председатель ревкома. Вот он бережно отложил телеграмму в сторону, вот снова взял ее свободной левой рукой, снова перечитал. И снова, забывшись, схватился за голову, вскрикнул от боли и закричал на Санька:

— Ну, чего с нашим народом делать?

— Не знаю, дядя Панок! — спешил секретарь.

— Нет, ты скажи, чего с нашим народом делать? Одно остается: проторизовать всех под дугу. — Вскочил, заметался по правлению: — Ведь, ежели такой тилиграмм сам Ленин посылает, в лепешку расшибиться надо! — и застонал, снова схватившись за проломленную голову.

— Я за Митричем сбегаю, — предложил Санек.

— А чего твой Митрич? Не такие теперь люди, требуются. Заведет еще волынку твой Митрич, весь ревком собьет. Тут экстренность требуется.

Взволнованные крики Панка гулко отдавались в пустой комнате правления и бились в окна, как птицы со сломанными крыльями.

— Звони в город. Сей секунд! Передай тилифонограмм: задачу выполнить не хватает силов, шлите вооруженное подкрепление, то есть продотряд. Понял? Зажваривай!

Митрич прибежал в ревком страшно расстроенный:

— Ты зачем отряд вызвал?

— Хороводы водить.

— Мало тебя изувечили?

— А ты добавить хочешь?

— Говори как следовает! Ведь у нас и так идет понемногу дело с хлебом.

— Понемногу. В том и штука: не то идет, не то стоит. Понемногу! Раком ползет дело! Сдохнут все в городах, пока мы будем улиты дожидаться. Разве народ у нас?

— А с отрядом что? Прибавится хлеба?

— Силом возьмем!

— Силом?

— А как же прикажешь с нашими хлебниками и отрубщиками: в рот им смотреть? Кого тешить? Уговаривать их, статуетов, когда сам товарищ Ленин... — и Панок показал Митричу на телеграмму: — Читай!

Митрич всматривался в каждое слово. Потом молча, бережно согнул телеграмму вдвое, вчетверо, снова расправил и долго-долго разглаживал на зеленом сукне стола.

Теплая и тяжелая ноша навалилась на плечи. И кто эту ношу навалил-то?..

Сам.

Молчат два мужика, члены Большекаменского волревкома, свесив головы, уронив глаза на дорогую и страшную телеграмму.

Сергей Палыч вошел шибкой походкой, как всегда, и остановился.

— Что, али помер кто?

Молчат. Не хочется говорить, боязно поворотиться: как бы не упала с плеч внезапно взваленная ноша.

Палагин быстро пробежал телеграмму:

— Эх, аля... Сам пишет! Значит, правда, худо: нет ни хлеба, ни табаку. Давай митингу! А потом сплошной обыск у хлебников по амбарам. Под метло!

Продотряд приехал к ночи.

Утром на митинг сбежалась вся Большая Каменка: каким-то чудом все узнали о телеграмме Ленина. Интеллигенция тоже пришла.

В правлении сняли навесные двери, из трех комнат подряд получился один длинный и низкий сарай. Правление набито до отказа. Галдеж и отдельные нетерпеливые вскрики. А в президиуме спор. Сергей Палыч и Митрич настаивают, чтобы сразу обсуждать хлебный вопрос; начальник продотряда, молодой парень, требует первым поставить его доклад о текущем моменте, показывает огромный мандат и зачитывает данную ему инструкцию.

Народ волнуется:

— Начинай!

— Будя там сговариваться-то!

— Товарищи! — кричит Панок. — Намечайте председателя данного митингу...

— Чего намечать, сидишь ведь...

— Ну и что што сижу? Сядешь и ты, ежели посадят.

— Кабы не сел! Ваш черед садиться на перед.

Взметнулся гул и встал, как стена. Панок машет здоровой рукой, только пуще масла подливает.

Начальник продотряда поднял руку:

— Товарищи! Неужели вы за всю революцию не привыкли к собраниям?

На это сзади из разных углов озлобленные крики:

— Волчья привычка!

— К чему приучаете-то?

— Отвыкать пора.

Растет все выше живая стена голосов.

Начальник продотряда кричит Панку:

— Не допускайте срыва собрания. Не видите, чего добиваются? Какой же вы председатель?

— Я не есть председатель данного митингу, — кричит ему в ответ обиженный Панок.

Хлебники подхватывают:

— Какой он председатель? Кто его выбирал?

— Пондравилось решать за народ!

Начальник продотряда оттолкнул Панка, кулаком стукнул по столу:

— Сорвать наш митинг никому не удаст-ца! Эй, задние, так и знай! Порукой моя голова.

Миг внезапной тишины, в которую начальник продотряда ловко бросает:

— Намечайте председателя.

Солдаты спереди крикнули хором:

— Панка-а-а...

Сзади закричали отрубщики и софроновцы:

— Не надо нам Панка!

— Пузанкова!

— Архи-и-ипова.

Кричит курсистка Клавдия Оглоблина, подталкивая Владика:

— Солонина! Соло-о-онина...

В общем гуле имен и прозвищ все гуще плывет фамилия Митрича.

Начальник продотряда уступает место Митричу. Собрание успокаивается.

— Об себе скажу, товарищи и граждане! Тут сзади крикуны нашлись: за Солонина стараются. Он, мол, старый Митрич-то, не любит, чтобы зря скандалы подымать; он, мол, примиритель, Митрич-то. Нельзя ли, мол, палку просунуть: кто и за Архипова кричал, сразу стали за Солонина разоряться. А зачем вы, старики, Панку кричите улюлю? Ровно на собаку. Чем он не подходит по-вашему? Тем, что его изувечили за общее народное дело? Може, добить хотите, как ершовские конокрады и келейники, приверженные фанатизму? Правду скажу: Панок мужиков не любит. А как же вас любить, скажите на милость? За что? Думаете, у меня не гребтит сердце: такое тяжелое дело, люди умирают в нашей советской красной столице, а вы — галдеж. Сам товарищ Ленин прислал нам тилиграмм, просит экстренной подмоги хлебом, а вы саботаж. Отказываюсь от председателей данного митингу и даю свой голос за Панка. Как есть Панок правильный открытый мужик, пострадавший за нас за всех от укусов черных тараканов и божьих дудок и протчей шушеры, — должны мы оказать ему наше полное доверие и почет. Вот моя рука за Панка! Кто за мной?

Сотни рук потянулись за Митричевой корявой старческой рукой.

— Занимай место, Алексей Иваныч!

Панок встает на место Митрича:

— Спасибо, мужики, особо вам, проторьят, что поддержали меня, изувеченного. Пускай меня насмерть прикокошут, а я всегда скажу: проторизовать нас всех, чертей!

— Заткнись, скаженный! — тихо цыкает на него Митрич.

Из кучки солдат примирительный голос:

— Ладно тебе кочевряжиться, Панок! Разве мы тебя выдадим когда?

А сзади шепотки:

— Одна шатия.

— Шишиги, голь-моль фамилия.

— Свой своему лежа помогает.

Панок приосанился, выпятил кадык:

— Товарищи, митинг в селе Большой Каменке открывается. По порядку дня текущего момента слово имеет прибывший из городского центра революционной диктатуры пролетариата комиссар товарищ Усов.

Начальник продотряда зашагал перед столом привычной митинговой походкой, начал говорить размеренно, с паузами, в такт каждому слову ступая ногой, будто мокриц давит:

— Товарищи! Я сделаю вам!.. доклад!.. по текущему моменту!.. и о том!.. как!.. наша великая!.. социалистическая!.. пролетарская...

— Не надо, — раздался голос Софрона.

Оратор остановился.

— Знаем.

— Слыхали.

Оратор поднял руку. Рухает, валится на него гуловая стена, летят в него выкрики-кирпичи:

— Говори, зачем приехал?

— Кажи тилиграмм!

— Эй, знахари! — крикнул Панок. — Кто все знает, уходи с митингу. Незачем было приходить: не звали. Горлохваты! Привыкли мироедничать. Солдаты, погляди сзади, кто там рот зажимает оратору. Эй, интенгенция. Послухай маненько нашего оратора. Мы вас долго слухали: спомните, какую околесину болтали вы при вашем временном правительстве. И по сей день уши не отудобят.

— Это издевательство! — тонко выкрикнула курсистка Клавдия Оглоблина. Солдаты впереди рассмеялись.

Сергей Палыч шепчет Митричу:

— Эх, говорил я, не надо пускать доклад: затянет дудку, добра не будет.

А оратор, как ни в чем не бывало, опять начинает размеренно давить мокриц:

— Товарищи!.. Мы!.. революционный пролетариат!.. и революционное крестьянство!.. победили. Но товарищи!.. это!.. только!.. наша первая победа. Впереди!..

В сдержанной тишине все слышнее просачивается шепоток, как вода в плохо запруженной плотине:

— Победители...

— Русских победили, а немцу покорились...

— Товарищи землеробы!.. Мы!.. победили... почти!.. без единой капли крови... — в такт шагам и размеренным словам болтается у пояса оратора неловко привешенный наган и надоедливо мозолит глаза. — Впереди!..

Шепот уже ручьем течет:

— Все победы мерещутся.

— А сюда кого побеждать приехал с моганом?

Оратор приостановился, чутко прислушиваясь к шепоту.

В этот момент Владик, сам не зная как, выкрикнул:

— Сними наган. Перед народом говоришь, хам! — и пригнулся к полу, спятавшись за Клавдию.

Вздрогнуло собрание, оглянулось, сгрудилось, подалось вперед. Оратор резко поднял руку:

— Тихо, товарищи! Мы привыкли к этому: какой-нибудь эсерик или меньшевичок затесался. Открыто сказать кишки не хватает, вот он и брызнул слюной, пользуясь вашим озлоблением. Не поддавайтесь на удочку. Я продолжаю свой доклад. Первая!.. наша!.. победа!.. над отребьями контррр!.. революции!.. которая везде старается просунуть свою!.. ядовитую!.. змеиную!.. голову. Вторая!.. наша!.. победа!.. — над царем-голодом, о котором!.. я!.. буду сейчас подробно!.. говорить в своем докладе...

Ропот постепенно затихал.

— Мальчишество! — сердито шепчет Клавдия Владику. — Вы подорвали доверие, когда собрание могло быть на нашей стороне. Теперь нас обвинят в контрреволюции...

— Испугались? — перекривился Владислав. — А кто говорил?

Клавдия молча смерила его взглядом, отвернулась и пошла к выходу.

В этом последнем взгляде Клавдии столько было равнодушного презрения, что понял Владик: Клавдия не любит и никогда не полюбит его. Первое детское чувство, цветистые мечты юношества, ночные требовательные кошмары мужающего инстинкта обладания — все прахом. В этом ее взгляде сгорела любовь. Прогулки вдвоем, лодка ночью на Соку, и гимназия, и студенческая Москва с концертами Шаляпина, где они сидели в ложе, так близко прижавшись друг к другу — не вернутся никогда. И крикнул Владик отчаянно:

— Не уходи!

Сзади снова зашевелились.

— Чего там такое, солдаты! — прервал оратора Панок и застучал линейкой по столу. — Кто там, писклявый такой, спокою не дает?

Но Владик видел только Клавдию, он видел, как девушка быстро работала локотками, скользя к выходу. Владик горько усмехнулся: она оставляет его одного среди этого взбунтовавшегося мужичья. Пусть! Но он докажет ей, пока не выскользнула в дверь, уходя от него навсегда, что он не прежний влюбленный слепо мальчик, над которым она столько лет издевалась, он — Владислав Бржезовский.

— Граждане! Нас гонят с собрания, нас называют контрреволюционерами, нам угрожают наганами, чтобы без нас заговаривать вам зубы. Вам болтают о разных победах, чтобы победить вас самих. Этот победитель с наганом приехал грабить вас. От вас скрывают телеграмму Ленина. Почему? Потому что Ленин приказал им дочиста обобрать ваши амбары. Хлеб ваш нужен для уплаты дани за похабный сепаратный мир с немцами. Вот где настоящая правда, которую боятся вам сказать!

Клавдия повернулась и бросилась к Владику:

— Владя, милый, что ты делаешь?

Поднявшийся рев как во сне где-то далеко бил фонтаном, скакал водопадом, злобный, разъяренный. Он не трогал Владика: Владик видел одну только Клавдию — ее глаза, озаренные любовью, восхищением и смертельным страхом за него.

Человеческая плотина рвалась, ревела сзади, выплеснув высоко на скамью беспрерывно кричащего Владика:

— Долой большевиков! Долой комиссародержавие!

— Стой! — Сергей Палыч Палагин вскочил на скамью и сразу стал выше всех. — Вот тилиграмм товарища Ленина. Слушайте все! — В наступившей после озлобленных криков какой-то торжественной тишине он прочитал телеграмму Ленина о немедленной помощи голодающим рабочим с просьбой о добровольной сдаче крестьянством хлебных излишков за плату, с требованием принудительного отобрания излишков у контрреволюционного кулачества. — Сукин ты сын, а еще студент! И повернулся твой поганый язык на такого человека? Убить тебя мало! — и, обращаясь к докладчику, Сергей Палыч сказал: — Товарищ, пиши меня первого, своей охотой открываю амбар, отдаю все лишнее для спасения нашей революции.

— И меня! И меня! — послышались крики.

— Ложь! Все ложь! Вас всех обманывают. Долой наймитов Вильгельма! — Толпа солдат серым потоком хлынула к Владику, сквозь черное кольцо софроновцев. А он смотрел в Клавдины глаза, в которых чутко отражалась машущая крыльями, летящая на него смерть. Но смерть на глазах любимой девушки, признавшей его, наконец, не пугала его. И поднятый на солдатских кулаках, он кричал упоенно в толпу:

— Я погибаю, но скоро и вам придет конец. Долой большевиков. Долой...

Костистый кулак ударил прямо по раскрытому рту. Владик вавкнул по-собачьи и стих.

На скамье на смену выплеснулась Клавдия:

— Граждане крестьяне! Где свобода слова? Защитите! Его убивают солдаты.

Над головой Владислава взлетали кулаки, как тяпки в корыте. Народ валил к дверям, высаживал рамы, сыпался из разбитых окон, как сквозь решето. Начальник продотряда с выхваченным наганом бросился в солдатскую кучу:

— Отставить, он арестован!

Начальника отталкивали спинами. Стертый ствол вороненого нагана покачивался из стороны в сторону. Сергей Палыч бросился на помощь начальнику и начал разбрасывать солдат, но они снова сбегались.

Митрич застучал батогом по столу:

— Мужики, куда бежите? Солдаты, бесстыдники! На кого напали? Палыч, бей их по башкам, окаянных. Привыкли к стражениям. Комиссар, спрячь оружью!

— Я тебе спрячу, старик! Молчи, не твое тут дело...

Сбежались дружинники и продотрядовцы. Настал понемногу порядок.

В углу Митрич успокаивал рыдающего в истерике Владика:

— Эх, парень! Говорят вам: не мешай на дороге. Вам ли, барчатам, остановить такой маховик? Сидел бы в лесу у тятяньки, пока его не выгнали.

Владик оттолкнул Митрича и крикнул:

— Граждане, погибаю за вас. Да здравствует Учредительное собрание! Не верьте комиссарам!

— Чшш, змеюга! — замахнулся на него Митрич батогом.

Сергей Палыч засмеялся:

— Что, Митрич, не уговоришь? Зубки кажет?

— Увести его! — командует начальник продотряда.

— Не смейте его трогать! — крикнула Клавдия из толпы, мятущейся около дверей.

— Что за женщина? Взять!

Застучали приклады конвоиров.

— Эхе-хе... — опустился Митрич на табуретку, по-стариковски покачивая головой.

— Я тебе, старик, поэхаю! Вместе с ними полетишь на небеса. Развели контрреволюцию у себя под крылышком.

Митрич махнул рукой. Панок схватился за больную голову, застонал:

— Проторизовать всех под дугу!

Владик крикнул с порога:

— Стась, отомсти за брата!

— Кто такой Стась? Где? Выходи! — взметнулся начальник продотряда: — Здесь целое гнездо.

Санек утащил Стасика задней дверью в правленский сад. Стасик дрожит, обнимает друга:

— Санек, помнишь нашу дружбу? Сок... Рыбалку... Зачем же это? Скажи?

— Ладно! Сам не знаю. Потом разберемся. Лезь через плетень: тут поповский огород, потом на школьный двор выйдешь. Смотри, Стась, убью, если по братниной дорожке пойдешь!

А в правлении начальник продотряда кричит оставшимся:

— Товарищи солдаты, расходитесь! Митинг отменяется. Назначаю собрание ревкома. Заприте двери!

Ночью по постановлению ревкома был обыск у всей местной интеллигенции. На правленской подловке, в штабе дружины, навалили кучу отобранной эсеровской литературы. В подполье поповской квартиры, у отца Киприяновского, было найдено пять винтовок с патронами. После допроса всех отпустили, лишь поповского сына, студента духовной академии, отправили в губернскую тюрьму.

Владика и Клавдию допрашивали отдельно. Владик держался на допросе стойко и прямо. Он говорил, что ненавидит большевиков и Советскую власть, что будет и впредь бороться против них. Чем больше выгораживала его Клавдия, тем откровеннее наговаривал на себя Владислав в какой-то равнодушной решимости. Все равно! После безрезультатного выступления на митинге потерялся у него вкус ко всему. Он мечтал повести за собой народ, пострадать за дело великой справедливости, а вышло так обычно: он в деревенской каталажке, которая даже тюрьмой-то не пахнет, а больше — баней. Бревенчатая изба на мху, полумрак и под потолком маленький крестик решетки. Где же каменные мешки? Где равелины? Где палачи? Стережет его придурковатый безногий инвалид Давыша, вечный правленский сторож.

И любовь не растопила жесткой серой корки, которой покрылась сразу вся жизнь. И любовь, так внезапно, так нежданно вспыхнувшая на грязных нарах арестанки, запеклась такой же серой и жесткой коркой. Вот они после первой брачной ночи, проведенной под замком. Теперь Клавдия вся его, вся доступная: и губы мягко раздвигаются под его губами, и девичья грудь доверчиво льнет к его груди, а Владик холоден. Нежно ласкает его девушка и тихо безутешно плачет, но Владик чувствует, что эти слезы не столько от любви, сколько от жалости к нему. А жалости не хочет он ничьей: он горд. Клавдия избегает говорить с ним о случившемся, она самоотверженно и молча хочет разделить его участь, может быть, в глубине осуждая его необдуманный поступок. Тем лучше. Не сумел, ошибся — отвечай! Он полон ненависти к ним, и он достаточно силен, чтобы одному отвечать за себя.

В последний момент, когда Клавдия сделала самую решительную попытку взять всю вину на себя, рассказав о спорах в гостях у лесничего, над нею только посмеивались добродушно и за чистосердечное признание решили освободить из-под стражи. Призвали отца Михайлу Оглоблина, добровольно сдавшего весь свой хлеб, и отдали дочь ему на поруки. Силой пришлось выводить Клавдию из каталажки.

Владислава Бржезовского увели в штаб районной чрезвычайной тройки. На вторую ночь, по постановлению тройки, он был расстрелян.

В Большой Каменке началась работа по проверке хлебных излишков. Санек шел впереди комиссии провожатым: указывал амбары, водил по гумнам, в лес, разрывал спрятанный хлеб в ямах и оврагах.

Самый хлебный из большекаменских мордвов Федор Жаткин сам открыл амбары перед комиссией. Гусем потянулись десятки подвод от жаткинских амбаров прямо в город. За Жаткиным еще десяток кулаков добровольно отдали излишки. У большинства же, особенно у столыпинских отрубщиков, ничего нельзя было добиться — весь хлеб оказался спрятанным. С такими не церемонились.

У Ивана Жаткина, брата Федорова, амбары оказались оба пустыми. Сколько ни искали, нигде не могли найти хлеб. А Санек да и все в курмыше знали, что хлеба у Ивана было немногим меньше, чем у Федора. Но Иван клялся и божился, что хлеба нигде не прятал. И был прав: он вывез хлеб заранее и продал в Сосновке на базаре. Об этом так и не узнали.

Отпустили Ивана Жаткина. Радостный ходит Иван по Каменке, над старшим братом, дураком, насмехается. Только зачем-то к своим пустым амбарам часто наведывается. И по ночам амбары караулит. Кто тогда не караулил своих амбаров?

Михай, сын церковного старосты Пузанкова, карауля свои амбары, каждую ночь видит Ивана Жаткина. Зачем дядя Иван больно пристально под один амбар заглядывает? Подкараулил дядю Ивана. Подошел тот к амбару, озирнулся кругом, лег на брюхо, голову под амбар просунул. Махай за угол спрятался — совсем рядом, слышит натужное кряхтение. Гул пошел по земле: отвалился камень-дикарь.

— Здеся! Осподи, твоя воля, — облегченно вздохнул Иван Жаткин.

Камень на место привалил, пробирается домой, на луну поглядывает. Луна то за тучку ныряет, то глянет вылупленным мертвым глазом.

Как только унырнула луна в облачный омут, Махай — под амбар. Отвалил камнище, искры из глаз высеклись от натуги.

— Ого! Деньги!

Пришел Иван Жаткин к амбару на коровьем реву — нету денег. Замутило мужика. Три дня кружился он около своего амбара, как верченая овца. На четвертый утром нашли Ивана Жаткина под сараем на перекладине.

Церковный староста Дмитрий Пузанков исходит тужелью: кабы хлеб не нашли, кабы не забыть самому все места, где прятал хлеб, кабы не пророс хлеб в лесническом овраге, кабы не пронюхал бывший работник Барбин — житья от него не стало, по следам ходит.

Каждый день гонит сына смотреть упрятанное.

Идет Махай лесом, думает, надо или нет сказать отцу о деньгах? Не сказать — куда девать их? А сказать — кумом тятеньке приходился дядя Иван-то!

В лесу Махаю встретился Санек. (Вырвался из ревкома между дел к Стасику: порыбалить с другом.)

«Чего ему здесь надобно? Не иначе — хлеб...» — подумал Санек и тайком пошел за Махаем.

В овраге Махай остановился, оглянулся, присел на корточки, и ну — разрывать прошлогоднюю листву.

— Ты чего здесь делаешь? Чьи деньги?!

Махай вскочил с кулаками, старается сбоку обойти Санька. Этот запрещенный прием вдруг напомнил Саньку детство и кулачки.

— Вот когда поквитаемся! Помнишь, как мне нос расквасил сзади? Теперь не смалханишь. Стой!

— Стою, хоть дой!

Нацелился Санек в бок, чтобы сделать подвздошный удар. Изо всей силы выкинул руку вперед, да поскользнулся на гладкой листве, разъехались ноги ухватом и потянули Санька наклонкой к Махаю. Плашмя ударил Махай Санька по глазу, по рассеченной брови. В острой боли, в розовой тьме успел только схватить Махая за рукав — и оба покатились на землю. Катаются подростки по склону оврага, вместе с прошлогодними листьями липнут на спины разворошенные керенки. Шуршат листья, шуршат керенки. Кипит в этом листвяном и бумажном ворохе зверская схватка.

— Караул!

Полумертвого вырвали Санька из рук обезумевшего Махая. Обоих привезли в ревком изодранных в кровь.

Закусил Митрич седеющую бороду:

— Что с народом делается?

В правленские окна смотрит предзакатное ласковое солнышко.

«ЧЕКИ»

Корявые, тяжелые в наступающих сумерках сидят мужики на Софроновой завалинке.

Подходит Панок. Ему с утра не по себе, мечется по Каменке: откуда ветер дует? Кто подкапывается?

— Мир вам, товарищи!

Молча и не спеша, обеими руками, сымают мужики барашковые шапки, малахаи. Ровно пни в землю вросли — не сколупнешь. Недобрый знак. Есть у них что-то на уме...

Заговаривает Панок о том, о сем, щупает глазами: кто же у них коноводит? Отвечают будто с почетом к председателю, но темно, несмысленно.

— Как же, товарищи, об текущем моменте ваша мнения?

— Да ведь... Кто знает, как сказать? Так, будто ничего...

— Мы народ темный, необработанный...

— Конешно, мы беспартийные. Наше дело какое?

— Только бы не отбирали последнее...

Видит Панок — толку не будет. Себя только пуще расстраивать.

— Прощевайте.

А вслед ему смеются:

— Дудак длинношеий!

— Сердит, что не тем боком корова почесалась.

Бродит Панок по темнеющим пустынным улицам. На Митрича с Саньком натыкается.

— Виноватых ищешь? — участливо спрашивает Митрич.

— Найдешь иголку в сене!

Вместе идут за гуменники, к лесу.

Истекая алой кровью, умирает вечерняя заря. На траву пали теплые, густые росы. Замкнутой цепью, как часовые, стоят вокруг поляны хмурые дубы, сдвигаются в сумерках в плотную кучу, как будто угрожают. Прохладно в лесу. Вечерний воздух густ и тягуч.

-У-у-уради-иилася я-а-а
Как в поли-и-и были-инка-а-а...

плывет откуда-то, плывет.

Десятки грудных девичьих голосов тянут на разные лады один певучий вздох:

Э-э-э да э-э-эх...

— А помнишь, Алексей Иваныч, что говорили, когда

сажали нас в ревком? «Мы все за вас — не выдадим»? А теперь?

— Жандармерия! — вскипел Панок.

— Как так народ переменился? — недоумевает Митрич. — Совсем другие люди стали. Полгода не прошло...

— Ну чего им нужно? Чего не хватает? На собрания не ходят: слышать не хотят. Прихрюмились, как суслики. Бор делят, лес рубят. Вот вчера ты не был — районный земельный съезд семи волостей, понаехались, откуда что взялось — кулачки да и только! Назад гнут — фактически. А бедность молчит.

— Что беднота! Какой ты чудной. Чай, не в городу? Мало ее по нашей волости: сытый все мужик. А которые есть — смешались, не поймут что к чему. Солдаты рады, с фронту вернулись. Молодежь — та бродит, как новое вино. Вот он, секретарь называется, должен пример показывать, а он с Махаем разодрался.

— Да он же контрреволюционер! — вскричал Санек.

— Глупый он, как и ты. Страшными словами не бросайся, сынок.

— Просто устали вы... Старые!

— Помолчи при старших-то. Твое время придет. Одно слово — каша! — оборотился Митрич к Панку.

— Проторизовать надо всех под дугу. Взять бы всех за шиворот да перетряхнуть хорошенько, чтобы рассыпались как зерна в сортовке — по своим местам. А то путаемся из стороны в сторону, места своего никак не найдем.

— Это ты зря, Алексей Иваныч! Вот тебя проторизовали — хорошо?

— Да разве я об этом? Это не проторизовать называется, а разбойничать. Это не есть политика, а уголовный алимент.

— Видишь, как ты заговорил, когда дело коснулось.

— Да что мне больше всех надо, что ли?! — гневно зафыркал Панок. — На той неделе корову зарезали, вчера ночью амбар сожгли. Последние двенадцать чиляков ржи сгорели. Вон полюбуйся! — Панок ткнул в сторону амбаров.

В прогнивших соломенных шапках нетвердо стоят амбары на подложенных под углы камнях-дикарях. Посредине торчит остов сгоревшего, словно выбитый зуб в почерневшей десне.

С реки Сок неуемный шум от плотины оглоблинской мельницы: не работает мельница, и вода шурует вхолостую, за три версты слышно.

Прибурнай но-оченькай асенняй
Скры-ывалси-и ме-е-сяц в ы-ыблаках...

резко врывается песня в вечернюю тишь.

— Спокойной ночи, Митрич! — прощается Панок. — Ты спи иди, а я в правленьи здесь прилягу: забрезжит — по волости ехать.

Санек еще долго сидит на правленском крыльце. Тихо. Дрема долит. Мигливые звезды вспыхивают, катятся по небу. Красным глазком папиросная звездочка из Саньковой руки катится по траве. А небо даже ночью голубое. Откуда-то из-за гумен цепко карабкается месяц.

Тихо. Залает собака, знать, блоха укусила. Сторож церковный бьет часы на колокольне: двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать...

— Эко жарит спросонья — не жалеет! — улыбается Санек, позевывая.

Ночной сторож — страшно ему одному амбары караулить — в колотушку бьет: култы... култы... култы-ых...

Тихо.

Спит Большая Каменка.

Спит село, как завороженное.

У крыльца заворочалась темнота, серым пятном расплывается в ней Степановна, мать Санька.

— Шел бы спать, полуношник! — мягко ворчит она.

Пригнулся Санек к перилам, нарочно притаился от матери.

— О-о-охо-хо, грехи наши...

Смачно челюсти трещат у матери, размашисто, долго крестит рот. Всматривается полуслепая в темноту, здесь ли уж ее греховодник?

— Ну, келя, балакирь с молокой столь лангсо. Сам ужинак, — коверкает мать русские слова вперемежку с мордовскими. Медленно уползает в темноте.

Тихо.

Набегает ветерок ночной. Дрожат от страху листья тополя над Саньковой головой. Ни с того, ни с сего дождь капнул предутренний.

По-хорошему холодно.

Вдруг воздух вздрогнул.

В тот же миг Панок бомбой выскочил на крыльцо:

— Слыхал?

— Слышу чего-то...

— Пушки!

Санек громко рассмеялся.

— Тише ты. Слушай!

— Ну, эхо в лесу откликается. Мужики лес вырубают, боятся не успеют; и ночью угомону нет.

— Слушай хорошенько!

Панок вытянул шею в темноту. Стала она у него тонкая, длинная.

«И правду, на дурака похож», — подумал Санек, а вслух сказал:

— Да это бухали бухают на Соку.

— Нет! Кто слыхал, всегда отличит. А мне, брат, много приходилось на войне. Пушки... Фактически!

Санек не поспевал бежать за Панком. За гуменники, по залогу, мимо лесу и на гору вбегает Панок рысью. Спотыкается, падает в яминах, нарытых Митричем, встает, снова бежит и ругается:

— Старый идол, всю гору испортил!

По Чихан-горе пылают костры ночевщиков. Ночь от этого еще темнее и таинственнее.

Припали оба к земле: плывут отдаленные-далённые бухи, будто глухая отрыжка из самой утробы земли.

Наловчившееся ухо ловит порой мягкие гулы разрывов.

— Война! — кричит Панок, вскакивая с земли, и шеметом скатывается с горы.

Большой колокол зовет к обедне. Ненужно мечется звон по широкой площади перед волревкомом. Прерывисто черной шевелящейся лентой ползут за церковную ограду старухи, келейницы, деды. Они чужды житейской суеты. В полувысохших мозгах последняя мерцает мысль: о небесном блаженстве. Провалившиеся, сморщенные рты пугливо шамкают несвязные молитвы. Знают старухи, эти выстрелы, заглушаемые колокольным звоном, дело — «диавола и ангелов его».

А толпы мужиков, баб, молодежи мимо церкви на площадь. Малахаи, полушалки, платки, картузы плывут, сгруживаются, крутятся, оседают кучами, как льдины по весеннему паводку. Оседают под базарные стойки, под навесы, на бревнах перед «рестанкой», на крыльце ревкома, на изгородь правленского сада. Топчется по площади живая толчея. Встревоженные люди перебрасываются догадками, шутят, смеются зачем-то, хотя каждому не до шуток, не до смеха.

Война — так непривычно для этих глухих и тихих мест. И раньше каменцы знали, много о войне разговаривали, провожали сынов и отцов, но самое слово произносилось легко, не имело слово живого образа. Не у нас, там где-то, в стороне.

А теперь чуть не за гумнами бухали пушки.

Война.

Слухи с ночи нарождались тысячами, как опенки после туманного дождя. Разлетались слухи по селу быстрее пушечных снарядов. Зажигали тревогой, смятеньем. Все, путаясь в одежине, которая стала вдруг длинной и неудобной, спотыкаясь о высокие пороги, стукаясь в низких дверях, покидали избы, в кучи сбивались, как стадо во время градового ливня, и бежали на площадь.

На площади — текущий момент.

Газеты в Каменку и раньше попадали случайно, а теперь недели две совсем их нет. Никто не знает ничего, выдумывай кто во что горазд.

Больше всех стараются бабы.

На красную гвардию с неба посланы войска великанов — это первый слух.

Вторым кто-то выпустил чудное словечко — чеки!..

И запрыгало это слово по толпе, как воробей.

Что такое? Кто такие?

И мигом ответ:

Ленин, большевики и жиды бежали к немцам и увезли все деньги. В Москве теперь агличанин Вильсин, он-то и выпустил новые деньги — чеки.

Шустрая молодуха в праздничном кашемировом платке и в цветастом платье шла в церковь, а попала на площадь, кричит:

— Вот што, бабы! А може, это и не деньги вовсе, а люди?

— Какея те люди? Что ты, очкнись!

Но молодуха не желает очкнуться, настойчивая баба:

— Ей-бо, это люди иноземные.

— Не божись зря, кровь носом пойдет.

В кучке баб пожилой сапожник Федор Митяев. Больно начитанный, он дружит с учительницей Тихоновой и берет из школьной библиотеки книги: «Как люди живут по беду свету». Правда, Митяев немного заговариваться стал с 1905 года, когда казаки при усмирении убили его малолетнего сына.

— Кругом Африки в Америку проехать нельзя, это такая даль. К тому же на дороге встречается Турция. А турецкий паша заодно с германцем.

Сгруживаются вокруг Митяева.

— У турецкого паша в его столице Константинограде, може, сотня гаремов. А что за такое гарем? Это...

— Да ты к чему это, Федор?

— Говори толком, коли знаешь.

— А не знаешь, не трепли языком. Понес околесину!

— Чего мутишь народ! — сердито обрывает Митяева безрукий Барбин.

Барбин места не находит: камнем упала на сердце ночная стрельба. Думал, Митяев по газете разъяснит, а он загнул чертоплетицу. К Панку в ревком нацыкнулся, — слу-

шать не хочет, машет руками, как ветряношными крыльями, раскурынился.

— Мутишь. Что я, черносотельник али отрубщик? Я за совецку ту власть, може, когда ты еще на свет не родился. И в пятом году был совет. Мутишь... Ты думаешь, это просто, везде одинаково живут. Ты вот один раз в день нажрешься картошки, да и ладно, а англичане по семи раз на дню обедают и виску пьют... Мутишь...

* * *

Отрубщики и хлебники (раньше за версту обходили ревком) теперь просыпались по площади как бобы. Тоже не знали, что чуяли, близится новое, родное их сердцу. Чеки эти, кем бы они ни были, неспроста появились. Сами разглаживаются морщины, сама распрямляется походка. Не так давно, когда призывали в ревком насчет «хлеба излишков» или «контрабуции», — жались хлебники в сторону, хмуро косили себе под ноги, с опаской оглядывались по сторонам. Теперь с потаенной усмешкой в глазах смотрят в окна правления, где идет экстренное собрание пятерки ревкомщиков, где мечется Панок и сидит Митрич, упершись на подог понурой головой. Молодо шныряют хлебники по площади, забираются в самую гущу смятенной толпы и там заводят степенные речи.

Дмитрий Пузанков и в церковь не пошел. Кто нынче будет с кружкой ходить во время обедни? Расхаживает Пузанков по площади, поздравляет мужиков с праздником, раскланивается, поглаживает благообразную бороду. Кивая бородой на заседающий ревком, закидывает удочку:

— Загадилась больно наша правления...

— Чего сказал? Провацию разводишь?!

Опять он! Нигде спокою не дает Пузанкову бывший батрак его Барбин: с первого дня большевистской власти на пятки наступает. С остальной гольтепой Пузанков сладился: кого пудиком мучки, кого тем, кого другим. А с этим ничего не мог поделать. Ну и злости же в нем! Пятнадцать лет держал его в работниках: кормил, одевал, обувал, облагодетельствовал, можно сказать. А что Барбин руку сломал на работе — он-то, Пузанков, тут при чем? Божья воля. Сердится, что рассчитал его тогда. А разве хозяйству надо остановиться, если работник руку сломал? Не уберегся, не можешь работать — ступай с богом. О, сколько зла причинил Пузанкову этот безрукий разбойник: из-за него хлеб реквизировали, лошадей отобрали. Деньги, спрятанные в колосянке, он отыскал и передал ревкому за контрибуцию. Дом под библиотеку он отобрал. Житья не стало!

Масленые глаза Пузанкова округляются бешеной злобой,

колючими сверлами вонзаются в рыжего, веснушчатого Барбина:

— Чего орешь, глот! «Провацию». Вы это провацию-то разводите. Больно уж расфуфырились, управы на вас нет: мы-ста, коммунисты!

— Ага, ты вот как заговорил!

Барбин решительно раздвигает толпу отсохшей своей рукой. Оторопь берет Пузанкова: «Не рано язык-то я высунул? Подождать бы...» И говорит, меняя голос:

— Ты чего влип? Спервоначалу разберись, как следовает, а потом приставай. Знаешь, об чем разговор промежду нас? А то разве не загадили правлению: семенками залущили, дружину разместили. Солдаты, они и есть солдаты: чисто в казарму правлению отваландали, смотреть срам! Разве под дружину нельзя другой избы найти? А тут не место ей, чай, это общественная учрежденья, тут, видишь, собранья.

— У-у, змей! Вывернулся. Рано шипеть начинаешь, — злобно бросает Барбин, отходя.

Вокруг Пузанкова собирается толпа.

— Чего кричать? Чего делить? Пущай в городу разные там партии дерутся да делятся промежду себя. А мы, слава богу, беспартейные. — Веско, вразумительно поглаживает бороду Пузанков, бросая взгляд в сторону отошедшего Барбина. — Мы ни туды, ни сюды. Поверни нас так — хорошо, эдак — еще лучше. Только, чтобы обиды зря не было. В городу-то большевики-то больно уж круто берут: прямо, как говорится, под зебры. Полегче бы надо с мужиком, поосторожнее. Что толку-то? Война опять: брат на брата. Ведь нам што, только бы спокой был. Не так ли, старички?

— Эдак, эдак, Митрий Дригорич!

— Чего тут баять...

— Мы крестьяны все одинаковы: одной титькой кормлены, в одной купели маканы. Как нас теперь разобрать: кто богатый, кто бедный? Все богаты, у всех по одной паре лаптей оставили, хе-хе... Вот и реквизуй! Оно, пожалуй, последнюю рубашку можно реквизовать, а толку што? Ведь это цаба-граба называется. А мозоли у всех не сходят, кровяные; что у богатых, что у бедных. Вот и разбери, поди, нас ноне. Да вот, к примеру, советчики наши... Будем по совести говорить: несамостоятельные мужики, ничего за душой, что у Митрича, что у Панка, что у Степана Кусочкова. А живут, почитай, ничем не хуже нашего брата, справного мужика, сказать по-старому.

Дед Силуян Иванович стукнул клюкой:

— Ах ты, семь грехов с половиной! Правильна твоя речь, Митрий Дригорич! Вон он, стерва, руками размахи-

вает — Панок. Ему не только амбар сжечь, его самого надо живьем спалить, как рождественского борова. Эх, дали бы мне волю, да был бы я помоложе! — дед Силуян погрозился клюкой в окно:

— Антихристы!

Мужики смеются:

— Смотри, Силуян Иваныч, попадешь на кукан.

— Цаба-граба тебя за контру...

— Не боюсь я их, иродов. Вот она, клюшка-то! Самого земского начальника клюшкой лупцевал. А этих статуетов, тьфу они мне, семь грехов с половиной! — дед подбежал к правлению и плюнул через оградку.

Отошла обедня. Площадь зацвела шелковыми полушалками девок, молодух, пестрыми платками замужних баб. Как вороны в стае разноперых сорок черные головные уборы старух и келейниц.

Голоногие ребятишки ветром носятся по площади, путаются под ногами, визжат, довершая общую картину беспорядочной ярмарки. Ребятишки окружили дурочку, старуху Арину; та не поспевает отбиваться от них костылем, а они орут:

— Вот у бабушки Арины так пушка! Самострел! Как дернула вчера с печки, всех оглушила.

— А ну-ка, бабушка, пульни!

— Васька, близко не подходи: убьет!

На крыльце ревкома развалился Софрон и философствует, зажмурившись:

— Большевики, меньшевики — все это... У нас, у крестьян, одна партия: народ. Сотня мильонов, шутка молвить! Нам надо заодно, круговой порукой, гужом, тогда никакой леший не страшен. Чеки... Ну что чеки?.. Тут надо иметь такой парагр...

— Сумленье, Софрон Иванович: не вышло бы чего с землей?

— Земля... А что земля?.. Уравнительная землепользования. Наша и будет нашей. Дерись, кому не надоело, а землю не трожь, не ворошь. Правильно?

— Знамо...

— Чего тут баять...

Вдруг с больничной горки с грохотом выкатилась на площадь телега. Лошаденка вся в мыле подкатила прямо к ревкому, бьет копытами о ступени крыльца. Денисовский мужик, потный, красный от жары и волнения, разом выглотнул новости:

— И-и-и, что в Самаре творится, не дай бог. Чеки. Сто тыщ. Хотели в Америку. Не пустили. Разозлились. Идут. В пух-прах лупят красну гвардию. И-и-и... — головой мотнул, вожжами взмахнул.

— Стоп, стоп! Чу, погоди. Что на тебя строка напала?

Лошадь под уздцы, обступили:

— И-и-и...

— Да ты не икай! Скажи как следовает.

— На улицах пулеметы. Пушки — бух, бах. Как только живым вылез!

— Зачем на улицах-то?

— А може, они там.

— Где?

— Да в городу же!

— Кто?

— Да чеки эти самые.

— Так ты же из города?

— Видал их там?

— Глаза-то у тебя на затылке?

— А, може, они переодемшись?.. — вылупился на мужиков перепуганный событиями и своей внезапной догадкой вестник.

Оглушительный взрыв хохота покрыл площадь.

Седок лошаденку кнутом, та взвилась, захрапела; толпа шарахнулась, и пыль серой занавеской задернула вестника с его сногсшибательными новостями.

Панок вылетел на крыльцо:

— Вернуть! Вернуть его, товарищи!

Никто не тронулся.

— Чего сказал?

Молчат.

— Расходитесь, товарищи! Долой панику, спокойствие, принимаем меры революционного порядку... Дружинники! — закричал Панок и мигом исчез, как и появился.

— Спокойствие. Мы больно-то и не беспокоимся. Нам-то что! — улыбнулся Софрон. — А все-таки уйти, пожалуй, от греха подальше...

— Да, старики, айдате-ка, все равно хуже не будет, — поддержал повеселевший Пузанков.

За Софроном — плотная куча мужиков; к нему на завалину обсуждать текущий момент. За Пузанковым — больше пожилые.

Опустела истоптанная площадь.

В ревкоме жара. Панок виснет на телефоне: накручивает ручку, беспрерывно тычет трубкой в бороду, стучит кулаком по коробке, дребезжит, скрипит деревянная коробка.

— Что они, сдохли там? Самара! Самара, леший тебя заешь!

В телефоне послышался веселый женский голос.

— Самара? Чего молчишь столько время? Что?! Какой твой номер? Дай мне председателя уездного Совета. Да-да! Нету? Кого-нибудь из членов. Нету никого? Ты скажи, чего там у вас в городу? Мы сей момент выезжаем с дружиной на подмогу.

— Ничего неизвестно, — засмеялась трубка.

Панок стукнул кулаком по коробке:

— Врешь ты, баба! Я требую по декрету революционной Советской власти. Чего? Какой твой номер! Кто я такой? Я Панков, большекаменский волостной комиссар.

— Ха-аха-ха... — посыпался из трубки горох.

Панок остолбенел. Потом толкнул трубку так, что она колесом закружилась и долго не могла успокоиться, болтаясь как сломанный маятник.

— Чего же ты не собираешь дружину? Где дружина! — набросился Панок на подвернувшегося Степана Кусочкова.

— Нет никого, — спокойно ответил тот.

— Как это?! Сколько у тебя числится?

— Числится-то много...

— Сколько, спрашиваю!

— Пятьдесят.

— Ну?!

— Ну и нет ни одного черта дома. Только один безрукий Барбин. Все в лесу: бор делят.

— Нашли время. Санек, садись на Степанову лошадь, скачи, тащи всех!

— Зря, Панок! Даром лошадь загонишь. И так она исхизла у меня по ревкомовским надобностям.

— Поплачь! А ты знаешь, что в Самаре? Туда же, член называешься, начальник дружины. Надо али нет отряд на выручку красной гвардии? Скачи сам!

— Чего ты командеришь надо мной? Лучше тебя знаю, чем дышит дружина. Ни один не пойдет под Самару. Да еще надо ли? Как мы волость оставим? Может, здесь нужнее будет.

— Зачем же мы делали постановление протокола? Чего молчал на собрании.

— Да ты говорить никому не давал, один за всех решил. А мне и говорить-то обо всем этом не хочется, все равно ничего не выйдет. Складаю с себя все и делать мне здесь больше нечего. Да и вам — тоже. Торчим здесь, как дураки, ждем, покуда нас еще раз изувечат. С меня в монастыре довольно. — Кусочков махнул рукой и пошел к двери, бормоча: — Лошадь только сгубил с вами.

— Куда же ты? А как же дружина? Постановление протокола... — Панок снова бросается к телефону, стучит, кричит, матерится. Умолк телефон.

Митрич берет Панка за плечи:

— Опомнись, Алексей Иваныч! Какие тебе постановления, какие тебе Самары? Не видишь, чего с народом делается? Не суети людей. Уезжать тебе надо.

— Успеем. Все поедем, весь ревком вакуируется. Сами делали постановления...

— Брось постановления. На! Держи кассу и дела. Езжай скорее. Вакуироваться я не буду, да и других не жди напрасно. Езжай, потом разберемся. Держи!

— Ах, мать вашу! — схватился Панок за незажившую от пролома голову.

В избе Панка суматошно. Жена, утирая слезы запоном, возится около самовара. Панок в спешных сборах мечется по избе, разбрасывая вещи, рывками, по очереди целуя детишек. На скамье неподвижно сидит придурковатая старуха Арина, шаберка. Зачем пришла? Зачем села в передний угол? И кряхтит, и охает, и смотрит на Панка полуослепшими трахомными глазами:

— Панок, ты ученый, скажи мне, что это за война пришла, откудова?

— Не знаю, бабушка. Вместе с тобой нивеситету учился, — срыву отвечает Панок. — Чего он с подводой застрял? Заглуши самовар, Палагея! Не время! — сердито машет рукой, потом подходит к жене и нежно обнимает: — Не плачь — куплю калач.

Жена зарыдала, уронила голову на его плечо. А старушка шелестит губами:

— Будто бают... народ-от: в Румынии, бают, красны гвардейцы опрокинули вагон с этими чеками. Вагон-то они опрокинули, вот от этого и поднялась война в Самаре. Не слыхал?

— Не слыхал, ничего не слыхал. Да что же это он, черт его!.. Поля, перестань, не навек...

А-а... Вишь ты... Болтают, поди. А кто они, чеки-то, — православные?

— А? Да, да! Ты бы ушла бабушка! — кричит Панок старухе, усаживая на скамью подкосившуюся жену.

— Ну, слава богу, православные!— обрадованно зашелестела старуха и положила щепоть на лоб, намереваясь истово перекреститься.

— Нет, не православные, другой веры... Да ты уйдешь, что ли, когда-нибудь?

— А-а-а... Вон что. Не нашим умом, а божьим судом.

Старуха тяжело вздохнула и опустила руку, не перекрестившись.

Подъехал Санек на подводе.

Пелагея рухнула на пол и захлебнулась в причитаниях.

— Поля, встань! Не впервой тебе за мужика оставаться.

— Ох, чует мое сердечушко... Друг ты мой, Алё-о-о-ошинька!..

Лошади весело взяли.

Но долго еще у скособоченной соломенной избы стояла сгорбленная Пелагея с грудным на руках, безотрывно смотрела вслед и часто подносила к затуманенным глазам намокший, перепачканный золою запон.

Солнце припекает любовно. В прозрачных его лучах воздушные волны текут-переливаются. Со стороны Волги слышен гул орудий.

Топча копытами и приминая колесами всходы, лошади то и дело объезжают роспуска. Скрученные веревками, лежат на роспусках стройные золотые трупы сосен. Рядом шагают невозмутимые мужики. Какое им дело, что в пятнадцати верстах бой? Они лес возят.

Солдаты из каменской дружины, завидя Панка, отворачиваются.

Панок горько улыбается в рыжий ус и тоже отворачивается, не здороваясь.

Села на пути напоены терпким запахом сосны. Визжат пилы, больно сверкают на солнце их зубастые лезвия. Машут пильщики руками, то приседая с пилою, то устремляясь ввысь, как птицы, большие и грузные, бессильные лететь. Льется белая кровь из внутренностей красных сосен, тяжело опадает «под козлы».

Какое им дело до чеков? Они срубы сосновые рубят на даровщинку.

За Колодинкой встретилась кучка мужиков, возвращаются пешком с пристани.

— Куда, дядя? Пароходы больше не ходят? Вертай!

— В Самару не впускают и не выпускают никого.

— Попусту проездите.

Панок тычет Санька в спину:

— Гони! Плыть, да быть. На лодке спущусь.

Синеют Жигули, подернутые редеющей дымкой.

Чем ближе к Волге, гул слышнее. Теперь он не смолкает ни на минуту. Пушечный грохот, отраженный певучим горным эхом, плывет по-над Волгой, перекатывается в Жигулях. А там, откуда гул, подымаются и стоят еле заметные белесые столбики дыма. Не тают.

В дым, в гул, в пекло скачет подвода.

МОБИЛИЗАЦИЯ

Дмитрий Пузанков, только что выбранный председателем волостного земства, всю подловку над правлением перерыл: где-то здесь советчики хранили ружья.

— Шишиги! Успели-таки спрятать. Этот Санек! Изловить мальчишку беспременно! — вслух подумал председатель и сердито пнул сапогом какую-то кучу.

Гром пошел по подловке, к самому носу Пузанкова подскочила куча, пружинисто выпрямилась в воздухе и легла у ног жестяным листом, взметнув столб пыли.

— Ишь, валяется добро. С каких пор. Помню, сам заказывал. Железо — доброта-то: еще на сто лет хватит.

Эта знакомая старая вывеска напомнила и приблизила прошлое: кажись, только вчера жили в порядке, старшиною сидел. Повеселел Дмитрий Григорьевич Пузанков от нахлынувших воспоминаний. Сволок грохочущую вывеску по лестнице в правление.

Там за столом сидят члены волостного земства: Софрон и Клавдия Михайловна Оглоблина. Софрон философствует насчет земельного вопроса.

Пузанков поставил вывеску на скамью:

— Софрон, гляди! Узнаешь?

— Как же.

— Пойдет?

— А что не пойти. В аккурат!

— Айда, навешивай, где висела!

— Погодь. Сейчас расплантуем.

Софрон приставил вывеску к стене:

— Ну-ка, издаля. Как влитая! Буковки чудок ослепли, ну все же ясно: «Больше-Каменское Волостное Правление».

— Вы эту хотите повесить? — вмешалась Клавдия Михайловна.

— А что, не ндравится?

— Это же старая вывеска, Дмитрий Григорьевич!

— Из Москвы, что ли, выписывать новую? — потемнел Пузанков.

А Софрон рассуждает:

— Правильна твоя речь, Митрий Григорич! Оставить вывеску, знамо, можно. Ну только тут надо расплантовать. Надо тут вот в уголку такой лозун...

— Ты начнешь по каждому пустяку планты рассусоливать. Эй, Давыша! Навешивай вывеску, как шла-ехала.

— Нет, председатель, постой. Тут по существу. Ты говоришь: «как шла-ехала». Зачем же у нас революция была,

к примеру? Беспременно надо в уголку лозун: «Земля и Воля». Никак нельзя! У большевиков, к примеру, парагр: «Пролетарии всех стран...», а у нас парагр: «В борьбе обретешь...» Эдак, что ли, Клавдия Михайловна?

— Да что вы, с ума сошли? А еще члены волостного земства, выборные!

Пузанков рассвирепел.

— Брось, айда, Михаловна! Да пущай бы не выбирали. Большая корысть, подумаешь. Разве как прежде служба теперь? Канитель одна! Только и знаем заседаем... Дурак я и согласился-то. Небось Михайла, папашка твой, и Архипов отказались в земство сесть. Умные. А зачем отказались? Ведь их тоже хотели выбрать.

— У нас такой народ: кого хошь выберут... — бормочет Давыша, взваливая на плечи вывеску.

— Погодите, гражданин Давышин! Вопрос не решен.

— Ну, ладно. Ты не спорь, Митрий Григорич! Пускай будет лозун в углу. Жалко, что ли, тебе? — примиряюще говорит Софрон.

— Да я и с этим не согласна. Как это можно партийный лозунг на вывеске общественного учреждения вешать? Поймите, мы не можем идти по следам большевиков. У них диктатура партии, у нас — весь народ. Власть народа. Народовластие. Вы самых простых вещей не понимаете.

Тут уже вступился Софрон:

— Это напрасно, Клавдея Михайловна! А мы что, не партийные? Да я за землю и волю душу выложу. Это обида меня как сторонника и защитника по существу. Я не меньше вас, Клавдея Михайловна, пострадавший. Одно то, что со мной наделал этот мордовская образина Палагин. Сколько я пер пешком в такой буран, поморозился, а на Миловку все-таки не повез. Это такая с вашей стороны обида, что будто бы я не такой же партийный...

Клавдия Михайловна бросилась к разобиженному Софрону:

— Да что вы, Софрон Иванович! Вы меня не поняли. Я говорю — партийные дела нельзя смешивать с общественными. Вы просто не поняли.

— Я болъно даже понимаю вас, Клавдея Михайловна, и остаюсь при моей особой мнении. Мы хоша не получили вашего образования, а образованных людей видели на своем веку, и еще гораздо почище. Мне приходилось и полицаместеров и самих епископальных архиреев возить...

— Да что вы, Софрон Иванович! Да мы все равны перед народом.

— Эх, члены, делать вам нечего! — презрительно прошептал Пузанков и крикнул: — Давыша, как там арестованные? Ступай, погляди. Брось вывеску-то!

Клавдия Михайловна и тут вмешалась:

— Да! Что же нам делать с арестованными? В Самаре я категорически требовала, чтобы взяли их в губернскую тюрьму. Указывала, что в Каменке возможно на этой почве волнение.

— Ну? — насмешливо спросил Пузанков.

— Отвечают: тюрьмы переполнены. Советуют на месте подержать, покуда разгрузят тюрьмы.

— Вот то-то и оно! Разве их пересажаешь всех. Мысленное ли дело! Да их чертова уйма развелась. Еще двадцать тюрем надо строить.

— Но и здесь дольше держать нельзя. Их сторонники могут напасть на арестантскую. Я слышала уже разговоры.

— Это чего доброго. Санек, надо думать, он все мутит. Я уж своему идолу Махаю сделал зарубку: домой не являйся, покуда не выследишь, где Санек ружья спрятал.

— Болтовня! Никаких у них ружей нет. Такую чепуху плетут, будто Санек по ночам к ним в рестанку ходит. А он, чай, сидит где-нибудь в соломе от страху...

— Давайте все-таки устроим заседание, — озабоченно говорит Клавдия. — У нас еще целый ряд вопросов.

— Давайте, давайте! — засуетился Софрон, садясь за стол. Собрания — его слабость, дни и ночи готов напролет.

— Надо нам что-то делать со средствами... Я категорически настаивала в уездном земстве о деньгах...

— Ну? — тем же насмешливым тоном прервал Пузанков.

— Говорят, что смета наша утверждена. А денег нет, и скоро не будет... Изыскивайте средства на месте.

— Вот то-то и оно! Изыщи, кто хитрый, попробывай, когда большевики приучили народ не платить налогов.

— Это, между прочим, общее явление: земских сборов не платят нигде, — задумалась Клавдия Михайловна.

— Только и остается одно! — решительно проговорил председатель.

— Какое ваше предложение? — оживилась Клавдия.

— Говори твой парагр, Митрий Григорич! Расплантуем, — развалился за столом Софрон.

— Замок! — ударил Пузанков.

— Как так?

— Эдак. Вот возьму и повешу замок на правлению, и наплевать мне на все на ихо на земство.

— Это как же понимать? — поднялся Софрон.

— Эдак. Кто ни черт, тот дьявол! Распустили вожжи,

отвязался повод — объявили революцию, теперь ничего не поделаешь. И чего радовались этим чекам дураки? Своих самарских горчишников мало, — нехристей привезли. На свою ведь голову! Хорошо, твой папашка землей не занимается, а Софрон безлошадный. А я-то зачем связался; разве теперь служба как прежде? Какой почет земству? Кто нас за власть почитает? Один срам и смехота. А у меня дом, хозяйство.

Клавдия Михайловна вознегодовала:

— Это безобразие, это пессимизм, это провокация. От такого сознательного гражданина я не ожидала такого шкурничества.

Пузанков махнул на нее рукой и сказал лениво:

— Сама ты шкура.

Вступился Софрон:

— Давайте заседать по существу. Чего зря ума... Расплантуем все по порядку.

— Нечего... Замок — и никаких!

— Нет, я не согласен с таким твоим парагром. Надобно пустить агитацию.

Клавдия Михайловна, красная до слез:

— Дмитрий Григорьевич, вы оскорбили меня. Но я предлагаю прекратить личные препирательства во имя общего дела. Я приготовила доклад о культурно-просветительной работе в волости. Предлагаю выслушать.

— Валяй. Только поскорее! — смилостивился председатель.

Клавдия второй уже час говорит.

Пузанков, убаюканный, благообразно гладит бороду, зевает и крестит рот. Софрон зажмурился как кот и обдумывает возражения по существу.

Тихо в правлении. Только тикают часы.

Давыша отпер арестанку:

— Наведать послали, целы ли?

— Целы пока, — отзывается Митрич с нар, дрожа в лихорадке.

Рядом Палагин свесил голову. Безрукий Барбин вне себя мечется по арестанке, сердито набросился на Давышу:

— Ты что же плохо караулишь? Закидали камнями нас ребятишки, чуть мне голову не раскроили.

— Разве от меня? Я — нутренний караул. Вот, собаки! Это все Махай подзуживает. Ну и змей! Отец-то плачет с ним...

— Чего там у вас нового? — поднял голову Палагин.

— Умора! — смеется Давыша. — Дело себе нашли.

— Нашли все-таки?

— Вывеску вешать задумали.

— Дело большое.

— Пузанков говорит, вешай старую (на подловке нашел), а Клавдия говорит, надо перевернуть.

— Верти не верти, одно на одно выходит.

— Да уж это по всем видимостям. Ну, запру вас, пойду — доложить велели.

— Дровец удружи: малярей у Митрича, печку затопим. А ночком свистни. Только, смотри, ухо востро!

Снова загремел запор.

А снаружи, в окно, Махай лыбится:

— Гы-ы-ы... Сидите?

— А тебе — радость? Караулить нас больно гоже? — свирепо метнулся к окну Барбин.

— А вам гоже было грабить народ?

— Не свои ты слова говоришь, парень! Очухайся, — уговаривает его Митрич.

— Мне-то что! Вот вы не очухаетесь, пожалуй!

— У-ух ты, змеюга! — замахнулся на него Барбин пустым рукавом.

Махай отшатнулся и просунул ружье сквозь решетку:

— Ишь, комиссар навозный выискался. Раскрою твой арбуз и будешь знать! — Махай начал прицеливаться в Барбина, тот заметался по арестанке, как зверь. — Гы-ы-ы... Не нравится? — захохотал Махай, сам водит берданкой.

Тогда Барбин встал посередине арестанки, в упор уставился на Махая, и страшная матерная брань полилась из его перекривленного рта.

Махай долго целился в грудь и щелк — спустил курок.

Сергей Палыч скрипнул зубами. Митрич, ошеломленный, смотрел разиня рот. А Махай хохочет:

— Напустили в штаны. А еще: «мы — комиссары». Она и не заряжена вовсе. Что? Урю-урю! Обманул дурака на четыре кулака... — и, резвясь, вприпрыжку побежал по площади, гиганя берданкой, как шестом.

— Ну и ну... — раздумчиво закачался Митрич. — Как озлобились люди. Спомнишь, как мы-то были маленькие...

— Зря с Панком не уехали! — сел на порог обессиленный Барбин.

В арестанке настало долгое тягостное молчание, и от этого резче виден крест на фоне высокого неба.

Тихо и ласково, словно кого-то уговаривая, заговорил Митрич:

— Куда мы уедем? Кому мы такие нужны? Тут мы свое дело делаем через пень-колоду. А там уж надо быть — по-настоящему... Кремень чтобы! А мы из глины сляпаны. Опять же хозяйство, как бросишь? Панок привык бродяж-

кой, на мужика-то мало похож. Да и не осталось у него ничего — сожгли.

— Да-а-а... — глубоко вздохнул Палагин. — Время-то больно, как нарошно: сенокос горит, жнитво поспело. А у меня пчельник еще, самая пчелам роевка. Ровно подгадали арестовать. Чего там без меня? Упустят рои, исхизнет пасека — вековая заведения, от дедов-прадедов перешла. — Еще глубже, еще длиннее вздыхает Сергей Палыч Палагин: — Э-э-эх, келя, сколько силы даром пропадает. Сколько работы несработанной!

— Не бай, кум, не бай! — качает головой Митрич.

— Выпусти меня из рестаники, скажи, иди на все на четыре стороны, — никуда бы не пошел дальше поля и пчельника. Вот ведь какое дело-то.

— Да, Барба, за Панком нам с кумом не угнаться. В этом деле Панок — конь вороной, а мы — битюги.

— У вас хоть своя изба. А у меня, поди, и семью с квартеры выгнали. Как будут жить? — мрачно сплюнул Барбин. — А вот, Митрич, по программе большевицкой: можно али нельзя, чтобы собственность?

— Как сказать тебе, Барба? Если по всей правде говорить, то будто нельзя. А если по жизни нашей судить, — будто можно. Тут, видать, на совесть надо полагаться.

— Нет, кум, совесть тут ни к чему, — вмешался Сергей Палыч. — Я думаю, должны быть нам — деревенским коммунистам — какие ни на есть послабления. А то, если, как Панок говорит, проторизовать, — тут такая будет заваруха с мужиком, хоть в омут головой!

Долго молчит на это Митрич, потом тихо, задумчиво произносит:

— К Ленину бы съездить. Побеседовать бы мне с ним хоть разочек перед смертью. Не придется, смотри. Э-эх, не выпустят нас живыми, кум!

Сергей Палыч молчит.

Тихо в правлении, только тикают часы. И в этой тишине особенно резко зазвенел телефон.

Лень Софрону с места сойти: убаюкался музыкой Клавдии Михайловниного доклада о культурно-просветительной работе в Большекаменской волости. Идет не спешит да прихрамывает: ногу пересидел.

— Алла! Член волостного земства. Председателя? Я могу за него. Самого? Да я се-равно что сам. Чего? Алла? Сичас! — Софрон растерянно обернулся: — Митрий Григорич, тебя самого требовают.

— Чего там загорелось?

— Не знай. Скорее иди, сердитый кто-то, орет, меня прямо к матушке послал. Я буду жаловаться, завтра же поеду прямо в комитет членов Учредительного собрания. Оскорблять меня при исполнении по существу!..

— Погодь ты ерепениться! Дай-ка трубку-то. Я — председатель. Фамилия? Пузанков. Чего такое? Нобилизация? Не слыхал. В армию? Так. В какую армию? Угу. А с кем воевать-то? Чего такое? Да ты не лайся, — кобель ты, что ли? Полковник. Ну, хоша и полковник, а матюшки свои оставь. Не стращай! Не слышно тебе? Не стращай говорю. А то и меня на грех наведешь, возьму и повешу замок. Опять не слышно? Чего тут слышать, замок, говорю, повешу от греха. Да, замок. Какой? Железный. Чего? Я — большевик?! Сам ты не знай хто после этого. Я-то, слава богу, православный. Да не один год церковный староста. Списки? Ну так бы и сказал. К завтрему? Сам составляй!

Пузанков бросил трубку — багровый и взбешенный как бык:

— От, мать твою бог любил, прости господи! Фулиганы!

— В чем дело? На вас лица нет! — подбежала Клавдия Михайловна.

— И нанички не останется. Прорва! Провалитесь вы в тартарары со всем вашим надовластием... Это опять хлеб выгребать! Опять хозяйство зорить! Опять самому берись за косу! Опять давай лошадей, давай сыновей!

— Скажите толком?

— Какой толк? Какая польга[1]? Война! Нобилизация! Народная армия! Эх, чего делают! Чего только делают, господи ты боже мой, пресвятая владычица...

Клавдия Михайловна забегала по правлению, потирая руки:

— Мобилизация! Теперь крышка большевикам.

— Вам теперь ни дна, ни покрышки! — взревел Пузанков.

— Чего? — грозно остановилась Клавдия.

— Села баба на чело...

— Трус! Вы думаете, что народ также испугается и не пойдет...

— Побежит, прямиком в лес ударится.

Софрон вмешался примирительно:

— Какие года-то нобилизуют?

— Не бойся, тебя не возьмут! На молокососах хотят выехать. Ну, мы еще поглядим!

— Куда же вы, гражданин председатель? — презрительно улыбнулась Клавдия.

— За ухватом — на войну!

— Не смейте издеваться! Надо списки составлять, надо нарочных по волости разослать. Дело военное.

---

[1] Польза.

— Дуй во весь сбруй! — махнул рукой Пузанков.

— Остановите его, Софрон Иванович! — кричит Клавдия.

— Димитрий Григорич, погодь, так нельзя. Надо расплантовать. Ежели бы тебе, когда ты старшиной сидел, земский начальник приказал...

— То земский, а то финти-винти... — Пузанков выбежал на площадь и крикнул сыну, который поигрывал берданкой около арестанки: — Махай! Садись на Гнедка, скачи на сенокос. Ваньке скажи: в лес! Нобилизация его годов. Чтобы духу его в Каменке не было!

Густеют сумерки. В арестанке тьма. Решетка черным крестом по темно-голубому небу.

Митрича треплет лихорадка, лежит, закутавшись, в углу, стучит зубами. В другом углу храпит Барбин. Сергей Палыч возится около железной печурки. Заюлил робкий огонёк — Палагин закрывает печурку шинелью, чтобы с улицы не увидали, зовет старика погреться:

— Кум, ползи сюда, разгони маненько свой малярей.

Пляшет огонь, нагорают угли, раскаляется-пышет железная печурка. В мечущемся по потолку, дрожащем свете сидят два кума: наполовину красные, наполовину черные.

Ночью послышался свист.

В арестанку вползает Санек, сняв незапертый замок, повешенный Давышей для близиру.

— Дядя Митрич, мобилизация объявлена в народную армию. Теперь все некрута будут с нами: никто не хочет идти. В каждой избе сборы в лес. Дядя Митрич, Сергей Палыч, бежим, проберемся лесом к Соку, а там на лодках прямо до Волги.

Молчат мужики. Каждую ночь приползает Санек, каждую ночь уговаривает их, как дух-искуситель. Сергей Палыч голову зажал в широких ладонях. Митрич дрожит в малярийном ознобе.

— Нет, сынок! Не мужичье это дело — по лесам бегать. Вам, молодым, в новинку. И я бегал в свое время в ту революцию. А теперь мне на шестой десяток перевалило. И хозяйство какое-никакое есть, и тетку Варвару при смерти оставить нельзя. Был у нее? Жива поди ещё?

— С утра ее соборовал батюшка Киприяновский, причастил. Теперь ей легче стало, наказала, чтобы ты не тужил об ней. Говорит: «Выздоровлю — на свиданку приду».

— Выздоровит на тот свет.

— Правда, ей легче, дядя Митрич!

— Ладно, сынок! Може, и оклемается, да ненадолго. У ней все внутренности отбиты знаешь с каких пор? Как побил я ее, когда строился грязновский завод...

А Сергей Палыч молчит, только дышит шумно, тяжело, будто на гору.

— Эх, старый вы народ. Сидите тогда! Завтра мы все равно освободим вас.

— Силом? Думать не моги! — загрозился Митрич.

— Какие вы чудные! Ну сидите, увезут вас, расстреляют.

— Пущай, а народ из-за нас не подводи под карательный...

— Карательные отряды все равно рыщут. И в Каменку им не миновать, не пойдут ребята в армию, говорил со многими. — Санёк вдруг громко рассмеялся и, спохватившись, заткнул рот ладонью. — Дед-то, Силуян Иваныч, распалился — не подходи! Прошка, его внучонок, тоже в списки попал.

— Ну? Зело старика, — улыбнулся Митрич.

— Вот те и семь грехов с половиной! — засмеялся проснувшийся Барбин.

Со двора свист.

Санек торопливо зашептал:

— Архипов отобрал свой участок, огораживает жердями. Все сеялки-веялки собирает по дворам. Сам ходит с милиционером.

— Вон куда пошло! Оглоблин как?

— Этот ни гу-гу.

Со двора повторный свист и шепот:

— Скоро ты, разбойник Чуркин? Узнают, последнюю ногу оторвут мне из-за тебя, — шепчет Давыша и потом нарочно громко и строго кричит:

— Ну, комиссары, сидите? Все целы? Ну-ка я посмотрю на вас!

С площади смех и припевы караульных:

Во Каменке крыши белы,
Только девок нету целых...
Тыр-мана, тыр-мана,
Тырмана да-а-а...

Ночью у Санька с некрутами было совещание в лесу. Дед Силуян Иваныч тоже пришел на это совещание.

А наутро наехал начальник районной милиции русский полковник в сопровождении трех чехов. С ними агитатор из Самары от губернского комитета партии социалистов-революционеров.

Начальник милиции первым делом арестовал Пузанкова и посадил его в арестанку.

— У-у, хозяин! — встретил его Барбин злорадным рычанием. — Чехов вам надо было?

Площадь запестрела народом.

Собрание открыл Софрон:

— Граждане! Я открываю наше народное собрание по существу текущего момента. Во-первых, наш член волостного земства, вам известная Клавдия Михайловна Оглоблина, проштундировает приказ нобилизации и защиты от нашей высшей власти Комитета членов Учредительного собрания. Опосля оратор-агитатор от нашей трудовой мужицкой партии есеров проштундирует все парагры текущего момента и о том, как одурачивала нашего брата так называемая совецкая власть комиссаров на манер держиморду и как эти статуеты задарживали развитие хода нашей прямой народной революции.

Начальник милиции сердито махнул Софрону рукой, тот недоуменно замолк.

Стало слышно, как ветерком по переспевшей ниве летит по толпе невнятный ропоток. И под этот ропот и под взволнованные протесты Софрона Ивановича, которого начальник милиции стащил с крыльца, прервав на самом интересном месте, Клавдия Михайловна начала читать громко, выразительно, наливным девичьим голосом:

Приказ № 64

Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания.

Самара, 30 июня 1918 года.

Именем народа, именем всенародного Всероссийского Учредительного собрания для борьбы с предателями России, свободы и революции, в полном сознании тяжкой перед народом ответственности, объявляем диктуемый государственной необходимостью призыв в ряды народной армии во всех местностях, находящихся под властью Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания, всего мужского населения, родившегося в 1897 и 1898 годах, и в мере действительной надобности офицеров и военных чиновников, состоявших ранее в частях войск, войсковых штабах и управлениях на действительной службе, а также и в запасе.

Время и порядок призыва приказываем определить главному штабу, который и приступит к его проведению в срочном порядке.

Члены Комитета

По мере чтения приказа ропот нарастал: уже не ветерок по ниве, а крепчающий морской прибой.

Клавдия кричала:

— Я вам прочитала подлинный приказ от точки до точки. Вот он! Смотрите все. Вот в этой золотой грамоте наше народное спасение от немецко-большевистского царизма. Да здравствует Учредительное собрание!

— Ура! — послышались громкие отдельные голоса из толпы.

И ударенная этими криками толпа метнулась в стороны и замерла, как от жгучего кнута.

— Граждане, в этот исторический момент я не могу утерпеть, чтобы не прочитать вам классические строки первого воззвания нашей власти к народу. Слушайте! — кричала Клавдия, взволнованная, чувствуя, что она своим наливным девичьим голосом заражает непокорливую толпу. — Слушайте все эту золотую правду о большевиках. Вы своим натертым горбом должны почувствовать эту правду.

«Граждане-крестьяне!

Власть, давившая вас в течение целого полугода, обманывавшая вас на каждом шагу, сулившая вам хлеб, мир и свободу, но грабившая с ружьем ваш хлеб, травившая вас друг против друга, разжигавшая страсти безумной гражданской войны, передавшая ваше достояние немецким завоевателям, поругавшая честь великого русского народа в Бресте, вместо свободы угрожавшая за всякий неугодный ей поступок и даже за всякое неугодное ей слово расстрелом...»

Голос Клавдии Михайловны раскололся, и звонкие осколки рыданий метко впивались в толпу. Клавдия читала с частыми передышками, захлебываясь в слезах:

— Эта... власть... проходимцев... и предателей... кончи-и-илась...

Дальше Клавдия не могла: задрожала в рыданиях. В затуманенных глазах вырос такой живой, такой любимый Владик...

— Вы помните все, как расстреляли Владислава Бржезо...

И снова зарокотавшая было толпа застыла перед глубоким женским горем, добровольно отданным напоказ. Клавдия, немного оправившись, в чуткой тишине читала дальше:

«Граждане-крестьяне, немедленно организуйте свои силы; составляйте отряды, вооружайте их имеющимся у вас оружием... Сметайте всюду остатки наемников большевистского самовластия.

Да здравствуют наши кровные братья — чехи, словаки, сербы и все славяне!»

При упоминании о чехах снова налетел ропот. Клавдии приходилось все больше усиливать голос, чтобы заглушить этот ропот:

«Граждане, добровольных отрядов недостаточно. Большевики ведут регулярные немецкие войска. Их кулаку надо противопоставить наш кулак. Вот почему объявлена мобилизация. Вот почему все мы должны, как один, воскликнуть: да здравствует революционная народная армия!»

Последние слова бесследно потонули в страшном взорвавшемся гаме:

— Не желам!
— Не надо нам!
— Чего хотите, только не армию...
— Долой ее...

Партийный эсеровский оратор взмыл над головами. Одной рукой он пожимал руку содрогающейся Клавдии, другой рукой махал над толпой:

— Граждане, я уполномочен... Граждане, я все разъясню... Граждане, успокойтесь!

Дед Силуян Иванович с высоко поднятым подогом пробирался вперед и вопил:

— Да какая тут могёт быть спокойствия, коли вы не даете нам спокою, семь грехов с половиной! У меня Прошка единственный один работник, а вы его ноблизовать пришли, семь грехов с половиной!

— Дайте дорогу деду, — кричит оратор.

С разметанной бородой, с высоко поднятыми руками, в распахнувшемся чапане летает дед Силуян перед толпой, как большая подстреленная птица, как беркут степной:

— А мои кто утрет слезы? У меня Прошка единственный один работник, а они его ноблизовать пришли, семь грехов с половиной! Ужели же вам не надоела война, православные? Мы большевиков за то прогнали, что они войну привели к нам на задворки. Но при них по доброй воле: кто хотел, собачился. А вы всех под дугу ноблизовать хотите.

— Правильно, Силуян!
— Заступись, дед!
— Что вы с нами, стариками, делаете? — подлетел Силуян Иванович к крыльцу. — Ведь я это лето сенокосничал! А мне семьдесят годов, семь грехов...
— Правильно!
— Не желáм!
— Православные, этого и при большевиках не было. Давайте тогда нам обратно большевиков, шут с ними! Пусть хлеб берут, пусть реквизуют, только бы войны не объявляли. Старики, зачем же мы арестовали большевиков? Давайте нам наших комиссаров! — снова подлетел Силуян к крыльцу. — Сей момент, семь грехов с половиной!

В толпе уже послышался смех.

— Ай да Силуян Иванович!
— Бери за грудки!

А Силуян, кружась перед толпой, ринулся к арестанке:

— Зачем мы их арестовали, дураки! Митрич, я тоже тебя в холодную сажал. Прости меня, дурака, выручи мово Прошку, семь грехов с половиной. — Старик вытянул руки к решетке, за которой серела борода Митрича.

Начальник милиции, улыбаясь, преградил дорогу деду:

— Нельзя, дед! Нельзя с арестованными разговаривать. Граждане, не напирайте, сойдите с бревен, не лезьте к решетке.

— Знаю, что арестованные, — толкнул Силуян начальника. — Да арестовали мы их сдуру. Митрич, шабры ведь мы с тобой были.

— Осади, дед. Не вводи беспорядок! — повысил голос начальник.

— А ну-ка ты, погодь кричать! — снова толканул начальника. И лез к решетке, карабкался в воздухе растопыренными руками, будто собирался, но не мог никак улететь.

Начальник резко обернулся и махнул чехам. Как стена, выросли перед дедом молчаливые чехи с винтовками.

— Это что еще за чуды-юды, семь грехов с половиной? — остановился Силуян, переменив тон. Отошел на два шага, скосился на них как бык, приготовившись пыряться. И застыл в такой позе. Стоят чехи навытяжку, белками ворочают.

Засмеялись вокруг. Послышались голоса:

— Смотряй, Силуян Иванович, они те скорее спыряют.
— Во какие рога на винтовках.

Силуян вдруг тоже рассмеялся беззубым ртом:

— Ну давай, кто кого? Стой мордва на русски! — он еще ниже нагнул голову, приставил клюшку ко лбу, как рог бараний, и попер на чехов:

— Бу... Бу-у-у, — мычит дед на чехов.

Чехи бормочут, озираясь:

— Русь... Иди, русь...

Силуян Иванович оборотился к толпе:

— Вишь, говорят: тпрусь, тпрусь. Думают, мы и вправду телята.

В толпе хохот.

Толпа расползается, сгруживается у крыльца, где оратор говорит речь.

— Дед, иди на трибуну! — кричит оратор, прерывая свою речь.

— Нужна мне твоя трибуна, как в петровки варежки. Прошка, где ты? — подзывает внука и, с нарочитой опаской обходя штыки, снова лезет к решетке: — Митрич, смотри, каких нам прислали ноблизователей. Гостёчки, семь грехов...

Чехи недоуменно обернулись в сторону начальника, один из них вытянул штык и преградил дорогу старику, приложив штык плашмя к животу.

— Ой, батюшка, сладил! Сладил, стерва, со стариком, семь грехов с половиной!

Начальник решительно шагнул к Силуяну, лицо его побагровело, и он заорал вне себя:

— Пшел вон, скоморох!

Толпа снова ринулась к ним. Силуян растопырил ноги и ткнулся бородой почти в самое лицо начальника.

— Вот ты как? Ну и голос у тебя! Земский начальник однова, давно было дело, так же крикнул на меня. Так ты знаешь, что я ему сделал? А?

— Уходи, последний раз говорю.

— Знаешь, али сказать? Старики, помните, тогда?..

— Помним, помним.

Толпа, смеясь, снова сгрудилась и насторожилась.

— Так вот, старики! Это тот самый земский начальник и есть. Воскрес, семь грехов с половиной!

— Арестовать его! — заорал начальник вне себя.

Чехи кинулись к Силуяну. Тот увертывался от них и говорил, приближаясь к начальнику:

— Точь-в-точь как тогда. И голосок такой. Ну, коль, не пеняй на старика, если ты воскрес. Вот как я с вашим братом!

Силуян Иванович высоко поднял клюшку и размахнулся. В это время нагайка взвилась коротко и ударила его по голове. Силуян упал с криком:

— Прошка, бей сполох! Где ребята замешкались?

Чехи щелкнули затворами.

Толпа побежала по площади в разные стороны.

Оратор надрывался:

— Граждане, успокойтесь. Это бунтовщик против Учреди-и...

— Бей их! Чего смотрите? — раздался крик. Из-за угла арестанки выскочила молодежь с ружьями и сзади набросилась на чехов. Начальник не успел выхватить наган, как его тоже схватили. В это время от крыльца раздался выстрел, кто-то из толпы просунул руку и в упор выстрелил в живот оратору.

Посыпались частые бомы сполоха.

Толпа ринулась к арестанке.

Чехов разоружили и связали. Молодежь ввалилась в правление и остервенело разрывала призывные списки. Раненый оратор смертельно бился и стонал на руках Клавдии Михайловны.

Давыша отпер арестанку.

— Выходи! Народ вас освобождает... — Дед повис на шее у Митрича: — Ловко мы удумали, семь грехов с половиной! В лесу совет держали. Это я их надразумил. Устроить такую спектаклю. — Силуян Иванович хитро подмигнул Митричу и грозно поднял клюшку на начальника: — Дайте мне его, семь грехов... Рожу растворожу!

Санек кричит на крыльце:

— Товарищи, кто добровольцы в отряд на помощь Красной гвардии? В Мордовский овраг — за винтовками!

Обнялись Санек с Митричем в долгом поцелуе.

— Прощай, сынок! Орудуй за нас.

Молодежь побежала за Саньком. Догоняет их Силуян Иванович:

— А со мной не хочешь проститься, семь грехов с половиной? И я нонче большевиком стал. А? Рази мне с вами за командира?

— Айда, дедка!

— Нет, брат. Я человек сурьезный: крику не терплю. Я кого хошь под горячую руку клюшкой смажу.

— С половиной, — смеется Санек. — Ребя, в Мордовский овраг!

— Сыночек мой, Са-аничка-а, — упала сзади на Санька Степановна.

— Мама! Ты откудова взялась? Ведь я тебя в поле рожь смотреть послал. Ну, поспела?

— Эха-хах-ха... — зашлась Степановна.

— Маманька! — хотел сказать строго, а вышло жалобно, как в детстве.

Санек поднял мать и на ходу целовал ее мокрые соленые дряблые щеки.

Махай догнал ребят:

— И я с вами! Меченый, примашь в отряд?

Санек пристально посмотрел на него.

— Это ты его?..

На поясе у Махая болтался наган.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Хорошо ездят казаки — есть на что посмотреть!

Лошади ученые выплясывают под седоком. Копытный цок по булыжинам мостовой — дробная каменная музыка.

А седоки один к одному, при полной военной форме, грудь к подбородку, чуть касаются седла, летят по воздуху. Хорошо ездят казаки! А коли песню заведут походную — вот она где душа привольная, степь ковыльная!

Любуются обыватели, как гарцуют казаки по улицам Самары.

— Эти наделают делов.

— Да, уж эти не выдадут.

— Надёжа наша.

Любуются обыватели и на подворотни посматривают.

Сотня казацкая прогарцевала мимо губернской тюрьмы, через слободку в степь.

Пыль за ними — туча белая.

А на пасеке Сергея Палыча Палагина роятся пчелы.

Медовая пора. Идет по лесу тихий равномерный трудовой гуд. Золотыми колосами крутятся по лесной поляне пчелиные рои вкруг ульев пеньковых, колодовых.

Дни стоят золотые, наливные денечки. Изнемогает лес от духмяного запаха липы. Плывет по воздуху тонкий запах меда — земли золотая испарина.

Переливается речка Сок густыми прозрачными струями, будто мед течет в извивных берегах.

Не успевает Палагин рои снимать, не успевает ульи осматривать. Многие колоды уже полным полны, течет мед из бортин, негде пчелам самим помещаться...

А сколько в это лето приблудных шатущих роев! Вдвое бы можно увеличить пасеку. Работать бы за десятерых. Работать, руки засуча.

А работа — мука. Приходится урывками, крадучись воровать работу, того гляди придут. И не знаешь, когда придут и откуда придут?

Строго-настрого наказал сынишке Сергуньке следить за дорогой и, чуть кто покажется, бежать на пасеку. Да мало ли на свете всадников! Сколько раз перепуганный Сергунька поднимал напрасную тревогу. Сколько раз нырял Палагин в омшаник. Из омшаника прорыл Палагин земляной ход прямо под берег Сока.

Эх, и зло же берет раззуженного Сергея Палыча: сколько дела не сделанного, сколько трудов прахом идет!

Эх, и надоело же Сергуньке караулить отца. Крупные слезы по щекам кулачком грязным густо размазывает:

— Не пойду я, тятянь! Рыбачить хотца.

— Ну раз хочется, иди.

Дал Сергей Палыч мальчонке жерлицу, чтобы забавнее время сторожевое коротать.

— Только за щукой смотри да отца не посади на крюк. Слышь, Сергунь?

— Слышу, чай.

Снова отправляется Сергунька на берег Сока, туда, где голое место, где с бугорка видна дорога в Каменку и от Каменки. Поставит жерлицу с береговой кручи в омут. Не клюет рыба на живца среди дня: ни сом, ни щука. Какая уж это рыбалка: только знай, на дорогу смотри. Не разорваться, чай, между жерлицей и дорогой.

Увлекся Сергей Палыч ульем-даданом. Один он у него, контрольный. Недавно поставил — новинка. Окуривает пчел, срезает трутней. Матка, видать, стара стала: одних трутней кладет.

Увлекся Сергунька жерлицей — щука живца свела.

Большущая, дьявол!

А казаки лесом прошли, из-за спины:

— Здорово, хозяин! Медуешь!

Застыл Палагин с полной забрушенной сотовой рамой в руках. Стоит, а мед стекает золотыми каплями из ячей.

— Об чем запамятовал? Тащи раму на стол, угощай гостей. Самовар становь, потчуй с медом свеженьким. Косарев, зови остальных, хозяин приглашает, — распорядился старший.

Казак повернулся и скрылся в лесу.

А старший стал сбоку Палагина у костра, следит, как тот котел налаживает. Потянулся Сергей Палыч к топору — дров натяпать на костер. Остановил его старший:

— Не беспокойся, хозяин! Вот щепочки есть на растопочку.

Десятка два казаков бесцеремонно рассаживаются за столом.

Пьют чай из котла, хлеб в мед макают, мед на хлеб намазывают.

— А ты бы сотовым, хозяин, угостил. Не больно приветлив. За нами не пропадет, заплатим.

— Не надо мне вашей платы. А коли пришли, так ешьте.

— Мало ли што тебе не надо. Полагается, — смеется старший, подмигивая казакам. — Косарев, веди вторую смену.

Пришли еще десятка два казаков.

Поели.

— Ну, теперь пойдем прогуляться с нами, хозяин!

Сергей Палыч дает спешные наказы насчет пасеки взревевшему Сергуньке.

— Вот кадушечка увесистая, старший! — кричит казак из омшаника.

— Берите.

— Спасибо, хозяин. А на прогулку поторапливайся: дело наше такое. Ну, вы, будя там шарить! — кричит старший на казаков, которые замешкались в омшанике.

Зашагал Палагин в толпе.

А в леску под бугорком уже подводы ждут. Там Митрич, Пузанков и Барбин.

Через мост выехали за Сок в степь.

За полдень. Дорога гладкая. Тепло, хорошо. Поехали трусом.

Дремлют казаки, покачиваясь в седлах. На лицах усталость.

Три дня как из Самары выехала сотня казацкая. А дела сделали много. Не доезжая Красного Яра, пришлось разделиться надвое: одна часть на север поехала через Буян, другая — через Миловку на Каменку. В три дня весь

уезд надо объехать. В Миловке Петруху Сомова не удалось захватить, зато попался случайно казакам матрос Ванятка. Расстреляли Ванятку при выезде из Миловки за ветрянками.

Это было первое дело.

В Каменке недолго были, но все-таки успели кое-что: высекли деда Силуяна Ивановича перед всем народом на площади; поймали бежавшего с фронта каменского красногвардейца Любакина — у мордовского леса выросла его могила; собрали выпущенных во время восстания арестованных.

Митрича с гумна взяли, оправлял развалившуюся сельницу. Нашли в соломе две винтовки, которые сами подсунули.

Дорога ровная, дорога торная. Тепло, хорошо. Потеет степь душистая, поливает ее солнце июльское. Ехать бы и ехать по этой степи без конца, не думать, куда и зачем едешь и что впереди?

Сморили Митрича жара и тележное дрыганье: дремлет закрывши глаза и свеся голову к наклеске.

Но спешились казаки, лошадь в подводе пошла шагом. Не дрожит кадушка медовая, не трет спину Сергею Палычу.

«Проголодались, видать, с охотки», — подумал он.

К кадушке то и дело подходят казаки с ломтями хлеба, черпают мед на ломти, довольные, улыбаются мужикам.

«Сейчас опять поедем трусом, а там и Красный Яр. Уж скорее бы!»

Но совсем остановилась подвода. Сошлись казаки в кучку в сторонке, долго совещаются.

— Поехали! — кричит старший.

Казаки попрыгали на коней, окружили телегу. Почему же кучер не трогается?

Ах, лошадь остановилась по своей лошадиной надобности. Долго смачивает пыль, раскорячив ноги.

— Ну, хозяин, хорош твой мед. Давай расплачиваться!

Кто-то в сердце толкнул Сергея Палыча, но виду не подал:

— Не надо мне от вас ничего, товарищи! Бесплатное угощение.

— Ха! Это тоже бесплатное. Получай медовую!

Казак с плеча полыхнул Сергея Палыча по лицу нагайкой.

Тот, ошпаренный, схватился за глаз.

— Убери руки, шкура! — остервенился казак, увидя кровь, и снова ударил по лицу.

Кричит старший:

— Чего ты делаешь? По лицу не бить!

Он подскакал к подводе, осадил захрапевшую лошадь и набросился на казака:

— Эх, сволота! Что наделал: ведь выбил глаз-то! Теперь не разделаешься перед сотником.

— Рука сорвалась, старший! — понурился казак, подавляя рвущуюся улыбку.

— Сорвалась. У тебя всегда срывается... Ведь был же уговор: по лицу не бить. Зачем же я с вами толковал целый час? Теперь я буду в ответе.

— Отвечать за такую...

— Ты не со мной об этом, с сотником поговори.

— Ну, сотника, авось, монашки раздобрят! — засмеялся казак.

Дымной пленкой заплывает полувывалившийся глаз Сергей Палыча. Из орбиты ползет вдоль носа и в рот водянистая желтая струйка.

— Вон с кого надо было начать, он у них главный, — показал старший нагайкой на Митрича.

За Митрича взялись сразу в три нагайки. Били в спину. Рубаха полетела в клочья. Митрич упал вниз лицом в телегу.

— Погоди умирать, успеешь!..

Так все по-деловому просто: словно идет спорая молотьба короткими оборванными цепами.

Пузанков кричал, как оглашенный:

— Православные, я не с ними. Я по ошибке. За что?

— Старо за ново зашло! — смеются казаки, утюжа его нагайками по спине. — Снимай пиджак! А то не проймешь его, борова. Вот теперь посолонее будет.

— Я не большевик. Вот святая ико...

— Около большевиков сидишь.

— Тебе армию не надо, пузатый черт!

— Снимай сапоги! Ишь, вырядился! К обедне?

Пузанкова раздели, дали взамен солдатские сапоги и потную грязную гимнастерку.

Старший махнул нагайкой книзу.

И снова, как ни в чем не бывало, казаки поехали веселой гурьбой, и затрусила подвода. Некоторые из казаков, проезжая мимо подводы, добродушно разговаривали с избитыми. Барбину досталось, пожалуй, больше всех в этот уповод: он несусветно матерился и цепко хватался за нагайку единственной своей рукой.

Через несколько верст начался второй уповод.

От Каменки до Красного Яра двадцать верст. Пять раз за дорогу брали казаки арестованных мужиков в нагайки. А в перерывах ели мед и пели казацкие широкие песни.

В Красном Яру остановились на площади перед волостным земством. Площадь полна народу, а со двора земст-

ва — истошные крики и стоны, другая часть этой же казацкой сотни разделывается со своей партией арестованных. В толпе возмущенные и плачущие крики. Кое-где успокоительные разговоры о том, что арестованные сами виноваты: по пути они будто бы сделали неудачную попытку к бегству. Но этому никто не верит. Негодующие крики и волнение усиливаются при виде новой подводы с арестованными.

— Батюшки, еще везут!

— Казаки!

— И этих будут бить.

— Батюшки, в крове!

Казаки плотно окружили подводу. Старший черенком нагайки постучал в ворота. В быстро приоткрывшиеся створки ворот виден грузовик; рядом по двору в пыли извиваются мужики; над ними кучками казаки; мелькают нагайки часто-часто, словно спешно домолачивают последний настил на току, пыль летит по двору белая, как мякина. Крики избиваемых вырываются на площадь сплошным животным воем.

— Разойдись! Пропустите.

Толпа нехотя раздвигается перед телегой, окруженной верховыми.

— Баба, куда лезешь? — поднял нагайку старший.

— Спаси-и-ите! — визгливо закричала женщина от испуга и метнулась, закрыв голову, прямо в ворота — впереди подводы. С растрепанными космами, обезумелая, бросилась она к ногам начальника районной милиции, приезжавшего в Каменку:

— Спаси-и-ите! Ваше благородие, товарищ комиссар! Останови убойство. Вон он за мной бегет с нагайкой! — Пригибая голову к самой земле, она боязливо оглянулась и, не видя старшего, встала на колени: — Терпенья больше нет. Сноха моя... Никогда таких страстей у нас не было. Моя сноха на седьмом месяце. Скинула она. Ски-и-и... — и женщина зарыдала, снова падая на землю.

За подводой ворвалась часть толпы с жалобными криками.

Начальник милиции бросился поднимать бьющуюся женщину. Еще куча мужиков повалилась ему в ноги:

— Ваше благородие!

— Бейте, если такое дело, только не в селе.

— Пожалейте наших баб и ребятишек.

— Со многими родимчик приключился.

— Успокойтесь, граждане! Все будет сделано. Это недоразумение, — кричит растерянный начальник милиции. — Братцы-казаки! Оставьте, прошу вас. Что вы делаете?

Женщина вырвалась из рук начальника милиции и снова забилась на земле:

— Чего мне теперь будет? Убьет меня сын, что не соблюла ребенка, не выходила. Уж я ли на руках не носила... Уж я ли ее не хо-о-олила...

— Вставай, вставай, гражданка! Ты чья? А где твой сын?

— Ох, горе мое, горюшко! Ушел мой сынок, поди, и в живых-то нет. Лишилась я сынка, лишилась внука, всего на свете я лиши-и-илася.

— Красногвардеец? — сердито спросил начальник милиции.

— Ох, не знаю, не ведаю. Скинула детё. Ски-и-и... — Вдруг она подпрыгнула с земли, как мяч резиновый, и бросилась в кучу казаков с диким неистовым криком: — Звери! Креста на вас нету. На! Бей! Режь меня на кусочки. Топчи, акаянная сила!

Нагайка попала ей по виску, женщина ковырнулась с визгом.

С площади молотят кулаками, напирают плечьми: дрожат и скрипят ворота.

Шофер спешно завел машину. Арестованных кулями побросали на платформу.

— Давайте и ваших заодно! — кричат казаки прибывшим. — Одна им всем дорога!

Грузовик вымчался со двора, вслед ему — проклятия и камни.

За селом вскоре послышались залпы.

Начальник милиции запрыгал по двору:

— Это самоуправство! Я телеграфирую. Я немедленно поеду в Комитет членов Учредительного собрания. Под суд за это. Это же не пятый год!

Прибывшие казаки растерялись: они видели, что их товарищи поголовно пьяны и переборщили.

Старший вытянулся перед начальником милиции. В голове мелькнул наказ сотника. «Ни одного бесчинства, ни одного расстрела без моего разрешения». «Какого же ты чёрта застрял у монашек? Набросился с голодухи!» — ответил ему старший, а вслух козырнул:

— Разрешите сдать арестованных из села Большой Каменки, гражданин начальник.

Казаки спешно ссунули арестованных и бросились догонять своих.

Сергея Палыча без сознания отправили в местную больницу. Пузанкова и Барбина на следующий день после допроса освободили. А Митрича через несколько дней на-

чальник милиции со своим конвоем отправил в городскую тюрьму.

Митрич со спущенной спиной пластом лежал в телеге. Иногда с трудом приподнимал голову и глядел через наклеску на новые, наскоро отесанные топором деревянные кресты по сторонам дороги. Кресты шли гуськом один за другим по овражкам и заворотам. При виде крестов над могилами расстрелянных еще сильнее ныла спина и голову душной лапой накрывала мысль, что и над ним, где-нибудь в овражке или в лесу по дороге на Самару, вырастет вот такой же деревянный крест.

На пятой версте встретились два красноярских мужика: они отаптывали только что поставленный крест на последней могиле. Мужики молча сняли шапки и низко поклонились Митричу.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Низкая, широкозадая, с облупленными боками, с маленькими слепыми окнами тюрьма похожа на лягушку, плотно придавленную каблуком. Растет под стенами тюрьмы дикий и буйный бурьян. Лежит уездная тюрьма в бурьяне и, кажется, грезит временами царя Гороха. Снится ей прошлое: когда не было здесь и помину о городе и железной дороге; когда во все стороны света белого расстилалась бескрайняя степь; когда бушевали в степи пурги да бураны; да волк, гонимый голодом, броскими прыжками металсся из конца в конец по необъятному сугробному полю и выл на эту пересыльную тюрьму, на эту этапную дорогу, уползавшую в сибирскую сторону.

В ночной тишине и теперь будто слышится протяжный лязг кандалов; выплывают в кошмаре сутулые серые спины с бубновыми тузами; качаются напополам подстриженные головы... И слышится колодничья песня.

Обошло время эту уездную тюрьму, и лежит она в бурьяне, как завороженная.

Квадратный тюремный двор. Посреди двора старая полосатая будка с подвешенным над нею почерневшим колоколом. Поодаль, под самыми решетками камер, зияет грязным, вонючим хайлом помойная яма. Она, словно живая мерзкая гадина, переливается и дышит: облаками подымается со дна и расползается по камерам смрадное зловонье. Рядом в стене — нужник без дверей. Весь дворик окаймлен зеленоватой полоской, из кухни и нужника по желобам течет густая протухшая муть.

Кашлянул колокол на тюремном дворе: кончилась пятнадцатиминутная прогулка.

— Загоняй!

Солнце безжалостно. Духота смертная даже во дворе. А впереди чадящая кухня, низкий, узкий коридор и камера — вшивая, пропахшая живыми и мертвыми клопами, миазмами ночных испражнений в парашу.

— Коридорный, загоняй!

Медленно тянутся арестованные по двору.

Если бы только знали, как не хочется возвращаться в камеры!

—Эй ты! Чего плетешься, как... барыня на базар? Не волочатся копыта? Коридорный, чего смотришь! Гони их, мать...

У старшего тюремного надзирателя и голос тюремный: глухой, привычно лающий, как из бочки — многолетней практикой выработан. Сам он высокий, одутлый, с налитыми кровью глазами, с изрытым от оспы лицом — крупно шагает по двору, привычно матерится, привычно толкает в спины:

— Заходи, мать... Что у тебя, бабоны, мать...

Фамилии у него нет. Даже надзиратели зовут его в глаза Старший, а за глаза Жандар.

Жандар — несменяемый. Шнур и шашка приросли к нему и кажутся живыми частями его тела.

— Заходи, первый коридор! Не толпиться! — кричит надзиратель, звякая ключами и косясь на Жандара.

Санек остановился перед кухней около бочки и моет ноги.

— А этого не видишь? Гони его, черта! Ноги вздумал мыть, нашел время. Его не нынче-завтра расстреляют, а он красоту наводит. Гони в шею, мать...

— Заходи, одиночный! — берет надзиратель Санька за рукав.

— Не смей орать! — крикнул Санек на Жандара: это для того, чтобы продлить прогулку.

Арестованные знали слабость Жандара и пользовались ею почти каждую прогулку, задирая старшего надзирателя по очереди. В таких случаях Жандар всегда становился посреди двора и отводил душу в отборнейших ругательствах против большевиков, которые причинили ему непереносную обиду: при Октябрьском перевороте посадили его в самую скверную камеру.

Жандар загремел на всю тюрьму:

— Ага, ты вот как! Комиссары, прохвосты, мошенники! Привыкли разбойничать. Прошло ваше царство — сажать по сырым камерам честных служак царю и отечеству верой и правдой. Теперь вы посидите, как раньше. Теперь не пикни у меня. Забыли, кто вы: комиссары, жулики, самарские горчишники!

— Ответишь за оскорбление! — подзадоривает Санек.

— Что? Я? За вас? Отвечать за всякую сволочь? Молчать! На месте расстреляю сукиных детей. Они не знают, зачем народную армию сняли с охраны, и теперь чехи охраняют тюрьму. Ты не знаешь этого, комиссар сопливый?

— Знаю, потому что народная армия бунтует...

— Молчать! Врешь, сволочь! У нас не забунтуете! Для того, чтобы как только такой супчик, как ты, задебоширит — на месте пристреливать, как собаку.

— Руки коротки! Вы бы расстреляли, да чехи не разрешают вам.

— Ага! Ты вот как на должностное лицо! Руки коротки. Это что значит? Бунт! Расстреляю, сукин сын! В момент! Сейчас же пойду приведу чехов — мигом тебя не будет.

— Веди! Холуй...

Лицо Жандара побагровело, глаза, еще больше выкатившись, налились кровью, голос охрип. Он тяжело засопел и дернулся было идти.

В это время распахнулись внутренние ворота тюрьмы, и ввели нового арестованного.

— Дядя Митрич! — закричал Санек и бросился старику на шею.

— Земля клином сошлась, — бормочет растроганный старик. — Видно, от тюрьмы да от сумы... сыночек! Ну, где мой терем-теремок?

— Идем ко мне. В мою одиночку. Вот где свиделись! — Санек тащил Митрича чуть не на руках.

— Стой! — бросился Жандар на Санька. Санек ловко, как на кулачках, дал Жандару подножку. Тот растянулся на дворе. Арестованные рассыпались по камерам.

Санек втащил Митрича в свою одиночку.

— Ну, как там, в Каменке? Садись сюда, на койку. А я на полу себе устрою. Рассказывай!

— Да что рассказывать: порют. Хвалим утро вечером, если днем не сечены. Про себя-то расскажи.

— Видишь? Сижу... Пробрались мы к красным, влились, пошли на фронт...

Камера с треском распахнулась. На пороге Жандар с чехом.

— Выходи!

— Зачем? Мне и здесь хорошо.

— Не разговаривать! Там узнаешь.

— Ты здесь оставайся, дядя Митрич, я сейчас вернусь... — успокоил Санек озадаченного старика.

Санька провели в канцелярию, где его допрашивал чешский офицер, начальник тюремной охраны. Санек сказал, что старший стращает арестованных чехами, как собаками, и, пользуясь этим, заводит в тюрьме старые царские порядки.

Жандар зверски ворочал белками и скрежетал, но ругаться при чехе не осмеливался.

— Я вам говорью: чехи — демократ. Поняль? Ви — личный свинь. Поняль?

Чех двигал усиками и грозил Жандару. Тот, вытянувшись в струну, беспрерывно козырял в затылок чешскому офицеру, который обернулся к Саньку.

— А ви последне предупреждаю. Последне — карцер. Потом — расход.

Санька заперли в тюремный карцер.

По выходе из карцера он уже не нашел Митрича в камере.

Каменка вынесла общественный приговор: взять Митрича на поруки всем селом. Митрича освободили, чтобы загладить безобразия, наделанные казачьим карательным отрядом.

Самому Саньке тоже недолго пришлось посидеть. К уездному городу подступали красные, и ночью получилось распоряжение: всех арестованных вывезти в Сибирь.

Начальник конвоя, русский штабс-капитан, спешно пересчитал арестованных и закричал:

— Веди!

Ни переклички, ни списков. Сколько арестованных берет из тюрьмы, — знал только он.

Со скрипом и грохотом открылась ржавая железная пасть тюремных ворот. Толпа родственников и провожающих хлынула к арестованным. Конный отряд казаков ринулся на толпу и закружил арестованных в кольцо.

Рыданья, крики, ругань верховых. Внутри кольца разместился пеший конвой русско-чешского полка.

— А-арш!

Нагруженные мешками, сбиваясь в кучи, опьяненные воздухом и необычной ширью улиц, двинулись арестованные к вокзалу. Впереди нелепо гарцевали верховые, разгоняя толпу. Толпа родственников напирала, лошади храпели, дыбились, бросались в сторону, пятились задом прямо на арестованных.

Женщины забегали с боков, сзади, кричали напутственные слова, давали дорожные советы.

— Раз-зогнать!

Толпу разогнали, арестованных выровняли, конные встали шпалерами по бокам до самого вокзала.

И тут особенно ясна стала общая суматоха в городе.

Вокзальная улица запружена народом: идут, едут, бегут. Эвакуация.

У вокзала ярмарочная кутерьма. Крики, давка, гам.

Длинные, волнующиеся хвосты очередей. Торговцы и торговки со своим скарбом. Вобла, хлеб, вареная печенка, махорочные папиросы.

— Пельмени горячие!

Юркий человек с широким ящиком через плечо, где собраны безделушки всего света, юлит вокруг народоармейцев, которых особенно много на улице:

— Все по рупь, на выбор рупь. Эй, не кусаюсь, подходи. Что угодно, гражданин? Зеркальце? Чвос?

— Убирайся, говорю, к едрене фене. Чего пристал.

— Есть щеточка для усов. Чвос?

Цыганенок с попугаем.

Мальчишка-газетчик мимо торговки шмыг.

— Ах, чтоб те. Чертенок! — ругается торговка, ловко подхватывая сваленную набок четверть с молоком. — Чертово отродье, матери твоей!.. Милиционер!

Сверкают пятки мальчишки, и на другом конце базара звенит его голос:

— Газита «Волжинский день»! «Волжинское слово» — газита! Доблестная победа народной армии. Разгром большевиков.

— Чего ты врешь!

— Не вру, дяденька. Купи, дяденька. Тут напечатано.

— Ну-ка, ну-ка! Где напечатано?

— Вот!

Народоармеец впивается в газету, читает.

— Тьфу, идолы! Я те задам, народ обманывать! — народоармеец бросился за мальчишкой.

Мальчишка проскользнул под брюхом лошади, сует газеты арестованным. Взвилась нагайка конвойного, мальчишка пискнул и сник, точно проткнутый резиновый мяч.

— Убили, убили! — завопила та самая торговка, у которой мальчишка пролил молоко.

Базарная жизнь на миг смолкла, будто оборвался приводной ремень быстро бегущей машины.

Потом базар и вокзальная толпа хлынули в сторону арестованных. Верховые жгли плетьми, врезались в толпу, неистово орали. Лошади, оглушенные базаром, прядали из стороны в сторону, пьянея и давя.

Все перемешалось в хрустящей каше.

— Пли! — раздалась команда.

Поезд под парами.

Арестованные курят, знакомятся. Подбегают родственники, передают белье, табак, деньги.

Бомбой влетает начальник конвоя.

— Безобразие! Конвойные, разогнать публику. На двадцать шагов не допускать к арестованным.

И снова стремительно скрылся. И снова влетел.

— Слушай мою команду. Дистанция четыре шага. Конвойный, знай свой ряд. Смирррно! К поезду арш!

Тянется бесконечная узкая лента арестованных по платформе, а за ней — неудержимая лавина провожающих.

Начальник конвоя кричит нарочно громко, чтобы слышали все арестованные:

— При посадке следить строго. Прапорщик Пётров, станьте здесь. Прапорщик Иванеев, ваше место здесь. При малейшей попытке — разрешаю пускать в ход оружие. Винтовки заряжены? Наганы у всех? Патрон в дуло! Вещи обыскать, как только тронемся. Лишние отобрать! Поняли?

— Так точно, господин капитан! — дружно ответили молодые прапора, юнкера, гимназисты, студенты и чехи.

— К посадке!

Арестованных разделили по сорок человек на теплушку, началась посадка: шум на вокзале приутих.

В тишине этой сзади, из-за Волги, послышались пушечные бухи.

Каждый бух тупо стукался в сердце Санька, каждый бух звал к себе...

Бежать, бежать... Там наши.

Очередь доходила до Санька. Около настежь распахнутой двери теплушки двое конвойных — чех и русский.

С глаз не спуская конвойных, Санек подался чуть в сторону и пригнулся, норовя нырнуть под вагон.

— Ты чего там? — услышал он сердитый, но знакомый голос. Каска поднялась.

— Стась?

Тот поднял руку в знак молчания.

Высокий, стройный, туго схваченный лаковым ремнем, в юнкерских погонах, Стасик был неузнаваем.

Когда очередь подошла вплотную, Стасик прошептал:

— Санек! Где встретились!

— Сволота! — прошептал Санек, намереваясь схватиться за ручку, чтобы лезть в теплушку.

А Стась, качнувшись и подняв руку, будто поправлял каску, положил локоть на спину Санька и надавил вниз:

— Ныряй! Быстро. В дороге расстреливать будут.

Не успел Санек опомниться, как Стасик подтолкнул его задней частью под вагон и быстро заслонил собой.

По ту сторону теплушки Санек остановился на миг и бросился бежать в степь. Но вскоре вновь остановился:

— Нет, заметят.

Тихо-тихо пошел вдоль вагонов в сторону города.

Обошел депо, вышел на вокзал. Дорога мимо тюрьмы.

Чудно идти мимо тюрьмы, откуда только что вывели. Будто нагишом идет Санек по улице. Кажется, вот-вот часовой у той полосатой будки сейчас бросится и закричит:

— Держи его! Он из тюрьмы убежал!

Но часовой смотрит равнодушно на прохожего паренька. Тихо идет Санек, тихо проходит мимо, а сердце летит вскачь.

Вдруг за спиной верховой.

«За мной... С вокзала. Хватились!»

Цокают копыта. И не по мостовой скачет всадник, а по Саньковой спине. Оглянуться — голова не повертывается, шея не слушается. Каждый цок ударяет в спину, продавливает тело до самого сердца.

Проехал!

Со свистом рвется облегченный выдох. И слышнее и такими ласковыми кажутся пушечные бухи.

А сзади снова цоки копыт. Снова давят спину и колют сердце.

Проехал...

Санек осмотрелся: смеркается, мчатся подводы с перебутыренным имуществом, на возах испуганные буржуи и буржуйки, бегут вприпрыжку разрозненные отряды народной армии.

А верховые одинаково скачут по всем улицам.

«Наверное, конные патрули. Наблюдают за порядком!»

Санек затерялся в сумерках, в беспорядочной городской сутолоке, что иголка в сене.

— Говори, ушел! — облегченно шепнул себе. И до того стало ему весело, что, сам не зная, как это вышло, Санек произнес вслух: — Молодец, Санек! — и судорожно рассмеялся.

И шел, выбирая улицы потемнее, шел уже широкими и твердыми шагами через весь город, в Мещанскую слободку, к Волге, туда, где все слышнее, все четче ухали пушки.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

МАХАЙ В ХОРОВОДЕ

Рвет гармошка.

Подпевает орава парней.

Смеется улица в праздничный день — рябит молодежью.

На площади девичий хоровод заманивает кавалеров. Ходят девки в «кадрели» друг с дружкой: не хватает парней. Играют девки «чижика» на губах: нет гармониста.

А чижичик-пыжичик, маninькай воробушик!
Ни я вас паила, ни я вас кармила,
На ножиньки ставила, танцувать заставила.

Замедляют ход ребята, растягивают с выносом:

Я-а сва-аю-у-у кра-аси-иваю-у-у
Па-а морди-и-и кра-аши-иваю-у-уу...

Ужом извивается двухрядка в руках Алешки Горшка.

— Кончай, Лешка! Подойдем узнам.

Не слышит окрика Алешка Горшок, переборами увлекся. Широкая ладонь грубо заткнула рот гармонисту:

— Замолчь, сука! Тебе говорят, узнать надо.

Алешка от неожиданности вавкнул, рванулся, но, разобрав в чем дело, мигом стих. Махаю не перечь, Махай — коновод. Все-таки сказал с досады:

— Чего узнавать, али не щупали? Айда, мимо!

— Сухолински парни в наш курмыш повадились.

— Брось?!

— Крест святой! К нашим девкам шары подкатывают. Ванька Корявый, грит, с Пашкой зашурмурился.

— Огонь девка!

— Паскуда! То с Сергунькой, то теперь с Корявым. Да и мне, сволочь, подмигивала.

— Тебе?!

— Замолчь! Я ей волью. Проучу стерву, пожалуй, рожа засветится.

От запаха драки сердце у парней подымается. Алешка шире гармонь растягивает:

Пабью-у окны, пабью-у двери-и-и...

— Корявому накомсомолю бока!

— Крой! — поддерживают товарищи Махая. С частушкой подкатываются к хороводу:

Ана ма-ая кой кака-ая
Зара-а-азительна больна-ая.
Тербил-дергал, тербил-дергал,
Тербил-дергал... хрусталёк.

— Что вы, девки, без гармони всухую хороводитесь? Сыграть ништо?

— Давай, Горшок! Расцалую, Лешенька! — ластится к гармонисту Пашка Баянова:

Гармонист, гармонист,
Пожалыста, не женись...

Махай косит глазами: глаза большие, белки навыворот. Режет хоровод взглядами из-под широкого, низкого лба. Кудель из-под картуза — вьющейся мочалой.

Плывет по хороводу Пашка Баянова. Чем плавнее пляшет Пашка, чем приветливее ручкой кавалера поманивает, тем злее мысли у Махая. А когда косынку из кармана вытащила, когда запорхала косынка белой голубкой над ее кокетливо согнутой головой, когда пошла Пашка Баянова с приплясом вдоль хоровода, вкруг кавалера своего,— шилом проткнуло Махая:

— Бить!

А кругом восхищенные возгласы парней:

— А ну-ну!..

— Притопни, притопни! Ай-яй-яй...

— Виноходь, Баяниха!

— Ай, Пашка! Ну, рвет!

Выскользнула Пашка из круга, высокая грудь колесом пошла, косынкой Пашка обтирается.

Парни девок окружили:

— Нютка, ты чаво — корова!

— Крой с приплясом!

— Э-э-э, монашка!

Парни тыркают Нюрку Солонину по-всячески за то, что кадриль без припляса танцует, задается девка, — отец коммунист.

Махай отводит свою стаю в сторону. Совещание.

— Видал, Махай, трое сухолинских тут?

— Не ори!

Долго смотрел Махай на хоровод, скособочась. Нюхал. Потом обернулся к товарищам и сказал решительно:

— Бьем!

Повел глазами, нет ли возражений? В ответ одобрительно:

— Крой, айда! В случае — не выдадим.

Цветет кадрелия. Кружится молодежь. Веселью круглятся лица.

Разоряется впух, нажваривает Алешка Горшок.

— Чичи-тричи, чити-тричи, чиччи-триччи-чу! — присвистывает он в такт гармошек, топая оземь лаковым сапогом, встряхивая чернобуйными кудрями.

Мальчишки взапуски около девок увиваются, за подлы девок цапают да смешки разные наворачивают:

— Дунька, рано в девки пошла: ворота-те вымазали! Э-э-э...

— А Баяниха задом виляет, как Пегашка наша виноходит. Ха-аха!

Под песни, под хохот уходит догорающий день.

Вдруг гармошка смолкла, это Махай пододвинулся вплоть к хороводу, это Махай гармонисту подмигнул.

Кадрель смеялась. Девки окружили гармониста:

— Горшок, брось зазнаваться. Играй, Лешенька!

Играй, играй, игрочок —
За работу пятачок.
Будет мало пятачка —
Дадим Лешку дурачка.

Алешка застегивает гармонь. Махай молча в круг девок входит, коротко похахакивает, плечи разворачивает: Пашку с ее кавалерами дожидается.

А Пашка Баянова давно уже смекнула неладное, отошла с сухолинскими будто на минутку, шепчет:

— Ребята, уходите от греха! Махай драться хочет.

Сухолинские в раж:

— Пускай сунется! Гирька у нас припасена для него.

— Пашка, подь суды! — кричит Махай.

Погоди, Махаюшка! Мы тебя дольше ждали.

— Рассказывай! Давай сухолинских, чего под подол прячешь? Боишься, сдробу упадут.

— Сейчас идем! — кричит Пашка и шепчет Ваньке Корявому: — Ментом уходи, гулять не буду, если не послушаешь. Какой ты комсомолец — на драку лезешь? — и вдруг обняла парня, коротко и крепко поцеловала и тихонько оттолкнула.

— Паша! — обрадованно воскликнул влюбленный парень.

— Бегите скорее!

— Ну, ладно! Только для тебя. А то бы!.. — храбро погрозил кулаком Ванька-комсомолец в сторону Махая.

Сухолинские парни растаяли по-за бревнами, а Пашка в хоровод возвратилась как ни в чем не бывало. Махаю улыбается, Махая в кавалеры берет.

— Отстань! — рычит Махай. — Где Корявый?

— Я почем знаю? Зашли, постояли — ушли.

— Юда!

— Чего злобишься, ждала-ждала его, а он на тебе — пики-козыри! Плясать до смерти хочется, с сухолинскими с горя плясать пошла. Не с кем больше...

— Врешь!

Смотрит Махай на Пашку испытующе, грозится:

— Гляди у меня!

— Гляжу да оглядываюсь. А что я тебе? С кем хочу с тем пляшу: все вы для меня одинаковые.

— Поговори еще! Горшок, чего зенки вылупил? Играй чаще!

Звякнул Лешка в колокольчики.

Закружили пары по площади.

В середине Махай с Пашкой.

Обмяк парень, телок телком. Жмется к Пашке, улыбка шире варежки.

— Пашка, любишь, что ли?

— Ну вот еще чего выдумал! Любовь твою забыть, так в голос завыть.

— Не шути, говорю! — срыву прижимает к себе Пашку.

— Не шучу, говорю: не люблю я тебя. А плясать с тобой хорошо, сильный и ловкий.

Милый мой, милый мой,
Лутчи дорогова-а.
При тибе люблю тебя,
Биз тибя — другова-а...

Кружатся пары по площади.

— А сухолинских мы все-таки отдуем. Не сдобровать Ваньке Корявому. Вместе с соплями комсомол его вылетит!

— А что тебе комсомол?

— Ништо! Старо за ново зашло.

— Я сама скоро в комсомолки пойду.

— Только вздумай, я те покажу!

— Говорила я с Митричем. Он человек правильный.

— И со мной говорил твой Митрич. Всех в комсомол улещеют. Ну их всех к черту!

— А Ванька ни при чем. Чего ты на него взъелся?

— Как ни при чем? Девок наших не отбивай!

Тискает Махай горячую Пашку, жадно дышит в раздвинутые губы.

— Ерунду порешь, Махай! Силом тебе не дамся.

— Посмотрим!

— Посмотрим? Ну, смотри тогда: не желаю с тобой больше.

Рванулась Пашка и, как линь гладкий, выскользнула из Махаевых объятий. Махай за ней.

— Пашка, не балвай! Вернись, говорю!

Но Пашки как не было.

Сел Махай на бревно, задумался.

Потом вскочил, заорал:

— Бей девок!

Всхлипнула гармошка.

Девки по площади — с визгом. Мальчишки в стороны — горошинками. Товарищи окружили Махая:

— Не трог, Махай, не виноваты они.

— Брось! Мало тебе девок? Айда в мордовский курмыш.

Махай вытянул кулак в темноту:

— Ну, попадись ты мне, корявый черт! Своих не-спознаешь! Я покажу вам комсомол! — потрясает кулаком в сторону Сухой линии. Потом ребятам:

— Айда, в мордовский. Запевай, Горшок!

Моя милка-а краля, краля-а-а,
Нос крю-у-чком, рябая харя-а-а,
Тыр-мана, тыр-мана,
Тыр-мана... Да-а-а...

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ

Не сразу повернулась Большая Каменка другим боком.

Стронулась она с места в большевистском Октябре и долгие годы металась из стороны в сторону.

Лилась кровь мужицкая. Приходили, уходили власти.

Подымала голову Каменка против керенского правительства — за Советы. Подымала голову Каменка против Советской власти — за учредилку. Стонала Каменка под чехами, по лесам разбегались деревенские люди, не желая идти в эсеровскую народную армию. Видала Каменка

казаков оренбургских, как в пятом году. Только в пятом году постегали казаки мужиков нагайками, да тем дело и обошлось. А в году восемнадцатом мало нагайками дрались казаки, винтовками расстреливали мужиков.

Поезжайте по дороге столбовой, по шоссейному тракту на Самару. Посмотрите кресты да могилы, да часовни придорожные — на каждой версте, в каждом овражке, каждой буерачине.

Истребляли эсеры, чехи и казаки семя комиссарское — истребить не могли. Из Москвы на Поволжье на выручку приходила Красная армия. Навстречу Красной армии высылала Каменка партизанские отряды.

Ушел Санек, парень девятнадцатилетний, в голове отряда партизанского. Ушел и не пришел. Знать и вправду расстреляли его белые, как в газетах было тогда напечатано?

«Знать, тогда же, как встретились в тюрьме, как взяли его из камеры»... — часто думает Митрич.

Побиты эсеры и чехи. Побит Колчак. Ушла война из Каменки.

Призатихла Волга. Призатих Урал.

Пошла жизнь помаленьку.

Вернулся Панок семь раз раненый. Вернулись партизаны. Вернулись красноармейцы демобилизованные. Нет Санька! Вздыхает Митрич:

«Ужли сгиб паренек навовсе? Не диво!»

Да что вздыхать об одном человеке?

Такие ли дела были за эти годы в Большой Каменке, сказать — не обсказать, писать — не описать: сотнями жизни закатывались. Сердце надо изнутри выхватить, зажать сердце в кулаке, поднять его высоко, как знамя, сердце-то, — и тогда едва ли выскажешь.

Вздыхает Митрич — председатель ревизионной комиссии в групповом совете сельскохозяйственных артелей. Не весел Митрич, самый уважаемый в районе старик, самый пострадавший от чехов. Спину спустили Митричу казаки при восстании, ноет теперь спина при солнышке и в непогодь. Ездит Митрич по району — совсем поседевший дедушка — коммуны да артели доглядывает.

А дума у Митрича своя: дума давнишняя.

Не раз советовался Митрич с одноглазым кумом Сергеем Палычем Палагиным, председателем Большекаменского сельсовета. Зашился кум с делами. Косит провалившейся глазницей на Митрича, все угукает да агакает, с предложениями Митрича будто соглашается. А думает одноглазый кум о своем: о списках продналоговых, о школах, дорогах, больницах, о хозяйстве своем заброшенном, о своей пасеке.

Не раз делился мыслями своими Митрич и с Панком. Металась полымем рыжая Панкова борода, задыхался Панок в надрывистом кашле — начинал костерить буржуазию и нэп. Брызжет злоба из глаз искрами, брызжет злоба изо рта слюной. Разворошенный человек! Сам ругается, а рот кривится стонами, — невесело Митричу от Панковских слов. Лучше не трогать его: толку чуть.

Вздыхает Митрич:

— Эх... Нет Санька, какое бы дело сботали!

Нет Санька. Зато есть мужики, партизаны бывшие, есть люди ячейшные. Что есть, что нет: всем людям деревенским — только до себя.

Есть еще заводик барский — мертвый стоит, крышу растаскали, кирпичи начали ковырять для подпечек. Есть мельница оглоблинская — разваленная, одни стены гнилые торчат. Лесопилка есть архиповская — капитального ремонту дожидается. Что есть, что нет!

Все чаще Митрич на берег Сока похаживает, все чаще на лесопилку завертывает, все пристальнее поглядывает на крутолобую Чихан-гору. Стоит Чихан как стоял: все также кажет каменную лысину, все также ребра обнажил. Выбивают меж ребер Чихана подземные родники, текут по бедрам горы, серебром переливаючись на солнце. У подошвы горы обнимаются по-братски и бегут в обнимушки с речкой Каменкой. Колесит речка Каменка вдоль полей, по оврагам и пропадает в Сок-реке.

Думает Митрич, подумакивает, вкруг себя оглядывается, к приезжим из города присматривается, в газеты вчитывается, в брошюрки сельскохозяйственные.

Летом наезжают студенты в совхоз на практику — квартира у Митрича, по старой памяти. Говорят студенты о новой науке, о красных техниках, о том, как пища из воздуха получается...

— Бросили бы журавлей считать, ребята! Мужик хлебает воду после голодовки двадцать перьвого. Мужик по-прежнему соленым потом отравляет землю. А вы об эдаком... К делу нельзя ли поскорее приблизиться?

— Подождите, Потап Митрич, дело будет. Да еще какое дело!

— Жду давно. Только жданки кончаются.

— Вот, Потап Митрич, немцы азот в порох превращают. А мы повернем это на мирное строительство: из воздуха будет удобрение.

— А нельзя ли, ребята, заместо этого удобрения из воздуха грязновский завод пустить бы и земляное нам дать удобрение? Из воздуха — больно уж легкое и вроде

невидимое. А руды у нас, вы знаете, вся Чихан-гора, все берега Сока усеяны. Всю грунту перекопал я, как свои пять пальцев знаю. Не надо из воздуха, хоть из земли бы нам.

— Как ты не понимаешь, Потап Митрич! Смотри сюда, видишь рисунки? Это усовершенствованный химический комбинат. Видишь? Последнее слово техники. Не кустарничанье тебе...

— Оно, знамо дело... А нельзя ли, ребята, заместо книжек этих, кои привозите, селитры хоть бы, что ли, пудиков сотню, на пробу хоть.

Молодежь досадует на такую Митричеву несознательность. Хочется сразу ликвидировать Митричеву технеграмотность.

Слушает старик, силится понять, а сам думает:

«Говорят, а дела не видно. Самим, знать, за дело приниматься. Не иначе!»

Услыхал Митрич, что в губернии есть другой удобрительный завод, что он работает, и надобна ему руда.

Пришел Митрич в ячейку и сказал:

— Начинать надо, товарищи!

Решила ячейка:

— Надо начинать.

Собрал Митрич мужиков:

— Старики! Такие дела-то. Сдохнем!

— Чего доброго.

И еще сказал Митрич:

— Дошли с голодовкой — дальше некуда. С чего ни то, а начинать требуется.

Судили-рядили и так и эдак мужики: и налицо и наличку жизнь свою вывертывали, швы да морщины разглаживали:

— Быть, начинать!

Только один вопрос Митричу ребром:

— Не подведешь к камуне?

— Ну, что вы, старики!

Загалдели:

— Камуны не желаем, так и знай!

— Не в игрушки играть собираемся.

— Ты коммунист, мы — беспартийные.

— Родились и помрем...

Успокаивает Митрич:

— Это как есть. Воля ваша...

— Ну, то-то!

— Смотри, не малхань! Не молоденькай!

И решили:

— Кооперация.

И еще решили:

— Артель.

Начала кооперативная артель с малого. Начала с того, что под боком руду копать, на станцию доставлять — гривенник с пуда, и на каждую тысячу пудов руды — сто пудов выработанного удобрения по своей цене. Съездил Митрич в город, подписал договор.

Копали не спеша: не прошло и года после голодовки, не успели еще мясом обрасти мужики, силы разворачивались не сразу. Копали не спеша, а стали возить по первопутку — три тысячи пудов вывезли.

Получила артель к рождеству триста рублей. А с весны артель увеличилась. Сельсовет решил лесопилку у губсовнархоза арендовать. Митрич тут как тут — предложение: объединить в руках сельсовета и копанье руды и лесопилку, назвать это дело «производство общественного хозяйства», а для руководства избрать кооперативный совет.

Не возражало общество, даже галдежу было не так уж много: кому охота из-за рваной лесопилки горло портить!

— Попробывайте! — решило общество.

— Попробуем! — ответила артель.

А Митрич не стерпел похвалиться:

— Може, потуда и мельницу оглоблинскую огореваем.

Смеются мужики:

— Горячий ты, Потап Митрич, терпенья нет!

— Один струб у мельницы оставили. Чего ты с ним будешь делать? Лучше новую строить.

— Ишь вы, чистюли, какие! Как вас на новое раззадорило. И мельницу им чтобы новую подавай. Ты старое на новый лад поверни!

— Какой обмоложатель нашелся.

— Недаром с учеными знаешься.

— Прохессор.

Мужики лениво отмахивались:

— Артельники-затейники!

— Дай срок, остынете.

Каждый, идя с собрания, нес в бороде усмешку над проявившейся артелью.

ЛЕСОПИЛКА

Нет прежнего Потапа Митрича — тужили о неурожае, о бесплодной, мужицким потом отравленной земле.

Есть другой Потап Митрич — председатель кооперативного Совета. День и ночь мозгует Митрич, день и ночь решает такие, посмотреть, маленькие и такие, посмотреть, большущие дела.

Много хлопот у Митрича, а помощников мало. Есть верных два друга: Сергей Палагин — кум, есть еще Па-

нок — мужик умственный, хоть и с придурью. Остальные артельщики молоды. Бывшие партизаны и демобилизованные красноармейцы, пока ни тпру, ни ну: нэп их оглушил, не опомнятся. Зорко смотрит Митрич за каждым новым членом, приходящим в артель: нельзя ли помощника себе нажить?

Вот почему так пристально беседовал Митрич со Степаном Кусочковым, когда тот пришел в артель проситься. Кажись, мужик стоящий, хотя и сдрейфил он тогда при чехах. Ну, грех да беда с кем не живет...

Вот почему больно обрадовался Митрич, когда прошлой осенью из города приехал безусый инструктор комсомол организовывать. У себя поместил инструктора, поил-кормил: будут помощники. Дочку свою Нюру первой в комсомол записал. А на собрании ячейки сам вызвался комсомолом руководить. Взялся Митрич горячо за молодежь, но не выходило у стариков. Где уж! А тут еще с артелью некогда! Стал комсомол каменский посмешищем.

Много хлопот у Митрича, а помощников мало. Мало помощников, зато недругов хоть отбавляй. Сколько их обиженных! Архипов Илья Максимович: вылетели в дым его пятьсот ревизских, исхиз его богатый отруб — теперь наравне со всеми: душевой надел. Каково терпеть!

Пузанков Митрий — прежний старшина и председатель земства при чехах. Каково терпеть!

Купец 2-й гильдии Михайла Оглоблин. Каково терпеть!

Сами-то они не больно страшны, видно их как на ладони, да есть у них припевалы вроде Ивана Гнусавого, вроде Софрона, бывшего барского кучера и члена эсеровского волостного земства. Не будь помоги из города — съели бы! Дышат тихим сапом, мутят народ потихолегонечку, ждут от нэпа прибыли.

«Ждите, голубчики, у моря погодушки. А мы будем дело делать», — улыбается Митрич мыслям своим, шагая по селу во главе комиссии. Идет эта комиссия на архиповскую лесопилку: для осмотра. Пришло время и за нее взяться артелью. Идет комиссия, ноги из грязи еле выдергивают мужики, в чапаны с головою закутались. А с неба поливает бесперечь: осень не ждет, что ни день — дождит.

За селом, на залоге, трава буйно принялась от дождей, позеленела по-весеннему.

— Озимь вчера ходил смотреть. Ну и озимь! Землю кроет сплошь, а ранняя перо дает, кудрявится! — весело говорит Степан Кусочков.

— Да, озимя нынче как следовает, жаль бога гневить, — вздыхает Иван Яраскин, член комиссии от общества.

— Что у те бог-то в глотке застрял? Подавишься! — сердито обрывает мужика Панок, четвертый член комиссии.

— Да ведь я по привычке, Алексей Иваныч! Экий ты, прости господи!

— Отвыкать пора от буржуазных привычек.

Пропиталась земля соками. Нажмет лапоть, брызнет вода, трава под пятой побелеет, а потом снова набухнет, снова темно-зеленая.

— Смотри-ка следы! — наклонился Кусачков. — Прямо к лесопилке колесный след. На шинованных проехали...

Митрич остановился даже:

— Кого приспичило? В такую непогодь в гости к филинам...

— Прямо дива! — развел руками Яраскин.

От лесопилки рысью — тарантас. Высокий карий жеребец от худобы будто еще выше стал, широко выкидывает ноги. Жеребец — все, что осталось у Архипова от прежнего.

Архипов издали завидел мужиков. Сначала думал снять шапку, поклониться комиссии, приветливо заговорить. Да вдруг хлынула к горлу злоба, и перехватило голос у Архипова:

«На свое добро и взглянуть не дадут, грабители!» — резко отвернулся, хлестнул жеребца, промчался стороной, будто не замечая.

Мужики долго смотрели вслед.

— Гребтит, видно, сердечко-то.

— Еще бы не гребтит, — сколь капиталу вложено!

— А вы пожалейте хорошенько. Несчастненький! — оборвал Панок.

— Да ведь по человечеству мы, не то чтобы что... Экай ты, Алексей Иваныч!

Митрич молчит, а про себя дума:

«Ужели, взаправду, сердце хозяйское? Нет, тут что-то другое...»

Лесопилка с ободранной крышей мокнет под дождем. Прежде, когда работала, за пять верст было слышно и видно ее. А теперь затерялась, прижалась к лесочку, как нищенка. Архиповский хутор разрушен, а дом свезли в Большую Каменку под женотдел и детские ясли.

Осень пахнет свежими прохладными запахами: то густой анисью, то яблоком антоновкой, то горьким полынцем. А в завод вошли, — запах мышей и долголетней слежалой пылью ударил в нос. Дыры, плесень, ржа — запустение.

— Да-а... Большой капитал требовается. С нашими богатствами делать тут нечего: тыщи нужны, чтобы ремонт огоревать. Придется в город нацыкнуться, — раздумчиво качает головой Митрич.

— Не дадут нам из банки, — говорит Яраскин. — Чего

у нас? При деньгах Панфил всему миру мил, а без денег...

— Не давали бы, — речи не было. Тогда бы и огород городить незачем. Денег-то нам дадут...

— Дай бог, ежели дадут. Нашто лучше...

— Только и деньги получишь, делать на них нечего. Ба-альшой ремонт! Придется в уисполком торгнуться: в уезде не одна, чай, наша лесопилка. Где-нибудь берут же они матерьялу? Быть не может...

Панок ударил палкой по круглой механической пиле:

— Отдыхаешь, баишь?

Дрогнула ржавая пила, застонала на весь заводик. Словно сердце у всех оборвалось. Жалобный стон пилы долго не смолкал, становясь все тоньше и острее.

В город снарядили Сергея Палыча Палагина, председателя сельсовета, с пятью подводами. В придачу к нему Степана Кусочкова от артели: пущай привыкает ходить по общественным делам.

Только выехали за село, только мост через Сок-реку проехали, встречь опять Архипов на жеребце. Издали снимает шапку, низко кланяется председателю:

— В город никак? Обоз целый. За семенами?

— Вроде этого. А ты что-то на лесопилку стал часто наведоваться.

— Так, промяться маленько, — хмурится Архипов.

— Не больно зажирел твой Карько проминаться-то.

— Сергей Палыч, вправду решили взять артелью? Или разговоры?

— Как тебе сказать, Илья Максимыч! Говорят... Да я больше в сельсовете колгочусь, от артели-то отбился, не знаю толком... — уклонился Палагин.

— Сергей Палыч, я подумываю сам взять ее в аренду. Не из корысти, а так: уж больно привык я к ней. Тоска! Предлагали вы мне в прошлом году.

— Надеялся даром получить? Обмешулочка вышла, Илья Максимыч! — улыбнулся председатель.

— Ошибся, что поделаешь...

— Делать, знамо, нечего. А теперь она не наша, в губернию отошла. Наше дело здесь совсем маленькое.

«Вертится, одноглазый разбойник!» — подумал Архипов, а вслух сказал почтительно: — Зачем так говорить, Сергей Палыч! Разве без вас дело сделается? Я уж прошу не препятствовать моей аренде, если надумаю. Теперь это дело, слава богу, разрешается. А вас я ублаготворю...

— Ублаготворения мне, Илья Максимыч, не надо. Прошли эти времена.

— Знаю, знаю... Я к слову сказал. Разрешите наведаться к вам в сельсовет, Сергей Палыч!

— Заходи — после приезду. Потолкуем, — нарочно приветливо сказал, щупая в боковом кармане заявление о сдаче лесопилки в аренду Большекаменской кооперативной артели.

— Путь добрый! Поздравьте Самару с нэпом.

Весело посвистывает Сергей Палыч, а потом вдруг хмурится:

«Шут их знает, город-то! Сдадут ему. Теперь их много на старую нашесть усаживается. Наверно, подал заявку!» — и Палагин стегнул лошадь, словно обгоняя кого-то; ему уже начинает казаться: если поедет шагом, — опоздает. А обоз, как назло, тянется.

Архипов спокойно едет лесной широкой просекой. Шинованные колеса глубоко и бесшумно впиваются в листву.

«Уломаю! А слухи пускают, что сами возьмут, — для острастки. Где им!»

Свернул с просеки на узкую лесную дорогу. Здесь опавшая прошлогодняя листва сберегласъ сухой от дождя и шумно шуршала. Архипова взяла тревога:

«Зачем целый обоз? Не за материалом ли поехали?»

Вытянул жеребца кнутом под брюхо, тот крупной рысью помчался на собачий лай, доносившийся от лесничества.

Леопольд Леопольдович, завидя Архипова, выбежал из канцелярии:

— Друг мой ситный! Какими судьбами? Пойдем, пойдем? — потащил он Архипова в дом. — Ну, как ты? Рассказывай. Постарел, брат, постарел!

— Пора, и в дубе дупло заводится. Смотрит на лесничего, на его брюшко, на его новенький костюм. — «Живет, не тужит». Нахмурился: — Да что рассказывать! Весь тут: обобрали догола.

— Приспосабливаться, приспосабливаться надо, дружок. Приспособление — закон природы. Унывать не надо.

— Вам, ученым, може, это и на руку. А мне каково? Чего я без земли и без лесопилки: ноль без палки!

— Ну, Илья Максимович, говори кому другому, а я тебя не первый год знаю. Просто растерялся ты. Опомниться пора, дружище! Большевички нам передышку дают, нэпом поманивают. Чтобы при теперешнем положении, да ты, Илья Архипов, вывернуться не сумел! Верить не хочу.

— Прижали, как ужа вилами.

— А ты вертись, вывертывайся!

— Не хочется больно вертеться-то.

— Мало ли что не хочется. Надо! Смена вех. Ты не понимаешь, в чем эта штука? Я объясню тебе. — Леопольд

Леопольдович начал просвещать Архипова, с каждым словом все больше увлекаясь и бегая мелкой трусцой по большой и пустынной столовой: — Так-то вот!

— Все это, може, и так. Только на глазах больно я: веры мне нет.

— А зачем тебе вера? Вера придет. Деньги надо! Денежка найдет дружка.

— Насчет этого тоже плохо. Вот намедни на лесопилке был, осматривал, чего осталось. Взял бы в аренду, да денег много надо: ремонт капитальный. Одному не выдюжить.

— Бери! И как можно скорее, пока весна, у них на аренду. Теперь они кому угодно сдают, чтобы вызвать промышленное оживление. Потом будет хуже.

— Не выдюжу. Компаньона бы.

— Идея! Есть компаньоны! Ты помнишь Кляцковского? С ним мой сын Станислав. Ты понимаешь, мне самому лесозаготовками заниматься по службе нельзя...

— Как же это? Отец — лесничий, а сын...

— Да кто знает, что сын? Я везде говорю, что сыновья мои оба расстреляны: один Советской властью, другой Колчаком. Он под другой фамилией... Знать не знаю, ведать не ведаю... Чего уставился, Илья Максимович? Ты что же, думал: в спецы к ним пойду, горб наживать для их коммунистического рая? Я же говорил тебе, какие перед нами задачи теперь. Только смотри, никому: это наш с тобой секрет. Ты как компаньон должен знать, а другие.

Поздно вечером провожал лесничий Архипова:

— Поезжай прямо в Самару. И — ни-ни!

В ГОРОДУ

Уехали Сергей Палыч с Кусочковым, как в воду канули: ни слуху, ни духу. Неделя проходит — не возвращаются ходоки.

Взволнованные артельники собрались у Митричевой избы. Унылые лица, хмурые разговоры.

— Сдохли, что ли, там?

— Не дадут матерьялу-то!

— Он, город, только брать умеет!

— Ложкой кормит, а череном в глаз колет.

Митрич сердито цыкает на мужиков:

— Будя вам каркать-то!

«Не дают, не дадут»... И дадут, так надо еще взять. Думаете, припасли для вас готовенькое? Одни вы у Советской-то власти? Маловеры, соломенные ваши души!

Успокаивает Митрич мужиков, а у самого мороз по коже, как подумает:

«А что если вправду не дадут матерьялу: лопнула, скажи, лесопилка, да и вся артель»...

Панок, будто в голове у Митрича копался, спрашивает со зла:

— Ренду-то хоть подписали?

— Да что я, ворожей али отгадчик? Столько же знаю. Ты хоть откачнулся бы.

— Что, не надобен стал? Я откачнусь, пожалуй. Уйду совсем из артели вашей.

— Этого не хватало, дурь свою показывать. Валяй, айда, благо много у тебя ее. Эх ты, сознательность! Комиссаром был, в Красной армии сражался, раненый.

— Дурак, что был! Дурак, что сражался! — кричит Панок, повизгивая и захлебываясь в закатистом кашле.

— А еще красный орден тебе хотели дать! — смеется Барбин.

— Хотели да не дали. Спецы перехватили! За что я сражался? За неп. Да кабы знатьё!

— Зря говоришь, Панок! Очкнись, — успокаивает его Митрич.

— Я-то очкнулся: дырявый весь, как решето. А толку что? Проторизовать надо было, а тут неп выдумали. Чертова выдумка! Не дадут нашей артели ренту. Хозяевам все возворотят. Вот посмотрите! Без залогу дыхнуть не дадут, а какой у нас залог? В немазанных сапогах на порог теперь не являйся. Когда надо кровь проливать, и нашему брату почет был. А теперь пришли спецы на готовенькое...

Панок разевает рот, хочет еще что-то сказать, но хватается за грудь, ловит захлебывающимся ртом воздух, машет рукой и убегает наклонкой вперед, как пьяный.

Смотрят мужики вслед, тихо переговариваются:

— Спортили человека на нет.

— Не жилец он.

— Эка изба-то у него ощерилась. Покрыть бы ему крышу артелью, — предлагает Митрич. — Давайте!

Артельники долго молчат. Наконец, прорывается одинокий голос:

— Чего он сам-то глядит?

Второй голос лениво возражает:

— А чего он сделает калеченный?

— А кто велел? Больше всех ему надобно?

— Дык, не сам же он крышу раскрыл: шабры скотине стравили в голодовку, пока он воевал.

Стоит Панкова бездворовая изба с ощеренными ребрастыми стропилами, будто руки сцепила над головой в безысходном отчаянии.

Подходит Давыша, правленский сторож, — он тоже артельник. Кричит издали:

— Митрич, ты наш отец, мы твои дети! Правда, что ли, слух идет, Архипов послал компальона в губерню об лесопилке ходайствовать?

— Откуда слыхал?

— Митрий Пузаков, старшина, будто баял. А вчерась своми глазами видал, как Пузаков пошел к Архипову.

Загудели артельники, как потревоженный рой:

— Ну, говори, прозевали!

— У них выгорит: аблаката наймут.

— А мало одного — двух...

— Эх, непа! Правильно Панково слово!

Митрич машет руками на мужиков:

— Да замолчите, слушать тошно!

— А чего же он, косой дьявол, не едет, кум-то твой? Велик телом, а мал делом.

— Ему горя мало...

— У него пасека...

— Он жалованье получает в Совете...

— Он и без артели проживет с хозяйством-то да со службой-то.

Кричит Митрич, упрашивает мужиков:

— Дай срок — приедет. Много ждали, немножко подождем. Ступайте по домам Христа ради!

Большой колокол зовет к обедне. Тянутся к церкви старухи, черные, с большими пологами — будто птицы трехногие со сломанными крыльями. Тянутся к церкви белые старики.

Молодежь валом валит в лес на гулянку.

А с конца села въезжает обоз Сергея Палыча.

— С праздничком, односумы!

Артельники вышли навстречу, глазам не верят: везет Палыч и железо в прутах, и железо в листах, и гвозди, и проволоку — и все, что для ремонта требуется.

Сами с Кусочковым пешком шагают о бок. Лошади в мыле. Остановился обоз посреди улицы.

— Куда спрастывать прикажете? — весело кричит Сергей Палыч.

— Валяй, айда к себе под сарай: у тебя двор лучше всех ухетован.

Проворно работают артельники, смешками перекидываются, клади ворочают непомерные. Даже Панок повеселел, суетится с легонькими вещами. Поскрипывает деревянный протез Давыши. Безрукий Барбин то и дело подставляет свою широкую спину:

— Наваливай, давай. Веселее, не бойсь! — сам смеется, Панка за полы хватает: — Тпру, погоди, какой ты быстрый. Не поспеешь за ним.

Артельники подхватывают шутку:

— Вот те и семь раз раненый!

— Да он Кащей бессмертный!

— А говорили: Панок — лодырь.

— Для кого лодырь, а для вашей артели в лепешку расшибусь, — хмуро отшучивается Панок.

— А ваша где артель?

— На гвозде! — обрывает злобно.

— Не трог его, Барбин, в момент расхрулится, — смеется Степан Кусочков.

— А сколько время, мужики, выгружали бы, если не свое, а, скажем, архиповское али оглоблинское? — подсмеивается Митрич, потирая руки.

— Ден пяток провандались бы, ежели восемь часов во дню.

— Много, мужики!

— Ну, пяток не пяток, а два бы дня промутузили. Ты как думаешь? Сколько здесь будет, по-твоему?

— И ничего бы нам не сделали. По декрету — работа.

— А тут шутя сбагрили.

— Своя жена — своя краса.

— Сё-таки здорово лодырничают рабочие в городу, мать их не замать! — выругался Барбин.

— Чего же не идешь в город? Давно там тебя дожидаются, — вскинулся Панок.

— От, репей! Прицепился. Ты уж путешествай за всех за нас!

Когда спростали, окружили Сергея Палыча с Кусочковым, задымили все враз, расселись поудобнее.

— Докладай!

— Поначалу страшно стало. Зашли в уездный совет — заплутались: дом трехъятажный, и сколько там комнат. Комнаты маленькие, везде загорожено, за загородками люди как в стойлах. А сами все в жилетках. Холодно стало от людей. Ни одного мужика не видать. Вон, думаем, куда наша Советская власть пошла! Кусочков домой запросился. Долго мы шествовали по комнатам, пока попали в главный кабинет. Тут как-то сразу стало нам легче дышать, тепло какое-то у него в кабинете, домашность. Не как вон у нашего лесничего: придешь к нему в канцелярию за лесом, не рад вырваться.

Митрич вздохнул:

— Эх, надо завтра с лесничим договор насчет лесу оформить. Напомнил ты мне, кум, не ко времени.

Насела на Митрича очередная забота, и про город плохо слушает. А кум Палыч, всегда такой малоразговорчивый, раскалякался, не уймешь; единственный глаз смеется и бегает по широкоскулому лицу — за двоих.

— Ну, сидит, брат, за столом сам председатель уисполкома: бородатый, волосатый, мужик да и только! В пиджачишке таком стрепанном. А к нему народ — все не нашинский. Слухаем, как разговаривает, стараемся приметить, чего любит в разговоре, чего нет. Видим, лишнего разговору не обожает, как только начнет какой про бабушку, он сейчас же:

— К секретарю! Следующий!

Секретарь тут же, молодой парнишка, как пиглица!

— Ну, а кто в дело, — слушает председатель утямисто, даже ухом наклонился. Долго слушает, все молчит. Опосля берет прошению, пишет чего-то и отдает без единого слова. Али черкнет чего-то в свою книжечку и скажет:

— Могу. Обсудим в президиуме. Известим вас, товарищ! До свиданья!

Одного слушал-слушал, говорит:

— Нельзя!

Тот на дыбки, как так нельзя? И начинает снова-сначала... Тогда председатель секретарю:

— Товарищ Иванов, объясните гражданину, почему нельзя, покажите распоряжение центра и постановление уисполкома. Следующий!

Обертаюсь к Степану, говорю:

— Вот это да! Попадешь к секретарю.

Степан мой совсем обмер, шепчет:

— Не миновать стать.

А председатель сердится:

— Следующий!

— А следующий-то — мы. Я, значит, ни слова не говоря, развертываю наше заявление насчет ренды и наше прошение об матерьяле.

— Слыхал про вашу артель, — говорит.

Так сказал, никак не поймешь — хорошо это али плохо, что он слыхал-то про нас? Прочитал от начала до конца.

— Садись, мужики! — говорит.

Сам развалился на стуле, смотрит на нас, смеется. Мы тоже смеемся — делать нечего.

— Потап Митрич Солонин у вас?

— Митрич, — говорю, — кум.

— И Алексей Панков?

— Панок, — говорю.

— Слыхал, — говорит, — о товарище Солонине, слыхал. А Панкова знаю, в одной дивизии были.

— Ну! А сам-то он кто? — встрепенулся Панок.

— Разве я не сказал? Березин его...

— Березин! Нашей непобедимой дивизии комиссар! У-у, этот парень на отличку, не чета теперешним разным спецам.

— Вот и он тоже: Панок, говорит, мужик хороший, только маненько это... как он сказал-то?.. Фу, дьявол... Как, Степан, сказал он?

— Сунгурный, что ли? Вроде этого. Панков, грит, хороший сунгурный мужик.

— Чего такое? Сами вы сумбуры! — вскочил Панок.

Барбин перебил:

— Чего! Известно чего. Правильно сказал: вроде ветер у тебя в голове али не все дома, вот и есть ты сунгурный.

— Дурак! — закашлялся Панок.

— А ты родом так!

— Будя вам злиться-то. Дальше рассказывай, Палыч!— зашумели артельники.

— Панок, да куда же ты? — бросился Митрич.

А тот позеленел, машет рукой:

— Я так... Не обращайте внимания...

И скрылся, хватаясь за горло.

Хмуро-хмуро посмотрел Митрич вслед Панку и прикрикнул на Барбина:

— Привяжи ты язык! Сколько раз тебе говорить? Что ты на Панка напал? Не видишь: не в себе человек.

— А чего он ерепенится? Была бы у меня рука жива, не хуже бы его на фронт пошел.

— Эка, сколько злости в вас! — махнул на него Митрич. — Ну, кум, что еще говорил Березин?

— Больше он, кум, не стал говорить. Взял рожок телефонный, кричит: 15, алла! Дайте мне справку: какие матерьялы есть у нас на складе и в каком количестве? Через минуту бежит этот самый алла такой лысенький, волосики со всех боков на плешину зачесаны, архалук на нем, хвостики назади болтаются. На нас — волком, к председателю — лисой.

— Пожалте, товарищ Березин, здесь полный рийестр.

— Не надобен ваш рийестр. Скажите, есть у нас на складе вот то-то?

— Никак нет, не значится.

— А есть вот это?

— Не значится.

Все спрашивает про такое, что нам для ремонту лесопилки... Выходит так, что ничего у них на складе нет, а если есть, то запродано, за кем-то числится.

— Ну, грит, железо хоть листовое есть?

— Може, грит, и есть, да по описи не значится.

Как вскочит тут товарищ Березин, как крикнет:

— Что ты, грит, голову мне морочишь! Ты-то, грит, сам значишься у меня на службе али не значишься? Ты, грит, мать твою, верную мне цифирь давай. А то у тебя толку не добьешься. Иди, грит, к такой-то матери.

Мы прямо деваться не знаем куда: хоть стой, хоть падай!

— Неужели так по матушке и бабахнул? — загоготал Барбин.

— Еще как! И ты не сумеешь.

— Положим, немного надо умения... — нахмурился Митрич.

— А чего с ним церемониться, раз врет на глазах?

— Откудова ты знаешь, врет? Он дело справляет, у него служба такая.

— Требовают с мелкой сошки.

— Опять начали покрикивать на нашего брата.

— С которого боку он тебе брат? Канцелярия!

— Все равно подневольный человек.

Мужики заспорили. Сергей Палыч перебивает:

— Да вы послушайте, что дальше-то было. Товарищ Березин нам и говорит когда тот выскочил: «Третьеводни был у меня хозяин вашей лесопилки Архипов, в аренду хочет взять лесопилку. Так он с этим фертом, который у меня был сейчас, все сватался и ко мне его раза два подсылал.»

— Ну?!

— Вот она где собака-то...

— Шайка-лейка...

— Тогда мало еще он его!

— Рожу бы растворожить сукину коту!

Взметнулась злоба на канцелярию до самой повети.

Долго не могли успокоиться артельники, не давали Сергею Палычу докончить.

— Ну, позвонил товарищ Березин заведующему складом, покалякал с ним мало-мало в рожок и нам говорит:

— Айдате, я сам с вами на склад поеду.

На месте и порешили. Три дня рылись на складу, весь склад перевернули. Матерьялу там — горы, только в такой неразберихе ногу сломишь.

Тут Степан Кусочков перебил Сергея Палыча:

— Хотел, было, я его на кривой объехать, товарища Березина-то. Когда подписывали условие, я и говорю, будто невдомек мне:

— Разве вы за деньги нам даете матерьял-то?

— А ты как думал, за здорово живешь?

— Чай, говорю, можно и так дать, вон сколько у вас на складу матерьялу валяется зря.

— Не зря, а в куче!

Мужики засмеялись:

— Так и сказал? Молодец!

— Утер он те нос-то, Степан Кузьмич!

Кусочков смеется:

— А все-таки грю, може, ваша милость будет?

Он как рассердится:

— Свое я, что ли, даю? И так навстречь иду: рассрочка на пять лет! Это не прежние года, не социальный сабес.

Похваливают мужики:

— Молоток, видать.

— Такого не скоро обманешь...

Хотя каждый из мужиков в душе думал:

«Что бы ему бесплатно-то дать, разорился бы, что ли?»

Зато над Степаном Кусочковым потешались вволю:

— А ты, оказывается, хитрый?

— Хитрее теленка, хотел взять руками, а отдать ногами.

— Эх, кабы цыгану тот ум наперед, что у тебя назаду, — весь бы свет обманул!

А Барбин хлопнул Степана по плечу и выпалил:

— Эх ты, сабес несчастный!

Как влилась кличка. С этого дня забыли имя, отчество и фамилию Степана Кузьмича Кусочкова. Пошел он в Каменке под новым прозвищем.

Стал он Сабес.

САБОТАЖ

Повеселели артельники: принялись топоры на черенья насаживать, пилы точить, разводы делать пошире. Повеселели нанятые слесари, получившие настоящий материал, а не ржавое железо, из которого приходилось им раньше выкраивать разные болты да скобы. Обещали слесари Митричу через три дня приступить к ремонту лесопилки и через три недели закончить ремонт.

Сам Митрич наутро поехал в лесничество. Дорогой думал про Березина:

«Чудеса! Сам на склад поехал. Самолично дело решил. Любят в городу на президиумы, на комиссии разные ссылаться, по каждому пустяку находишься. А этот, видать, не такой. Правдышный, видать, председатель».

Весело, легко стало Митричу, как за каменной стеной почувствовал себя, получив такую поддержку от города.

Лесничий расплылся в улыбке, даже привстал навстречу:

— Потапу Дмитриевичу, нашему красному кооператору! Как живем-можем?

— Спасибо. Помаленьку. Стар становлюсь, ноги носить отказываются.

— Да, по вашей работе — молодому не всякому справиться. Как артель ваша поживает?

— Как сказать? Помаленьку. Живем плохо, думаем, как бы лучше...

— Труднее это дело с таким народом, Потап Дмитриевич!

— Да, малопульный мы народ — это правда. Карман тощой. Вот и к вам, Леопольд Леопольдович, нащет этот приехал, с просьбицей. Дадите нам леску-то? Деляночки две-три покуда, на развод. Карту поближе к лесопилке бы...

Лесничий нахмурился, но заставил себя улыбнуться и сказал мягко:

— Рад бы душой, Потап Дмитриевич! Для вас особенно... Да вот не знаю, как быть. Вам в кредит ведь надо? Строгости пошли в нашем лесном ведомстве пуще прежнего, на днях новое распоряжение из центра получил...

— Как же быть-то? Я приехал в полной надежде: обещали вы.

— Так-то оно так. Но повременить придется... А вы уже сняли лесопилку-то?

— Форменно.

— А из губсовнархоза получено согласие?

«Что это антирес его берет?» — подумал Митрич. Не знал он того, что было известно Леопольду Леопольдовичу. И думы близко не было, что компаньон Архипова поехал в губсовнархоз с протестом против сдачи лесопилки артели.

— Правду сказать, не знаю досконально, как еще будет в губернии. Сказали наши ходоки, что уезд сам взялся это дело обладить.

— На что лучше! — сказал лесничий по-мужичьи и тонко усмехнулся.

— Мы уж к ремонту думаем приступить, мастеров подрядили, — продолжал Митрич. — Надо бы и лес загодя заготавливать. Вы уж не отказывайте нам, Леопольд Леопольдович! Сами знаете, у нас три деньги в день, куда хочешь, туда и день.

Лесничий — сухо и строго:

— Не могу. Распоряжение есть, никому ни сучка в кредит не отпускать.

— Ведь вы нас без ножа режете!

— Что вы, Потап Дмитриевич! Да если бы от меня зависело! Я сам человек подневольный, должен подчиняться служебной дисциплине. Приказ Советской власти для меня — святыня.

А сам опять приветливо улыбается. Видит Митрич, дело пропащее. Покраснел весь, пятнами лицо пошло. Встал.

— Тогда прощения просим.

— До свидания!

— Скажу вам, гражданин лесничий: бюрократизма.

— Одно вам могу посоветовать, обратитесь непосредственно в центр.

— Да сколько же это время пройдет. Подумайте, опять ехать? До зимы, гляди! А мы через три недели хотели завод пустить.

— Да, у нас не торопятся, — развел руками лесничий.

Сердитый мчится Митрич в Каменку, стегает лошадь под причинные места, чего сроду с ним не было.

А под окном Митричевой избы стучится Степановна, мать Санька:

— Кум Митрич дома?

Не отвечают Степановне. Она заглядывает в избу. В переднем углу на лавке веточка сухая покачивается на ветру — желтая, тоненькая старушья рука.

«Зовет, похоже? Говорить-то силы, вишь, нет», — подумала Степановна и вошла в избу. Тяжелый смердящий дух ударил в голову, отшатнуло к порогу. А сухая веточка руки чаще закачалась. Подошла. Лежит тетка Варвара восковая вся, глаза из-под стянутого черепа — как потухающие угли.

— Плохо, кума? — наклонилась над больной.

— Умираю. Бросили. Проведать никто не придет. Скорее бы...

— Эх, кумынька! Жизнь-то больно самашедшая. Скружилась я с ребятами. Лба перекрестить некогда. Прости ты меня, грешную, кумынька...

— Не об тебе я...

Сухонькая ручка упала на руку Степановны и гладит:

— Как ребятишки-то? Все живы?

— Живы. Хоть бы померли половина, все бы, може, легче. Не прибирает царица небесная, на картошке сидят, а толстеют день ото дня.

— А по дому как?

— Все слава богу. Вот письмо нынче получила, сердце с места стронулось: не от Санька ли, сыночка? Я уж его в поминанье давно записала за упокой без вести пропавшего. Грех-то какой, кумынька! Не знаю, плакать ли, радоваться? Чует мое сердечушко. Где кум Митрич-то?

Качнулась веточка сердито, как от налетевшего крутого ветерка.

— А Нюрка-то у вас где? Она бы мне прочитала.

Еще раз качнулась веточка — сердитее.

— Консамол, провалиться бы. Редко ночует дома-то...

— Ах, грех-то какой! Кто же мне письмо прочитает теперь?

— Може, придет скоро. Нюрка-то...

— Ждать-то как: одних оставила. Бежать надо, кумынька!

— Не уходи! — глаза у тетки Варвары в ужасе расширились, сухонькая ручка цепко схватилась за Степановнину руку. — Посиди со мной в остатнее.

— Уж и не знай, что думать, кумынька! И что за письмо? И отколь оно?.. — заплакала Степановна.

Катается по лавке ощеренная голова умирающей тетки Варвары, посиневшие губы шепчут строго:

— Не плачь, все помрем. Не гневи владычину. Божье тепло, божье холодно... — голова скатилась с лавки, к полу свесилась на мягкой шее, вот-вот оборвется. Степановна поправила голову, взглянула в глаза умирающей и закрестилась: так стало страшно. Тетка Варвара застонала, пробуя повернуться — открылись черные смердящие пролежи; смертный дух пошел по комнате.

— Подсоби, поверни меня к свету...

Придерживает Степановна куму Варвару, а в окно видит: идет от лесу руководительница детского сада Клавдия Михайловна Оглоблина. Распахнула окно.

— Господь тебя посылает мне, Клавдия Михайловна! Иди сюда, Христа радички.

Клавдия Михайловна молодая, загорелая, стройная, с букетом полевых цветов, со стаей ребятишек подходит к избе.

— В избу не входи; дух здесь больно чижолый, кума преставляется. На, прочти-ка мне пожалуйста! — подала она письмо через окно.

— Знаю, знаю: это Санек прислал? — лезет в окно младший четырехлетний сынишка Степановны.

— Молчи ты, пащенок! Вы его хорошенько секите, Клавдия Михайловна. От рук отбивается, такой озорь! Весь в старшего брата, покойника, пошел, — громко зарыдала Степановна.

— Перестаньте, Степановна! Может быть, впрямь от вашего старшего сына? — проговорила Клавдия, поспешно разрывая конверт. — Ну, так и есть! «Дорогая старая мама моя! Жив я, твой непутевый старший сын Санек...»

Степановна стихла, захлебнувшись от нахлынувших слез. Слезы сами собой текут по дряблым щекам, капают на подоконник из недоуменно-радостных, широко открывшихся глаз. Клавдии Михайловны тоже стало радостно и захотелось вот также плакать (как прилипчивы слезы и радость материнские!).

— Вчела плиедет! Вчела плиедет! — закричал Степановнин сынишка. — А к вам не плиедет, что! — дразнит он остальных ребят.

— Ребята, идите в детский сад, играйте там в снежки. Я сейчас приду.

Ребятишки покатились тугим клубком, сгрудившись вокруг Степановнина мальчика, а Клавдия читала:

«Рассказывать о себе будет очень долго, да и не все ты, мама, поймешь. Из тюрьмы я бежал тогда, и уже на воле сам читал в эсеровских газетах о том, что они меня расстреляли. В Москве я. Учусь на рабфаке».

Тетка Варвара как-то по-мышиному пискнула, словно ветром ее перевернуло на спину.

«Может быть, скоро приеду, расскажу все по порядку. Поклон Митричу, если он жив. Вместе с ним напишите мне письмо: что и как? Напишите про всю Каменку и отдельно про Панка, Кусочкова и Сергея Палыча, если они живы. Обязательно пропишите, где лесничев Стасик, что он делает после белогвардейщины? Как настроена ярая эсерка Клавдия Михайловна Оглоблина и вся каменская интингенция, как называл их Панок. Прекратили они саботаж или еще пыжатся. Целую. Все».

Степановна вся высунулась в окно, по щекам ее все еще текли слезы.

Клавдия Михайловна, побагровевшая донельзя, застыла с письмом, не замечая протянутой Степановниной руки.

— Ты не обижайся, Клавдия Михайловна, на нас, что он тут про тебя написал. Он у меня завсегда был дурной.

— Нет, Степановна, сын у вас хороший; — овладела собой Клавдия. — Он правду сказал. Напишите ему, что ярая эсерка стала другим человеком. Напишите, что рассказывать об этом тоже долго и не все он поймет! — внезапно рассмеялась она немножко громче того, чем хотелось. — Передайте обязательно, что я это его письмо читала! — и также внезапно убежала.

Навстречу ей — Митрич.

— Куда торопишься, Клавдия Михайловна? А где детишки твои, в лесу растеряла, что ли? — Клавдия молча побежала, закрыв лицо шарфом. — Цвяты-то, пукет уронила! Что с ней попричилось?

На пороге избы Митрич столкнулся со Степановной.

— Кум! Кума Варвара преставилась.

Митрич будто о притолоку стукнулся, откинулся назад и сел на порог. Сказал зачем-то:

— Посижу маненько, больно устал я, кума! Садися.

— Лоб перекрестил бы хоть: смерть в дому.

— Садися, кума!

— Некогда мне. И так уж час целый жду тебя: от Санька письмо получила, приехать сулится.

Митрич встал, подошел к усопшей, поцеловал ее в губы и стал читать письмо.

— Вот хорошо. Вечером ответ дадим. А сейчас поси-

ди, кума, еще маненько, к Сергей Палычу на минутку сбегаю. Дело есть артельное.

— Ладно. Обмывать ведь надо. Да позвать келейницу читать над покойницей.

— Делай, как знаешь, ку-у-у... — голос орвался, и зарыдал Митрич по-стариковски, ноги задрожали и подкосились; он опустился на колени, поклонился жене до земли: — Прощай, Варварушка!..

В поповском доме, где помещается детский сад, детишки окружили Клавдию Михайловну:

— Не плаць. Тетя Клавдя, не плаць!

Из глаз Клавдии льются самовольные слезы, как у Степановны.

Она смотрит на встревоженных детей и старается улыбнуться.

— У меня глаза болят, глупышки!

* * *

Митрич трясется от волнения:

— Был я у лесничего, только что от него. Не дают нам лесу. Просил, умаливал, да с тем и уехал. Вот и старайся тут, строй. Везде тебе помощь дают, а в одном каком месте напорешься и — хоть бросай все!

Сергей Палыч успокаивает старика:

— Не расстраивайся, кум! Тут дело не чисто: куплен лесничий. Это архиповская линия. Чую я...

— Кабы они у нас лесопилку не оттягали, — говорит Кусочков.

— Саботаж! Фактически! Горлу рвать! — кричит Панок.

Долго обсуждали артельники, спорили до хрипоты. Чего, чего только не было переговорено: проклинали спецов, проклинали нэп, проклинали друг друга, проклинали Митрича, что втянул их, дураков, в артель эту самую.

— Собрались, галахи несчастные! Денежка не бог, а поболе...

— Не силен — не борись, не умен — не берись.

— Э-эх, кооператели!

Устали от ругани, сидят, свесив головы. Кажется мужикам, что они уже тонут.

— Повестить товарища Березина! — вскакивает, наконец, Панок.

— Телеграмм подать, — поддерживает и Барбин.

Наутро телеграмма ответная:

Выезжаю лично Березин.

И другая телеграмма в волисполком из губсовнархоза:

Сдачу лесопилки аренду большекаменской кооперартели приостановить.

Начальник почтового отделения нарочным дал знать лесничему о получении обеих телеграмм. К вечеру съехались у лесничего: Архипов, Оглоблин, Пузанков, начальник почты и еще кое-кто. Именины объявились у Леопольда Леопольдовича неожиданно. Только доктора Алексея Ивановича Щучкина да Клавдии Михайловны здесь не было. Давняя дружба лесничего с доктором пошла врозь после того, как доктор стал читать мужикам лекции о предохранении от трахомы, участвовать в культурно-просветительной работе вместе с учительницей Тихоновой и разыгрывать попов на сцене нардома. О Клавдии Михайловне нечего и говорить: где отец Михайла, там нет дочери, где Клавдия — там нет отца. Клавдия — в детском саду, сама организовала, добровольно руководит без копеечки жалования; Михайла в лавке-бакалейке, которую открыл после нэпа.

Весело прошли нежданные именины. Давно такого вечера в казенном доме лесничества не было. Самогон, конечно, не коньяк шустовский, но речи от него такие же развязно-веселые, поздравления Архипову такие же щедрые. И так же разошлись натура большекаменского самородка.

— Кто шире меня плюнет? Ляпольдыч! Не родился такой человек в Каменке, кто с Архиповым сладит. Думали со свету сжить Архипова? Не удастца! Кишками не вышли. Ляпольдыч! Правильные твои слова: смена вех! Лесничий скажет, Архипов сделает. Лесопилка! Была и будет! И — ни гу-гу... Почеломкаемся! — и Архипов обнимал лесничего.

Только Пузанков, однажды уже случайно пострадавший, все время оглядывался на дверь и шептал лесничему на ухо:

— Смотри, Ляпольдыч! Кабы не узнали. Дай лесу артели ихней, отведи глаза.

— Спрыснем! Только, чур, с уговором: пить всем до беспредела. Одно мое слово: до бес-пре-дела! Михайла, чего не пьешь? Чего молчишь, мордовский лапоть! Не хотел со мной торговать, на паях? Ну, черт с тобой! Хошь со мной в компанию на лесопилку? Не хочешь? Ну, черт с тобой! Ляпольдыч, друг ученый! Ты один могешь меня понимать. А все эти... пришей-пристебай. Обойдемся без них. Правильно говорю? — ни гу-гу! — Архипов снова лез целоваться.

Леопольд Леопольдович старался усадить Архипова на стул:

— Успокойся, Архипыч! Тише, не прежнее время. Тише кричи, стены с ушами стали.

Поздней ночью разъезжались гости, поздней ночью получил Митрич записку от лесничего:

«Уважаемый Потап Дмитриевич! Приезжайте завтра утром в лесничество относительно сдачи леса вашей артели. Возможно, столкуемся».

Утром же приехал на автомобиле Березин.

Сбежалась вся артель. Показывают товарищу Березину телеграмму из губсовнархоза, показывают записку лесничего, Митрич рассказывает свой вчерашний разговор в лесничестве.

— Мугу... Мугу! — будто слушает и будто не слушает товарищ Березин, потом резко оборачивается к мужикам: — Перетрухнули? Больно страшливы, мужики: первой смерти испугались, — обводит всех насмешливым взглядом; заметив Панка, крепко здоровается с ним, обнимает и усаживает рядом: — Ты, Панков, морду собирался бить лесничему, говорят? Военный коммунизм вспомнил? Нет, брат, это дело теперь не годится. Теперь надо потоньше: не знаешь, с какой стороны заходит враг и какие у него резервы. — Панок сердито закашлялся. — Э, брат, совсем ты дохлый стал. С того, что ли, как под Уфой тебя кокнули? — смеется Березин, похлопывая Панка по загорбку, будто выбивая проглоченную косточку.— Ничего, мужики! Обойдется. Страшно, да не боязно. Мы в уезде тоже получили такую телеграмму. Придется много бумаги извести. А вы, мой совет по секрету, тем временем чините-ка лесопилку да начинайте работать. А теперь давай мы с тобой, Потап Митрич, поедем к вашему лесничему, посмотрю я на него.

Окруженный мужиками товарищ Березин вышел из избы; он в легкой поддевке, в голых сапогах, на голове порыжелый кожаный картуз. Подсадил Митрича в автомобиль рядом с шофером — полетела грязь по улице во все стороны. Мальчишки за автомобилем — вперегонки с собаками. Бабы с подоткнутыми подолами появились у изб:

— Покатили наши председатели, — провожают одни.

— Шлендают, бездельники! — напутствуют другие.

В лесничестве дело обернулось в два счета. Товарищ Березин обратился к лесничему с просьбой отпустить здешней артели в кредит десяток делянок лесу.

— По инструкции я не имею права отпускать лес в кредит, но если вы просите официально...

— Оставим на время официальности. Я прошу вас потому, что уезд наш в этой лесопилке нуждается; мы строим новый рабочий поселок при заводе, спешно нужны пиломатериалы. Как раз мне это дело поручено.

— Пожалуйста, пожалуйста... Тем более, что я и сам хотел прийти им на помощь: для этого и вызвал на сегодня Потапа Дмитриевича. Кооперативной артели, я думаю, можно отпустить в виде исключения, принимая во внимание наметившуюся линию по отношению к производственной кооперации...

— Вы, оказывается, в курсе советской политики.

— О, да! — воскликнул польщенный Леопольд Леопольдович.

Написали бумаги, какие для оформления дела полагается. Подписали. Припечатали. Товарищ Березин еще раз поблагодарил лесничего, а потом и говорит:

— Новость хочу сообщить вам, гражданин Бржезовский!

— Пожалуйста.

— У вас, оказывается, сынок в нашем уезде проживает, Станислав Леопольдович. Тоже лесным делом занимается?

Лесничий побледнел, руками за стол схватился:

— Нет, нет. Мне ничего неизвестно. Откуда вы?..

— Земля слухом полнится.

— А где же мой... вы говорите?

— Об этом надо не меня спрашивать, другие есть советские органы...

Уезжал товарищ Березин, — всей артелью за гуменники провожали.

Повеселели артельники, снова принялись топоры на черенья насаживать, пилы точить, разводы делать пошире. Дружно взялись за ремонт слесаря, столяры и плотники. Через три недели вскрикнула ожившая лесопилка, заскрипела ржавыми костями. Руби золотые сосны, мужики! Подвози золотые бревна. Слушай, Митрич, как пилы с высокой запевкой повизгивают!

Передохнуть бы не мешало Митричу, да некогда. Подсчитывает Митрич рабочие дни, очередь на работу устанавливает: кому сосны рубить, кому бревна возить, кому тес носить, в штабеля тес укладывать.

МОБИЛИЗОВАННЫЙ

Изба у Софрона споткнулась на передние лапы: тощий ободранный зад к небу вздернулся, а перед в землю увяз. Скособочилась изба, смотрит исподлобья двумя гноящимися окошками на новый пятистенник Ивана Гнусавого. С трех сторон изба заросла лебедой да крапивой, а с улицы — гладко выбитая площадка перед завалинкой. Завалинка широкая, как лежанка, и высокая, чуть не до наличников. Завалинку Софрон на лето не разваливает, утрамбовалась земля, словно ток. Да и зачем Софрону за-

валинку разваливать, если летом-то она особенно нужна ему? Начнет солнце с весны пригревать, сядет Софрон Иванович на завалинку, полузакроет глаза — и поплывут перед ним разные теплые видения.

Лошади у Софрона нет, за коровой ходит жена. Бабе своей Софрон Иванович дал полную волю: смотри за всем хозяйством. Сам в работу не вмешивается. В избу войдет, когда смеркнется, — на печь дорога прямая. Грязи в избе — сор на мусоре. Зато печка блестит, ни соринки, Софрон Иванович задницей вылощил за зиму.

После эсерства своего и после членства в волостном земстве Софрон Иванович в бегах находился года два. Прошлой осенью вернулся из Сибири, но никак к хозяйству не приспособится. Стал Софрон Иванович вроде как беспартийный философ. В церковь начал наведываться.

Жена не стерпит иногда и скажет:

— Поработал бы, жрать ведь нечего. Одна-одинешенька. Измучилась. Что я, двужильная?

— Работа. Какая теперь без лошади работа. Без лошади теперь не работа. Разве это работа, когда надо палкой землю ковырять? Ты вот работаешь? А что ты наработала? Ну-ка, скажи! — Софрон Иванович даже голову свесит с печки и так, не торопясь, раздумчиво и трогательно говорит, за сердце его голос щиплет: — Как есть мы бурьян, так и останемся. Сказано: имущему дается, а у неимущего... Вот мы с тобой и есть неимущие, по-теперешнему вроде безработные.

— Это ты безработный, а мне работы хватает, — плачет жена.

— Аха-ха... — позевнет Софрон Иванович. — Хватает, мила моя, всем хватает. А не хватит, так останется. — И начнет жалостливые слова говорить и позевывать. Словно заворожит жену, таково грустно ей станет, зальется в слезах, как в половодье реченька. Опомнится, плюнет, закричит на печку:

— Слезь, пойди хоть травки свеженькой нарви Бурешке-то. Корова на соломе ржаной, а в стаде, знаешь, чай, — одна толока. Совсем молока не стало.

— Да, выгорело поле, не бай. А того пуще — вытоптали.. Больно велико общество наше: на выселки надо, на выселки. Говорил ведь я на собрании...

— Да иди, с места стронься! Разгуляйся немножко, мослы, чай болят.

— Ой, Наденька, надо бы пойти: убрать бы корову-то надо. Да что-то брюхо у меня схватило, разогнуться не могу. Полежу малость брюхом на горячем поду, авось, отойдет. Ой, резь какая! Ой, ой, прямо под ложечкой. А... а... а... — стонет Софрон Иванович до того жалобно — душа переворачивается. Испугается жена, на приступок станет, спрашивает участливо:

— Что с тобой, Софронушко! На-ка вот настою выпей полынного. О господи, господи! Кормилец ты мой.

— Ох, не надо, старуха, ничего не надо. Пойду посижу на завалинке, може, пройдет на легком воздухе.

— Иди, иди, Софронушко!

Садится Софрон Иванович на завалинку, дремлет, закрывши глаза, мечтает. Жена боится беспокоить: не дай бог, опять брюхом схватит.

Смотрят мужики в окна, если праздничный день, и как завидят Софрона, тянутся к нему на привычную завалинку. Общественный человек Софрон Иванович: завалинка его — вроде клуб.

Петров день. Солнышко. С утра сидит Софрон Иванович на завалинке, вздремнуть успел, а нет никого из мужиков. Если и появится какой, мимо спешит.

— Ты что же, Софрон Иванович, на собрание-то? — спросил Иван Гнусавый, выходя из калитки.

— Чтой-то ноги болят: чижало, видать, поднял вчера.

— Пересидел ты их, поди. Айда на митинг. Приехал из самой Москвы коммунист к нам жить, избу какую-то особенную хочет ставить.

— Некогда, брат! Сам знаешь, без лошади — какой парагр?

— Да, без лошади, что говорить, лошадь мужику — крылья.

— Не говори. Прямо — зарез: вертишься, вертишься, а все без толку.

— Ну, коль, погоди... — молодо спрыгнул Софрон Иванович с завалинки, но дырявый валенок за завалишный кол зацепил не вытащишь, того гляди совсем на колу останется.

Ждал его, ждал сосед, крикнул:

— Ну, ты подойдешь. А я побегу.

Снова сел Софрон Иванович на завалинку, снова заводит разговоры, останавливая проходящих по улице.

Смеркалось. От площади, где сборня, потек глухой гул голосов.

— Ишь ведь, собрались. Пойти разве: что за ферт заявился? Или уж отдохнуть в избе?..

Все-таки сполз Софрон Иванович с завалинки, не спеша ковыляет к площади.

Сборная изба стоит посреди площади. Толпа растет вкруг сборни, сдвигается шапкой, словно рой пчелиный вкруг матки. Подходят все новые.

— Что здесь, караульщика нанимают бахчевного?

— Сколько ставит кренделей?

— Как делят, постатейно али поулично? Крендели-то?

— Да нет же, вам говорят, коммунист из Москвы приехал избу какую-то ставить.

— Ну?

— Прошу полной тишины! — послышался голос Панка, голос скриплый, но властный по-прежнему. — Граждане-односельцы, к нам приехал из Москвы мобилизованный товарищ Писканов. Внимание и прекратите галдеж: товарищ довольно даже щадушный и имеет от дороги инфлюенц. Ваше слово, дорогой товарищ!

— Товарищи рабочие и товарищи крестьяне! Я у вас в деревне как первая ласточка, — запищал новоприбывший голосом маленьким, но звонко натренированным.

— Где он рабочих-то видит здеся?

— Молчи ты! Спит и видит. Слушай, раз говорят.

— Я первый изъявил добровольное желание поехать в деревню. Партия мобилизует в деревню людей опытных и знающих ваш темный первобытный быт. Хоть я, как исключение, абсолютно незнаком с деревней, где центральной фигурой является середняк, все же я добровольно решился послужить народу. И поэтому я, можно сказать, появляюсь у вас как первая ласточка...

— Аропланщик, наверно?

— Шшш...

— Я приехал к вам, чтобы пожить в самой гуще деревни, перевариться в вашем земляном котле. Я поставлю у вас в волости культурно-просветительную работу, организую в вашем селе Большой Каменке избу-читальню.

— Ну, вот, видишь, говорил — будет избу ставить.

— Поди, и лесу дадут бесплатно?

— Держи карман шире! Что он, погорелец?

— А може, и погорелец, откуда знать!

— Что это он на котел намекнул? Не пойти ли спрятать парат от греха. Самогон у меня варится — ух, самогон!

— Шшш...

Новоприбывший не знал, как надо говорить с мужиками. Ведь надо как-то по-особенному, по-простонародному, чтобы сразу стать на равную ногу, завоевать их доверие. Но как это сделать? И почему они лузгают семечки, смеются и перебрасываются странными репликами? В стремлении опроститься, быть понятным и доходчивым оратор все больше путался и вскоре понял, что он с самого начала взял неправильный тон. Он говорил и вместе слушал себя со стороны и чувствовал, как все это неестественно, неправдоподобно звучит в его ушах. Вся тщательно приготовленная речь, все простонародные словечки, вычитанные из книг, все шуточки-прибауточки, нарочно заученные для доклада, — все это показалось страшно нелепым перед лицом этих сотен живых неизвестных и непонятных ему людей деревни, совсем непохожих на тех, какими он их представлял. Стало неловко за то, что он наговорил, особенно за «первую ласточку». А ведь как красиво это звучало, когда он перед зеркалом репетировал свою первую речь, которую он скажет в деревне!..

Оратор внезапно взволновался и замолк: все содержание его речи, несмотря на имевшийся конспект, вылетело из головы. Стало жутко. И почему, каким образом он очутился здесь? О чем и как он будет говорить теперь перед этими людьми? Чтобы совсем не растеряться, чтобы скорее собраться с мыслями и найти нужные слова, оратор мысленно перекинулся в знакомую городскую обстановку. Что там? Когда он уезжал из Москвы, там проводилась неделя МОПРа. Вспомнил и обрадовался. Начал говорить о том, как пролетарии страдали в прошлом, как они сейчас страдают и борются в капиталистических странах: устраивают восстания, объявляют забастовки, несмотря на безработицу и тюрьмы. Разговорился и вскоре сам увлекся своей речью, уже не обращая внимания на форму выражения, забывши, перед кем он говорит. Сначала он говорил прозой, потом перешел на стихи:

Страдали долго, страдать не будем...

— Ну, я пойду лошади замешу.

— А как же про постройку, антиресно, чего он задумал?

— Я еще приду к тому времю, когда он до дела дойдет.

— Ну? Успеешь?

— Еще бы не успеть! У него завод долгий.

— Тогда и я на гумно съезжу...

Стихов оратор знал много, читал их с пафосом, с особым завыванием, увлекаясь и переживая. Когда он вновь опомнился, то обиделся уже не на себя, а на мужиков, которые не слушают такие прекрасные стихи. Он снова перешел на прозу. Долго говорил о международной солидарности, вскользь упомянул о жизни на Марсе, особенно не останавливался на этом вопросе, потому что это — тема его отдельного доклада в ближайшие дни.

Вместо резолюции оратор предложил собранию с завтрашнего же дня объявить в Большой Каменке неделю МОПРа, по примеру той, которая проводилась в Москве.

— Товарищи! Я полагаю: возражений против моего предложения не будет? Считается принятым.

Площадь молчала, раскрыв коллективный усатый и бородатый рот.

— Оно, конешно. Може, все это и так. Ты прилетел, как первая ласточка, это нам понятно; так сказать, с неба свалился. Мы очень даже это чувствуем...

— Вы, товарищ, хотите высказаться? По докладу или по поводу моего предложения? Оно уже проголосовано и принято. После голосования обычно...

— Пускай говорит! — заорал кто-то сзади.

— Ну, если собрание хочет, то дайте ему слово, товарищ председатель! — повернувшись к председателю, испуганно сказал оратор.

Но председателя не было: у Панка пошла горлом кровь, и он незаметно ушел с собрания. Новоприбывшему это показалось подозрительным, он насторожился и взял председательство на себя:

— Значит, вы просите слова? Как ваша фамилия?

— Вот еще! Это Софрон Иваныч, кто его не знает?! — послышался тот же громкий и сердитый голос.

— Так вот. Вы, конешно, очень важностные лица. И ты, видать, искусственный комиссар. Но ты меня не перебивай: уж тебя-то мы во-о как слушали! Что ты хочешь строиться и пожить у нас, тут ничего плохого нет. Стройся в свое полное удовольствие, если тебе лесничий бору даст. Нам он, сучий сын, без денег не дает. Прижать норовит пуще прежнего: с лыками не попадайся! Ежели тебе земля надобна, то как наша земельная комиссия взглянет: это теперь ее дело. Наделит землей — получай, земля трудящим, а также все угодии. А вот насчет руки помощи борцам — у меня тут такой парагр. Оно, конешно, мы тоже как есть без работы, скажем, я без лошади, с одной бабой и ребятишками. Мы, как есть, выходит, несусветный пролетариат. Но, промежду прочим, забастовки мы не делаем. Забастовки — это совсем никудышное дело. Это только лодыри могут забастовничать. Больно тебе быть без работы, хотя бы и за границей. А ты наймись и работай — вот и не надо руки помощи. Ну, хорошо, ты говоришь: да здравствует — ура! А, по-моему, выходит: лодырь лодыря проздравляет. Вот мой парагр!

Стоустый мужичий крепкий хохот покрыл последние слова Софрона Ивановича.

— Товарищи! — закричал новоприбывший, взбираясь на стол. — Товарищи, мы эти штучки знаем. Не поддавайтесь кулацкой провокации! Кулаки хотят поймать вас на удочку. Этот явный контрреволюционер с наглостью, достойной лучшего применения, выходит сюда на эстраду и, чувствуя себя как дома...

— Что ты наделал? От безделья, что ли, тебя нечистый

надирает? Старинку вспомнил? — жена тащила Софрона Ивановича из круга за рукав, тот не упирался: растерянный, робко оглядываясь, он нырял в толпе за женой.

— Таких подрывателей надо на месте расстреливать!— крикнул новоприбывший, впадая в истерику.

Мужики в гвалте, махая руками, поспешно расходились.

Не такой встречи ожидал товарищ Писканов в деревне. Ехал. Летел, можно сказать! Добровольно! Первая ласточка! К горлу его подкатил тугой ком, он умолк и разрыдался. Чувствуя провал своей работы в деревне, видя такую черную неблагодарность мужиков, не в силах остановить ни этих людей, ни своих внезапно прорвавшихся рыданий, товарищ Писканов мысленно все больше разжалобливал себя и дошел, наконец, до настоящего нервного припадка: начал голосить и выкрикивать по-кликушечьи.

Митрич, проезжая с лесопилки, увидел картину бегства мужиков с площади, как при пожаре.

Растолкав ребятишек, Митрич увидел незнакомого человека, бьющегося под столом. Ребятишки снова сдвинулись, как вода: с недоуменным любопытством они смотрели на большого неутешно и громко рыдающего дяденьку.

— Дядя Митрич, чего это он — как рыба на крючке?

— Ого-го, глубоко, видать, заглотнула!

— Да разойдитесь, вам говорят! Эка невидаль! Не лезьте, он задыхается.

Митрич грозно поднял батог и уже батогом разогнал любопытных. Оратора увели на сборню. Площадь опустела.

У общественной чайной молодые мужики и парни обсуждают событие, слышится громкий хохот:

— Двое дураков сходились, да оба ни к черту не годились!

Митрич по-отечески утешил приезжего, свел к себе, напоил чаем. Товарищ Писканов вскоре отудобел и разоткровенничался. Всю автобиографию Митричу изложил: отец его был хорошим музыкантом, но спился и умер в лечебнице; а он сам — очень увлекающаяся натура, увлекся РКП(б), в кандидаты записался, при мобилизации в деревню первым вызвался добровольно потому, что в ячейке его несправедливо заедали и считали мелким буржуа. Он никогда не был в деревне, только выезжал на дачу в Кунцево; он не знает, как говорить с мужиками, и — положился на свое вдохновение. А теперь он убедился, что в деревне работать очень трудно; он не сумел завоевать доверия, и его не поняли: бедняки и батраки на митинге отсутствовали, середняки молчали, а кулаки намеренно сорвали митинг. А он очень нервный, у него гипертония с психостеническими реакциями, лечился гидротерапией и

статдуш принимал в Москве. Как здесь с лечением быть— он не знает.

К ночи товарищ Писканов совсем успокоился и даже начал ухаживать за дочкой Митрича, Нюркой-комсомолкой. Нюра не знала, куда глаза девать. Тогда Митрич взял товарища Писканова под руки, отвел в кладовку и там уложил спать на своей постели. А утром с нарочным послал в город записку:

«Христа ради уберите из Большой Каменки мобилизованного, эту пустую балалайку. Толку нет».

МАХАЙ ВЕСЕЛИТСЯ

Бушует Пашкина изба — вечерка.

Дрожат стены, ходуном — половицы: девишник.

Огонек мигает издалека, манит к дому Баяновых.

Махай со своими — тут. С девками веселый такой да ласковый. Лестна девкам ласка Махая: не побьет.

Махай приказывает Алешке Горшку играть «русского». Старается Алешка, сам хитро улыбается и парням то и дело подмигивает.

Кольцом по лавкам заплелась молодежь. Нет места на лавках — так у девок на коленях мягко.

А в средине опять они двое. Плывут-ныряют: ходят по горнице.

Пашка плывет, Махай мелким бесом рассыпается.

Пашка ботиночком чуть пола касается, Махай сапогом хочет пол продавить.

Пашка платочком белым помахивает, Махай вприсядку идет, ноги капусту рубят, кудри места не найдут.

Пашка кричит:

— Будя, пусти, бессовестный!

Махай облапил ее, целует взасос и не хочет перестать.

— Ой, больно, измял все!

— А ты хош по горнице ходить да не мятой быть? — гогочет Махай и больно щиплет Пашку.

— Ты с ума сошел?

— Ты свела!

Хохочут парни. Одобряют:

— Так ее, Махай, не сахарная.

Пляшет Махай на потеху друзей.

Я на печке молотил,
На загнетке веял,
А кому какое дело,
Что я с милкой делал!

Кричит Махай:

— Ай, бугай! Горшок, жарь чащей.

Алешка и язык высунул, низко к ладам пригнулся — сросся с гармонью, колокольчики захлебываются.

А што ш не плясать,
Чаво ш мне не топнуть,
Неужели в этом доме
Перерубы лопнут...

Устал Махай, дряпнулся на колени к Пашке.

— Убирайся, злыда, играть не умеешь.

— Пошутил, чай, дура. Люблю!

— Пошел ты с любовью такой.

— Эк ты с норвом. Ну, не буду больше. Хошь, поцалую?

— Страсть как хочу!

Пашка отбивается, Махай улещает.

— Пашк? А Пашк?

— Чего еще?

— Идем выйдем.

— Нашто?

— Дело есть. Поговорить с тобой надобно.

— Говори тут.

— Боишься? — исподлобья уставился Махай.

Пашка гордо вскинула голову:

— Забоялась одного эдакого!

Уходить неудобно: девки доймут смешками, а парни проходу не дадут. Да больно задел ее Махай насмешкой своей...

Взглянула на него прямо, сшиблись взгляды — Махай не выдержал, спрятал глаза:

— Слово сказать хочу.

Встала Пашка, выпрямилась, покраснела вся, но заставила себя улыбнуться: широкие снежные зубы блеснули на всю избу.

Недоброе чуяла, но пошла.

— Пашка, не дождалась и конца вечерки. Уходишь с миленьким-то?

Девушка бросила через плечо:

— А вам забота?

— Нам што?.. Ваш воз, вам и везти.

— Замолчь, кто хочет целым быть! — сверкнул Махай белками, обнял Пашку и подмигнул своим.

— Он ей покажет Ваньку-комсомольца! — Захохотал Горшок и еще шире растянул гармошку. Закружилась кадрель. Низкая изба до отказа наполнилась звуками. Бьются под потолком забубенные мотивы:

Чух, чух, чубарах.
Я не поп, не монах...

— Хи-ихи, — смеются девки.

Хоп, хоп, хопки,
Прогулял портки...

— Хо-хо! — гогочут парни.

А снаружи изба мальчишками, девчонками облеплена. На окнах — кисти.

В облаке пара вышли Махай с Пашкой.

Мальчишки вслед им:

— Пашка, смотри! Скажем отцу, когда приедет.

— Бог на помощь вам тама...

От гуменников тянет прелой прошлогодней соломой. От леса пахучей прохладой тянет. Ночь тихая, густая — июньская.

— Ты с кем гуляла вчера? — ребром поставил вопрос Махай.

— С Ваней сухолинским прошлась. О комсомоле разговаривали.

— Айда, брось представляться!

— Ну, не веришь, не жалко, — спокойно ответила Пашка.

Махай скрипнул зубами, злобу удержать не может.

Перешли канаву. Лес. Со всех сторон обступила их и проглотила тьма.

Махай на Пашку, как на пойманную:

— Да ты это знаешь, что я с тобой начал гулять? И на кой черт тебе Ванька спонадобился!

Пашка оттолкнулась от Махая:

— Да я, може, с тобой и гулять-то не хочу! Да и с Ванькой тоже. Откачнитесь вы от меня. Чего липнете, как пчелы на мед?

Кровь бросилась в голову Махаю:

— Не хочешь?

Пашка молча повернула обратно. Махай догонял.

— Говори — не хочешь?!

— И скажу: не хочу!

— Н-на, сука! Нн-на, стерьва! Нн-на... Н-н-аа еще...

Девушка упала в траву под дубом с истошным криком:

— Мамынька!..

Далеко-далеко по лесу покатилось эхо:

— А-а-а-а...

— Я те покажу мамыньку, мать... Своих не спознаешь, мать...

Слушал лес матюки Махая, слушал лес вопли девушки — покачивали дубы темными шапками.

— Вставай! И не дыхни! Чтобы больше этого у меня не было. Не так поучу!

Опомнилась Пашка, закашлялась, прильнула к земле и сплюнула с зубов соленую, густую жижу.

Испугалась крови, вскочила и бросилась по лесу растрепанная. Бежала, и виделась ей вечерка, веселые подруги, парни ласковые. Жалко стало Пашке себя.

Бежала и рыдала на бегу.

А в село прибежала — стыд заел. В свой дом вернуться нельзя — заметят кровь и слезы.

И пробиралась Пашка, крадучись, мимо своей избы, мимо веселой вечерки на другой конец села к выданной сестре.

Провожала Пашку июньская теплая ночь, трель соловьиная.

Была вечерка в разгаре, когда подходил Махай к Пашкиному дому. Из сеней вывалилась ватага:

— Сюда держи! — крикнул Алешка, завидя Махая, — ну, как у те?

— Готова дочь попова, давай другого!

— Молодец!

Смеются парни, Махая по плечу похлопывают. А Пронька Долгушов выхваляется:

— А я, знаешь, Дуньку Митякину хлобыснул.

— Ну! Когда успел?

— Да вот только являюсь. Пошли мы с ней провожаться. Ну, я, как полагается, прижал ее у Зинькина плетня. Она орать, кочевряжиться. Я ее тихонько по рылу. Думал, замолчит, — она пуще. За пазуху не пускает. Я совсем разозлился, дал однова как следует: упала. Я ее пинком и — дуй сюда.

— Дай пять! — Махай так жамкнул руку Прошки.

— Ой, медведь! Если Пашку так тискал, — не поздоровится ей.

— Убежала с побитой рожей. Улещала меня: «Махай, да Махаюшка! Я — твоя. С ним я о комсомоле только разговаривала». Слушать не стал, прогнал как собаку, опротивела — смотреть не хочу! — нахмурился Махай от своего вранья и оборвал: — Где остальные? Да, делать больше нечего! — Сам сел на камень, уставился в окна, где мельтешила кадрель:

Тритату — где была?
Тритату — на рынке.
Тритату — чего купила?
Тритату — ботинки-и-и...

Пляска манит, а идти не хочется: Пашка в голову лезет. Что за девишник без Пашки?.. Хочется ее ласки, ее глаз, ее губ. Досада берет: зря вечер пропал, опять ничего не добился от девки. Зато будет знать, как с другими гулять!

Из избы вывалилась новая толпа парней. Махай встал навстречу.

— В мордовский, Махай?

— Угу...

— Давненько мы там не бывали!

Махай лихо взбил картуз, хрипло засмеялся:

— Я и забыл: есть там у меня могулька косая, вот бе-

зответная девка! Колочу почем зря, а она еще слаще целуется.

— Ха-ха! — поддерживают товарищи.

— Запевай, Алешка! Крой на всю губерню!

Дикие голоса обливают тишину припевками под саратовскую гармошку.

Алешка Горшок из кожи лезет, торжествуя Махаеву победу. Недаром большекаменские парни говорят про него, когда Горшок в ударе: «Припоет, так припое-ет: на небеса живым подымет...»

Старается Горшок, будто сам он намял бока Пашке-зазнаюшке. Выводит Алешка соловьиным голосом:

Сухолинские девки мелки,
Ты-на-на... вертятся белкой.
Тербил-дергал — хрусталек...

Гогочут парни Лешкиной матерщине, а гармошка в его руках ужом извивается:

Наши девки покрупне-я-я-я,
Ты-на-на-на... поплотне-я-я-я.
Ты ль меня, я ль тебя...

Захлебываются парни от гогота.

А ночь пестреет звездами.

А собаки неуемным лаем провожают надоедливых гармонистых парней до самого мордовского курмыша.

БЕРЕЗИН

Мобилизованный москвич уехал из Большой Каменки в большом расстройстве.

Мелькнул он в Каменке — будто проплыла щепка в половодье. Проплыла щепка, смешно ныряя по мутным волнам. Мало ли щепок плывет по весеннему паводку?..

— Кабы еще не прислали, греха-то мало! — улыбаясь, говорит Митрич Сергею Палычу. — Работать не дадут спокойно. Больно усердно вружились присылать в деревню, кто в городе не годится. Вчера в районе буянского председателя встретил. К ним тоже приезжал. Ух, что он там вытворял! Почище, кажись, нашего. А в Черновке, слыхать, парень попался с башкой, даром что мобилизованный.

— Оботрутся в хомуте — пойдут. Какой-то к нам на сменку припожалует?

Через неделю и впрямь припожаловал, да кто — сам Березин!

Выбежал Сергей Палыч навстречу, а Березин ему:

— Где ячейка у вас, товарищ Палагин? Зарегистрироваться мне: в ваше распоряжение прибыл.

Сергей Палыч и рот разинул, и глаз единственный раскрыл настежь.

— Чего ты смотришь?

— Чудно что-то...

— Вот тебе путевка, если не веришь.

Вошли в сельсовет. Сергей Палыч посмотрел путевку:

— Приходится верить.

— Почему приходится? Не рады?

— Что ты! Не в том суть.

— А в чем?

— Да так. Иди в поповский дом: там у нас партячейка и детский сад.

Сел председатель сельсовета Сергей Палыч Палагин за стол, бросил на руки свою кудлатую голову:

«Ой, не подвох ли?»

Ничего плохого не чувствовал за собой Сергей Палыч, да ведь кто ж его знает?..

На квартиру поставили товарища Березина к деду Силуяну Иванычу.

Вечером пробрался дед Силуян к Березину в одних чулках, нагнулся к самому уху и спросил таинственным шепотом:

— Скажи мне по-дружески. Я старик, мне можно сказать: никому ни-ни-ни, не пикну. Скажи, с какой мыслей к нам приехал, семь грехов с половиной?

— С какой же мыслью, дедушка? Мобилизовали — и приехал. Засиделся, говорят, в городе, иди проветрись в село. Ну, я и выбрал Большую Каменку, потому что был у вас однажды — знаю.

— Вот я и спрашиваю: выведать чего-нибудь приехал-то?

— Работать приехал, дедушка! Для общества. Теперь у нас в партии мобилизация в деревню идет. Послали первую партию: неудачные попались. И у вас здесь был один...

— Да, был. Какой-то взбаламошенный. Не русский, што ли? Разговор-то у него больно чудной...

— Ну вот, теперь меня послали на смену.

— Это слава богу. Таких — давай побольше, мы не препятствуем. Значит — поработать на пользу?

— Да.

— Так. Час добрый. Посмотри, посмотри, что наши выкомаривают, семь грехов с половиной! Особо Митрич. Ух, ни дна ему, ни покрышки, семь грехов... Бесстыжи его зенки, с ума спятил под старость. Пристыдил бы ты его.

— Постараюсь, Силуян Иванович!

— Ну, а нащет камуны? Устанавливают?

— Как устанавливают?

— Ну вот — как? Известно — силодуром. Всех под метло.

— Да нет же, враки, Силуян Иваныч!

— Ну, то-то же, смотрите. Большаки-то вы большаки, только знай край, да не падай.

— Чего падать — в гору лезем, Силуян Иваныч!

— С горы больнее скатишься, всю задницу обдерешь, семь грехов с половиной!

Лег Силуян Иваныч в задней избе и все думает:

«Ух, парень дошлай! Без пута стреножит. Материалу дал, денег выхлопотал на ремонт, лесу предоставил, а теперь — ну-ка, выйдет на сход и скажет: «Записывайся все в коммуну. Начинай с сухолинского конца...»

До свету ворочался Силуян Иваныч. На коровьем реву вздремнул немного, а старуха будит:

— Вставай, старик, солнышко над поветью. Гость давно встал, в поле с тобой собирается.

— Хочет побаловаться, семь грехов...

Поехали в поле.

Ходит Березин за бороной, не оттащишь.

— Давай уж я, чего тебе пачкаться. Вожжи не знаешь как держать, не токмо што...

— Это ты напрасно, Силуян Иваныч! Иди-ка, дед, костер разводи, да кашицу затаганивай, лучше дело будет.

Дед Силуян роет ямку, втыкает колышки.

Время к обеду.

— Иди кашицу-то есть — переварилась, подгорает. Будя тебе пыль глотать, работничек!

— Погоди, давно не боронил. Дай еще по одной положу.

— Да что ты! Сроду больше трех борон не кладем.

— Оттого сроду у вас и не родится ни хрена! — смеется Березин.

— Это дело богово.

— Вот именно — убогово...

С месяц проработал Березин в Каменке, говорит Митричу:

— Сами справитесь. Поеду, попрошусь в другое место, где поглуше.

— Да куда уж глушее нашего?

— Если бы все такие были глухие уголки, мы давно бы по Ленину зажили. Не село у нас, а прямо лампочка Ильича.

— Только карасиновая.

— Ну, кто же вам не велит, Потап Митрич? При вашей организации не так уж трудно и электрификацию завести. Я тебе смету составил, посмотри ее хорошенько.

— На бумаге-то гладко выходит. А попробуй-ка наш народ уломать, — споткнешься. Почему они за лесопилку держатся и работать идут с охотой? Выгоду видят.

— Да ведь удобство-то какое?

— Удобство, это верно. Но мужик раньше удобства прибыль ищет. Я уж сам давно кумекаю: как их к этому делу приспособить, чтобы антирес у них был. Ума не приложу, — разводит руками Митрич. — Вот и с артелью-то плохо покуда: не идут, маловато нас.

Молчит Березин. Внимательно слушает сомнения и думы старика. Поддакивает, мугукает. Только перед самым отъездом с подводы уже кричит:

— Все-таки, Потап Митрич, попробовать надо.

Приезжают посыльные от Березина, закупают мужичий лес. А горбыли бесплатно развозит беднота из окружающих сел — по постановлению артельного совета.

Жниво подоспело — остановили лесопилку. Остановили потому, что взяли в аренду с условием — работать самим.

Осенью стали рассчитываться за проданный тес, помимо уплаты долгов и ссуды — тысяча рублей чистого. Решил Митрич первый заработок артели разделить, чтобы видела вся Каменка артельную выгоду.

Настал день дележа.

Каждый, идя к Митричевой избе, высчитывал: сколько он работал, сколько сосед его, кто с лошадью работал, кто без лошади, кто у машины стоял, кто лес рубил, кто тес возил, кто распиливал.

Кричат артельники при дележе — стены у избы распираются. Махорка дымит — не продышишься. Делят — не разделить никак! Сергей Палыч порядок наводит, навести не может.

— Да войдите в себя, храпоидолы! Тише, говорят вам! Ты, Панок, постыдился бы. Больше всех орешь, а без толку.

— Как же мне не орать, когда вы вазврат капитализму разводите? Проторизовать надобно, а вы деньгами артель тешите! В общую фонду все деньги надобно. Ни копейки не давать этим глотам!

— Какая такая фонда? — трясет Барбин рыжей бородой, — тебе, знамо, ничего не надо: в гроб смотришь. Потвоему, деньги прах, — ну их в тартарарах. Нет уж, дудочки! Холка-то у меня, чай, не куплена.

Махнул рукой Сергей Палыч, отошел. Митрич шепчет ему:

— Не расстраивайся, кум, пускай накричатся вдосталь.

Споры при дележе разгораются, как в бурю солома.

— Нашли дурака на чужого дядю батрачить, — кричит Барбин.

— Ты бы и в Москве свою ворону узнал, — кричит Панок.

— Вся семья своя, да всяк любит себя, — кричит Барбин.

— Не согласен в принципе! — кричит Панок.

Когда мужики добрались до хрипоты, Митрич тут как тут с шуточкой и с предложением:

— Полно вам браниться, не пора ли подраться? Вот что я вам скажу, мужики: где равный бой, там все поровну, а кто с лошадью работал — класть за два дня.

— Правильно! — поддержали молодые мужики, которые недавно в артель вошли.

— Ишь, чего задумали! Из молодых, да ранние — порядки устанавливать! — галдят старые артельники.

— А что же, до утра будем язычиться? — вмешался Степан Кусочков.

— Ты помолчал бы, Сабес: в артели-то без году неделя, — обрывает Барбин и кричит на молодых мужиков: — Молокососики!

— А чем мы виноваты, что после тебя на свет родились? Много прожил, да ума не нажил.

— Это я-то! — налетает Барбин.

— Это ты-то! — вступает Панок за молодежь.

— Да угунете вы, статуеты? — прикрикнул Митрич на Панка с Барбиным. И напомнил Митрич о том, что говорилось, когда артель строили, что в артельном уставе значится, который сами приняли.

— Не согласен в принципе. Отказываюсь от своей доли.

Митрич уговаривает Панка:

— Чего ты кочевряжишься? Жене Полагее отдадим долю твою: назола смотреть, как она с детишками мается.

— Думать не моги, из артели уйду, будете знать! — грозит Панок мосластой рукой, хватается за грудь, закашлявшись, и убегает в дверь.

Кое-как согнули непокористых, решили разделить прибыль поровну: по два с полтиной на день пришлось. Да не только это порешили, а и Панковы слова взяли во внимание: на руки дается только по полтора рубля а по рублю с каждого дня — в общий фонд на задаток для покупки трактора.

После этой дележки заявления в артель посыпались — продеру нет. Не только из Каменки, со всей волости. Не только с одной волости, с разных волостей округи.

Заботы у Митрича еще больше прибавилось; где за всем углядишь: голова старая, память слабая. Надо Митричу шустрого человека, который бы на счетах семечки грыз, который бы все приходы в аккурате вел. Да не одного — пожалуй, не мешало бы парочку.

Тяжело приходится артельной головке. Зато гудит лесопилка, зато молодо повизгивают пилы, проходя сквозь сырые, только что срубленные сосны и дубы.

Вертятся лесопильные машины.

Вертится вокруг лесопилки вся артель.

ПРИЕЗД САНЬКА

Журавля тянет осенью на юг, а крестьянского сына, кем бы он ни был, — тянет весной в деревню.

В пенсне Санек, в пальто с цельными рукавами, кепке английского мягкого драпу. Кто за крестьянского сына почтет? Нужды нет, что нос урожайной картохой, а скулы распластались на лицу, как степь заволжская. Нужды нет, что золотыми веснушками лицо исконопачено, а правая бровь пополам рассечена. Кто за крестьянского сына почтет? Москвич — да и только.

Москвич! Как это в жизни бывает?

Позовет наша жизнь человека, из кучи навозной выкопает, вздыбит, сквозь ураган проливных событий промчит, бросит в белогвардейскую тюрьму, на фронт, в столицу; из сельской школы — на рабфак технического вуза приведет; вместо родного мордовского языка научит разноязычному говору — и скажет:

— Будь ты, Санек, коммунистом!

Заставит жизнь много бороться, еще больше голодать, еще того больше работать, работать, работать.

А потом выдаст на руки бумажку врачебно-контрольной комиссии:

«Студент такого-то рабфака Александр Пальдяев страдает крайним переутомлением мозговых центров и неврастенией в сильно выраженной степени. Ему необходимо на время заняться физическим трудом».

Отпуск! На год! Прощай, Москва! Журавля тянет на юг, а крестьянского сына — в деревню.

Вот и едет Санек в почтовом поезде по бесплатному студенческому литеру. Ворочается он на верхней полке вагона, рад отпуску и недовольный собой:

«На мякину потянуло... какая чушь!»

Может быть, не такими словами думает Санек: думы часто бывают без слов. Может быть, не такие чувства волнуют Санька, когда он ворочается на верхней полке вагона: чувства трудно разгадать. Но что ремонт нужен Саньку основательный, — в том легко убедиться каждому: только взглянуть на скуластое, на испитое лицо. Такой у Санька равнодушный и усталый взгляд!

А сердце дрожит: в Каменку! А каждая проеханная верста сумным гулом, пьянящим лязгом, радостной дрожью мызжет сквозь тело: в Каменку! А при словах проводни-

ка: «правая Волга» — вихрем сдернуло Санька с полки, вихрем подбросило к окну:

— Вот она какая, Волга! Все та же...

Тихо ползет поезд по Сызранскому мосту, особенно осторожно крадется по новым пролетам: в том месте, где мост был разрушен чехами.

Живет в ушах разбойный гул, ухнувший по Волге от динамитного взрыва. Выплывает перед глазами рухнувший в Волгу мостовой пролет, как плеть перебитой гигантской железной руки; торчит, как зуб в обнаженной десне, покосившийся каменный бык, взорванный чехами. Помнит Санек, какая безудержная злость взметнулась по красным партизанским отрядам при виде этого исковерканного моста.

— Д-а...

А теперь Сызранский мост щеголяет новой стальною заплатой. Ни чехов, ни учредилки — как не бывало.

Простая штука — жизнь.

Большая штука — жизнь.

В Самаре до постоялого двора не успел дойти, встретил как будто знакомого мужика:

— Ты каменский?

Отскочил Софрон Иванович и — врос посреди базарной улицы:

— Вот наваждение! Никак, Санек?..

— Он.

— Какой парагр, скажи на милость? А Степановна тебя в Каменке за упокой поминает. Расстреляли ведь тебя по газетам?!

— Воскрес, дядя Софрон!

— И то... Час добрый! — передохнул Софрон Иванович, придя в себя, и засмеялся, здороваясь. — Ну, коли не помер — живой. В наши края, поди? Довезу, что ли?

— Будь добрый, дядя Софрон!

— Об чем разговор! Только у меня бочонок с карасином в телеге. Ничего? — заискивающе взглянул в глаза.

— Ну вот, беда большая!

— То-то. Пальтецо-то у тебя...

А за городом по шоссе — тряска такая: икота нападает и дух захватывает, как от самогону.

На проселок свернули — немазаная телега запела веселее. Лошаденка трухнула рысцой, утопая копытами в пухлой, перемолотой колесами пыли. Раздвинулись дали во все стороны: справа — Волга, слева — пологие хребты Сырта, а прямо, сквозь леса и степь, — упрямое шоссе в обнимку с капризным проселком.

Будто из-под колпака вылез Санек: дышит не надышится волжским прохладным ветерком, ароматной степной ширью.

Разлегся в тележке и глаза закрыл. Показалось на миг, что обратно едет: привскочил даже с испугу.

Закурил, и папироса запахла степью.

— Тяни, дядя Софрон!

— Сигары-папиросы... Да-а-а... — поет Софрон, осторожно выуживая «Иру» из протянутой пачки. — Ну и антилимент ты стал!

— Брось ерунду пороть. Какой я интеллигент?

— А как же тебя отлепортовать? Вылитый грязновский сынишка. Того я все в Самару возил в гимназию, когда кучером служил у них.

Варом обожгли слова Софроновы: вспомнил Санек Грязнова, его тонкий, жгучий хлыст: потрогал свою рассеченную бровь. «Меченый, урю!» — пронеслось в голове, и спросил строго:

— Грязнов в Каменке?

— Э-э-э, хватился! Далеко он, в Париже. Пишет в письмах — плохо живет.

— А ты откуда знаешь?

— Вот те на! Чай, барыня-то Грязниха — в Самаре. Садился ты, чай, у нее на постоялом дворе. Зря обидели челэка: хороший был челэк.

— Брось ты барина своего трепать. Не плачь — приедет, никуда не денется. Не такие теперь приезжают.

— Он присылал уже письмо в исполком, просил, нельзя ли завод обратно взять хоть на ренду. А то и барыня, — ее ли дело постоялый держать: грязь, навоз, мужики... Плачет, как ни приеду.

— А ты утешаешь? — пошутил Санек.

— Да ведь бывает... — щурится Софрон и маслено улыбается: — Природа человеком обладает.

— Так. Вон что тебя кучером-то держали! Ну, а эсерить-то бросил?

— Что было, то прошло, — отвернулся Софрон Иванович.

— Прошло ли?

Молчание.

Дорога вьется лесом, оврагами, перебегает проселок, оплетает шоссе то с одного, то с другого боку.

— На что тебе такая бочка керосину? «Молнию» завел, что ли? Сам вроде барина стал?

— Не-е-е... У меня и лошади-то нет: протарьят — кругом шаснадцать. Карасин этот в антиграл везу.

— Куда?

— Шут ее знает, прозвали так зачем-то капирацию нашу: антиграл. Твой шабер там орудовает, Митрич.

— Ну? Как он там поживает?

— Да как тебе сказать... — нахмурился Софрон и боль-

но стебанул лошадь, а сам слез на изволок. Санек тоже выпрыгнул из телеги.

Семьдесят верст от Самары до Каменки. Сколько раз проезжал-проходил эти семьдесят верст! Сколько было встреч, разговоров! Сколько было дум в пути передумано! Вот на этой дороге росла жизнь, здесь ее корни. Между гор, по оврагам, по ровному, вытянутому в нитку шоссе, по проселку, по тропкам пешеходным — прихотливая дорога. А на дороге — всегда неизменная мама:

— Сыночек, Саничка!

И слезы мутные из полуослепших глаз, и режущие причитания матери, как над покойником, и поющий вовсю самовар, и полк братьев и сестер...

Размечтался Санек о домашнем, хочется ему как можно скорее увидеть Каменку. Кажется ему, что нарочно ленивит лошадь Софрон.

— Погоняй, дядя Софрон, маненько.

— Поспеешь! Видишь — в гору. Все равно в Красном Яру кормить с ночевкой.

— А нельзя насквозь?

— Что ты! Двадцать-то пять верст? Сразу видать — забыл ты мужицкое положение: лошадь не жалеешь.

Ночь Санек не спал. Чуть рассвет замахал голубым рукавом — начал Санек тормошить Софрона Ивановича. Проснулся тот — и лошадь уже запряжена.

— Ишь ты, не забыл, как запрягают. А поил на дорожку? То-то, чай. Ну, садись!

Выехали из Красного Яра до солнышка.

А как только прошел утренний холодок и солнышко начало пригревать, Софрон снова заснул в телеге.

Взял Санек вожжи — за кучера. Вьются думы, и знакомая природа бежит навстречу. То дуб замашет лапой в знак приветствия, то улыбнется зеленеющая десятина ржи, то сверкнет вдали сквозь прибрежный лес родной игривый, голоногий Сок... Скоро и ветряки на миловском холме замаячили. Вдали вынырнула белая голова каменской церкви. На миг — и скрылась. Чихан-гора подняла каменистый лоб. И тоже скрылась. Съехали в Мордовский овраг. Поднялись на бугор.

— Где же Каменка-то? Не стронулась с места? — смеется Санек, наяривая лошадь и в гору и под гору.

— Как еще стронулась-то. Ходит, брат, Каменка назад пятками, — отшучивается сонный Софрон. — Не неволь ты лошадь на изволок.

— Спать тебе мешаю? Ничего, с бабой на печке выспишься. Ннн-а... — хохочет Санек.

Вот он, Больничный изволок. Вот он — Грязный мост. А за ним — ветрянка. Давно она стоит здесь. Помнит Санек: и в детстве вот так же стояла, и так же понуро опущены были ее сломанные крылья.

А вон показались красные корпуса больницы. Тусклый крест на крыше мертвецкой. Как боялся Санек мертвецкой, какие страхи ходили про нее, за сколько шагов ребята обегали ее, когда ходили мимо в лес за ягодами. Лес совсем рядом с больницей. Напротив за три версты — а кажется тоже рядом — вся лысая Чихан-гора. По бокам у нее два холма: один красный, глинистый — Мордовская гора, другой — белый, каменистый — Русская. Текут как прежде по лицу Чихана, по щекам Мордовской и Русской гор, блестят на солнышке родники. Между больницей и горами засиял ослепительный крест: словно в воздухе висит над невидной лощиной. Направо по скату черной скатертью расстелились поля до самого Соку. А Сок — запутался в лесу.

— Дай-ка, парень, вожжи-то! Заругают меня капиторы за лошадь: загнал ты ее — не отдышится, — встряхнулся Софрон Иванович, когда въехали на вершину перевала и внизу показалась Каменка.

— Ишь ведь как спряталась-то, не скоро найдешь. Тоже свой парагр имеет.

— Ох, какая большая да соломенная!

— Москва! — с гордостью любуется Софрон.

Скучились избы в лавине, одна за другой, как стадо овечье в панике. На взгорья выплеснулись отдельные курмыши, разбежались отдельные избушки, как вспугнутые овцы, отбившиеся от косяка.

Каменка!

Здесь бегал Санек беспортошным мальчишкой. Десятки сверстников, которых запрягал в лихие тройки, с которыми мчался по лесам, по холмам, по залогу, в рюхи и в козны играл, — теперь бородатые семьяне. Здесь учился, работал на полях — на своих, а больше на чужих в работниках. Здесь был секретарем в ревкоме, отсюда ушел в партизанский отряд — на Колчака. Теплая дрожь охлынула Санька с головой. А лошаденка лихо трусила по безлюдной базарной площади к низкому и длинному строению с черной вывеской белыми буквами:

БОЛЬШЕКАМЕНСКИЙ СОВЕТ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

На крыльцо вышел одноглазый мужик и закричал:

— Санек, едят тя мухи с комарами! Навовсе? Мобилизованный? Молодец, Софрон, прямо к волости подкатил! Пойдем, брат, к Митричу: он про тебя все уши мне... Так и знали, приедешь да приедешь. А мать, Степановна, денно-нощно молится, святым спокою не дает.

— Ну как она? Домой мне хотелось бы, Сергей Палыч!

— Нет уж, айда, дом успеется, предоставляю тебя к Митричу. Узнает, что видал тебя, — чего ему скажу? Он тут недалечко, на Чихане, где руду копают.

— Руду?

— О, брат, у нас тут такие дела! Работы — по шейке. Тебя только и недоставало.

— В отпуск я, отдохнуть.

— А-а-а, — хмуро протянул Сергей Палыч. — А я думал — работать к нам, избача мы просили: свой ты, на что бы лучше... Больно работы много! Измотались. Кум Митрича не узнать: кожа да борода.

— Я тоже в Москве нездоров стал. Думаю, здесь на вольном воздухе...

— Не знаю, как тебе сказать насчет этого. Воздух, конешно... Только работы больно много! И все на артель, и все на общество. Свое хозяйство совсем заклекло, хизнет. А у меня ведь пасека, векового заведения. Эхе-хе, чего делать, не придумаю. Отказаться бы, что ли, уж?.. Ну, ладно, чего это я? — прервал себя Сергей Палыч. — Айда скорее: поди, не чует старик.

Дорогой Сергей Палыч говорил без умолку:

— Дома у тебя все слава богу. Степановна скрипит, братья твои растут, отец помер. Вот работы у нас, брат, воза! Опять же все на артель, все на общество. Дело в сельсовете незнакомое: канцелярия. И в артели: кто работает, а кто и так сидит. Вон Панок, какой он работник: на ладан дыхает. Этот хоть заслуженный, на гражданском фронте искуверканный... Мне вот тоже казаки глаз починили. А другие в артели есть совсем здоровые, да лодыри. Кум Митрич как-то смотрит на это промежду пальцев, поблажки дает.

Голый лоб Чихан-горы крест-накрест прорезан глубокими коридорами, вроде наземных шахт.

— Тут он где-нибудь копается, — вздохнул Палыч и крикнул: — Митрич! Кого веду-то!

— Чего еще там? — послышался глухой голос из горы; Саньку показалось: прямо под ногами. — Опять с чем-нибудь не справишься? Некогда мне, кум! Разбирайся сам как-никак...

— Санек явился, говорю!

— Ну?! Давай его сюда!

Почти перед самым Саньковым носом выполз из ямы седой старик и мелкой прихрамывающей трусцой скатился под гору на Санька.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1/27—4718

НА ОТДЫХЕ

Митрич встретил Санька по-отцовски: долго держал в объятьях, облобызал троекратно.

— Дай-ка, посмотрю на тебя издаля. Зеленай! Отдыхать надо, парень, за блинцы взяться да за курники. Дохлай!

— Вот мне и дали отпуск.

— Хватились... Заучат там вас до ручки в ниверситетах. Дома-то был?

— Нет еще, прямо с подводы.

— Негоже! Мать родная перво-наперво. Убивалась-то она об тебе, когда слух прошел по газетам... Похоронил я тетку Варвару-то... помнишь? Ну иди, сынок, домой! Я к тебе как-нибудь на днях загляну.

— Что ты, дядя Митрич! Нынче же приходи...

— Дело не к спеху. Отдыхай.

Сергей Палычу такой Митричев разговор не нравится. Он хмыкает и перебивает Митрича:

— Я его, кум, силом приволок: приехал, мол, нам, старикам, помощник.

— Какой он тебе помощник? Смотри — сопля зеленая. Ты, Санек, не бери кума моего во внимание. Ему бы только взнуздать человека, привык в Совете распоряжаться. Тебе, поди, от своих делов тошно?

— Отдохнуть-то надо бы... У меня большие надежды на этот отпуск.

— Отдохнешь. Теперь, слава богу, опять всего понемножку начинает прибывать. У Степановны коровешка есть. Иди, иди, отъедайся с московских харчей-то.

За сердце щипали родные места, саднило, замирало сердце при виде Чихана, залога, гуменников и улицы своей — Сухой линии, и своей избы — соломенной и бездворовой. Но твердо решил Санек, ступая на порог: ни во что каменское не вмешиваться, есть, пить, дышать лесами и — все...

Кормежку мать на радостях устроила страшную: дюжину яиц, всмятку сварила в самоваре, плошку блинцов напекла, румяную пшенную кашу прямо с горшком на стол выметнула — масло на палец сверху плавает. А на шестке на щепках квохчет глазунья-яичница. А в печке парится целая курица.

Отдувается Санек за столом:

— Мама, что ты со мной делаешь? Ты все время меня будешь так напарывать?

— Ну и напарываю! С голоду Малашке и алашки в честь. А ты ешь, кормилец! Ешь, сыночек Саничка, на здоровье. Корова у нас дойная, хлеба хватит до нови, кур опять развела, поросенчишка есть.

— А если лопну?

— Бог миловал... А туго будет, вошкур распустишь. А еще тужее, под сараем жерновок есть молитильный, потрешься брюхом — полегчает.

Улыбается Степановна, смеется Санек, хохочут меньшие братья и сестры.

— Один ведь ты у меня, ненаглядный мой!

— Как один? А вон их сколько, архаровцев.

— Ну, об них какой разговор! Кша вы от стола — куда лезете? Брату поесть не дадите как следовает.

— Ничего. Садись, ребя, блинцы есть! — грудит Санек мелюзгу в охапку.

— И что ты вздумал, Саничка! Как же, блинцов им только и недоставало! Кша на улицу, бессовестные!

Вытурила Степановна ребятишек, сама села на лавку, подбородок рукой подперла. Смотрит Степановна на сына, худущего да рослого.

— Один ты у меня, кормилец мой. Из мертвых воскрес — не чаяла.

И не успел спохватиться Санек, бухнулась старуха на колени, голову на скамейку бросила — залилась слезами да причитаниями.

— Умер отец твой, преставился-аа...

Отец у Санька — что был, что нет. В детстве, когда бушевала царская монополька, помнит Санек, приходил отец каждый день пьяный и в пьяном виде показывал свой характер: буянил, дрался. Трезвый всегда молчал, даже когда мать била его скалкой и выгоняла из избы на калду, где он частенько и заночевывал. Мужик он был рыжий, дородный и глуповатый. На работу тихий и неладный. Звали его в Каменке Степановнин Петря. А когда закрыли кабаки, Петря совсем попал под ногу Степановны, и будто совсем его в семье и не стало. Только каждый год регулярно увеличивал он семейство Пальдяевых, чередуя сыновей с дочерьми. В этом Степановна ему не препятствовала: привыкла к супружескому кресту. В голодовку двадцать первого года Степановнин Петря умер. Степановна после смерти мужа облегченно вздохнула, а скалка стала гулять по спинам ребятишек. Теперь при виде Санька, своего первенца, вспомнила Степановна мужа и молодые годы замужества.

— Преставился отец твой — у-у-умер...

Весь первый день и второй весь день Санек проел и проспал. На третий день с утра на гумно пошел, по старой памяти. Та же сельница. Еще глубже в землю вросла, еще шире в боках раздалась. Без воротичек. Как упали воротички давным-давно, так и гниют — почернели на земле. Попробовал с места стронуть — приросли. Да и зачем запирать, кто позарится? Пустая стоит сельница. В уголку только куча сена да в другом кучка прошлогодней яровой мякины. Даже мыши сельницей брезгуют. Ток, покрытый навозом, зарос буйной лебедой.

Теплая грусть охватила Санька при виде заброшенного гумна, и , опьяненный этой грустью, Санек побрел гумменниками к лесу.

Поравнявшись с гумном Баяновых, услышал девичий голос:

Ветер дует, ветер дует из куста орехова,
Неужели это правда — милочка приехала?..

Санек почувствовал, что для него это звенит частушка и рассыпается лукавый свежий смех. Подошел поближе к плетню, но смех вспорхнул испуганно, и Пашка Баянова, мелькая голыми икрами, скрылась в сельнице.

Лес изнемогает от весенней истомы.

Старые дубы покачивают головами, упрямо притворяются хмурыми. Между ними заплелся густой черемушник, приклонясь к земле. И, выпрямившись, стоят березы в белых запонах. Молодые зеленоглазые березки водят по лесу хороводы, заигрывают с подростками-дубочками. А лесные поляны смеются цветами, разметали мягкие ко-

сы трав. Шумит, покачивая верхушки деревьев, весенний теплый ветер.

От этой лесной истомы и ароматной полноты почувствовал себя Санек разбитым, бухнулся в траву на поляне. Лежал на спине, смотрел в голубое воздушное море, где проплывали на закат облака, словно ленивые морские фелюги, словно беляны волжские.

Глубже и легче дышалось, раздавалась грудь. А в груди от непривычной тишины наливалась грусть и отстаивалась густая тоска. Также вот в детстве лежал на Чихане. Давно это было, давно...

Мягкой лапой гладила тоска по сердцу.

«Должно быть, отвык», — поморщился Санек, вскочил и быстро зашагал из лесу. Будто гнался кто: шаг убыстрялся, руки начали размахиваться в такт привычной городской походке. Только на опушке опомнился:

«Куда бегу? Ведь на прогулку вышел: хотел медленно-медленно пройтись перед обедом».

На залоге Ваньку Корявого встретил — секретаря каменского комсомола. Разговорились. У Ваньки вид вынутого из петли. Ванька оскорблен вдвойне: и в личном деле и в общественном своем положении. Ванька жалуется: драки учащаются, девкам от парней проходу нет, в комсомол парни не вступают, над комсомолом все смеются — работать нельзя, работать некому.

— Зарез!

Жалобы холодные, как жабы. И будто Санек во всем виноват. Хотя из комсомольского возраста вышел, второй год, как передан партии, но помнит Санек, как в Москве в комсомоле было шумно да весело, а работников там — отбавляй!

«Тоже секретарь называется. Тюря! Какой тут может быть авторитет — слюни распустил. Не секретарь, а плакса», — подумал Санек, слушая Ваньку.

Но хмуро молчал, и молча разошлись. Только улицей не шагал, а бежал, руки размахивались, как крылья у ветрянки: широко и резко. Подходя к избе, снова поймал себя:

«Куда бегу? Ведь на прогулку вышел, хотел тихонечко пройтись перед обедом...»

Успокаивал себя Санек и злился, что не может успокоиться.

Вечером Клавдия Михайловна с Пашкой Баяновой под окна подошли.

— Александр Петрович, у нас в детском саду родительское собрание совместно с делегатками женотдела. Просим вас к себе, — официальным тоном приглашает Клавдия Михайловна.

— Об докладе бабы антирисуются: новости привез свеженькие, — закрывается платочком Пашка.

Как откажешься?

«Внимание работе среди женщин...»

Идет Санек под конвоем двух девушек.

— А я ведь ваше письмо читала, Александр Петрович, — неловко прерывает молчание Клавдия Михайловна.

— Какое письмо?

— А то, где об ярой эсерке говорится.

— Простите меня, Клавдия Михайловна! У меня в мыслях не было вас оскорбить. Не знал, что вы так переменились.

— Я не сержусь: правдой не задразнишь.

Смеется Клавдия Михайловна, а смех дрожит.

Пашка молчит, только глаза горят-говорят.

Темь, тишь вечеровая. Тепло и хорошо шагать между двух молодых женщин. При ходьбе то Пашкин острый локоть кольнет гимнастерку, то прикоснется Клавдии Михайловны рука и мягко обожжет.

В поповском доме, где детский сад, еще с крыльца веселые бабьи крики:

— Ведут, ведут!

— В передний угол его, московского!

Поздней ночью, потный и красный, охрипший вконец, выскочил Санек с женского собрания. А бабы и вдогонку осыпали горохом вопросов.

Спать лег на вольном воздухе, на повети. До утра проглядел на звезды, на их плавный мигливый хоровод. За поветью жаловался одинокий девичий голос:

Скука, скука перед скукой
И тоска перед тоской.
Вы закройте мои глазки
Гробовой новой доской.

Чуял Санек: для него льется Пашкина частушка. В полудреме — сквозь шум женского собрания и собственный доклад — проплывало светящееся, озаренное лицо Клавдии Михайловны, горели звездами пристальные Пашкины глаза. А во сне не доклад делал, а шептал ласковые слова кому-то одной из двух...

Утром зашел Митрич, покалякали о прошлом — о том, о сем. Митрич ласково и настойчиво советовал отдыхать, а сам заспешил на лесопилку.

После ухода Митрича Санек пошел к Панку. Лежит

Панок на конике больной, дышит — будто рвется в груди гнилая дерюга. Неуемно кашляет, харкает и по матушке вдушивает спецов и нэп. Брызжет больная злоба, и Саньку обрадовался как-то злобно.

Смотрит Санек на Панка, участливо расспрашивает о здоровье. Тот мотает головой, уронит два-три слова в ответ и снова сворачивает на ругань.

Санек замолчал, не желая расстраивать больного. Но молчать становилось невмоготу.

— Тоже нэп проповедывать приехал! — кричит Панок.

— Не понимаете вы текущего момента, дядя Панок! Разложились вы...

— Это вы разложились со своей вольной торговлей, как торговки на базаре.

— Прекратим этот разговор, дядя Панок!

— Не любо, не слушай. Знать, правда глаза колет.

— Какая же это правда?

— Эдакая. С кровью!

И Панок шумно сплюнул на середину избы кровавый сгусток харкотины.

Расстались недружелюбно. Санек не пошел в этот день на прогулку в лес перед обедом.

А вечером пришли кучкой старые товарищи по партизанскому отряду — молодые густобородые мужики. Снова прошлое вспоминали: много было такого, что стоило вспомнить.

Рассказал Санек про Москву. Дошло дело до Каменки. Поведали товарищи про все каменские дела, выложили все сомнения. Не понимают боевые товарищи-чапаевцы: для чего этот нэп? Из партии, оказывается, многие вышли.

— Буржуазия опять заедает!

Ждут, что ответит Санек, с которым вместе вшей кормили.

— Да поймите же вы, товарищи, нет у нас теперь фронтов!

— Это мы все понимаем. А зачем прежнего буржуя опять лесничим прислали?

— А зачем кулачье голову подымает?

— Да поймите же вы, товарищи: надо силы накопить для нового наступления. Вы думаете, нэп — это...

Но Санька перебивают сразу несколько голосов:

— Вон Архипов в суд подал, хочет лесопилку свою оттягать.

— Вон Оглоблин Михайла лавку открыл на самом бою.

— И к нему идут, потому потребилка наша никудышная.

— Там только один «антиграл» продают.

Выворачивают с корнем свое нутро боевые товарищи-чапаевцы. Вопросы сыплются на голову Санька, не успевает поворачиваться.

— Да поймите же вы, товарищи...

За полночь засиделись, прогорланил первый петух. Степановна не раз робко вмешивалась с печи:

— Санечка, сыночек! Лег бы ты. Устал, чай?

— Сейчас, мама, погоди! Дай поговорить немножко.

Замолкает старуха, прикорнет на печи. Материнское дело — маленькое.

И снова разговоры, как река, текут и не кончаются. И снова надсадные крики:

— А зачем Митрич вожжи распустил?

— Какая у него такая артель? Кто в ней?

— За нашей спиной укрывались, а теперь артельники.

— И не Митрич это, а из городу ему приказано: справным мужикам почет давать. Почему почет буржуазеи?!

Кричат товарищи-одноотрядники, кричит Санек, как на митинге:

— Теперь другой у нас фронт, другим надо бороться оружием. Поймите, черт бы вас побрал, товарищи, что у нас другие времена.

Заревела корова на дворе. Степановна не выдержала, решительно слезла с печи:

— Угуньте, суматошники! Чего вы на него напали? Не видите, парень не в себе: хворь на нем.

— Отстань ты, мама! Не суйся, когда тебя не спрашивают.

Совсем рассердилась Степановна:

— Как это — не суйся? Моя изба али нет? Мне корову доить, мне ее в стадо выгонять, а ты — не суйся. Ты если отдыхать приехал, — отдыхай, слова не скажу. А если с этими идолами суматошиться, трубокурством заниматься, скандалы заводить в Каменке — нет моего на это согласия. Ишь, нашли место! У Панка надоело вам, сюда хотите повадиться. Идите к Панку сумасшедшему да там и табунитесь — не привыкать стать. На-ка тебе, ни отдыху им нет, ни угомону: ночь-полночь, до белой зари рады гугнить. Уезжай тогда, откуда приехал!... — как в детстве прикрикнула мать на Санька.

И так пошло изо дня в день. Разнимает старуха спорщиков, выгонит мужиков из избы и кормит Санька ужином — на рассвете. И ходит весь день, пока спит Санек, на цыпочках.

А вечером опять споры — уходят в ночь.

Чует Санек — не до отдыха.

Отдых в деревне — мечта.

К субботе не выдержал, сам к Митричу побежал:

— Митрич, ячейка-то есть у вас?

— Как же! Есть ячейка. Я вроде и секретарь ее.

— Собираетесь?

— Да ведь когда как придется. Когда нет работы, собираемся. А теперь вот с артельным делом связались, давно не собираемся: все некогда.

— Надо бы собрать ячейку завтра же.

— Чего такая экстренность? Отдыхай.

— Какой тут отдых! Тут у вас полнейшее разложение. У вас никто нового курса не понимает. Все мои старые товарищи из партии ушли.

— Кто ушел? Ну-к что же?

— Как что же? Это самые надежные были партизаны: Сенька Казаков, Иван Вольнов, Митрий Митякин — да все. Я же знаю их!

— Знать-то ты много знаешь, сынок, а больше того позабыл. Горячишься зря. На московский аршин не меряй. Жизня у нас в Каменке маненько другая. А об нэпе объясни, это будет как раз вмазь. Я объяснял, да это что: язык-то у меня таловый. Если хочешь, завтра объясни. Только отдохнул бы: не к спеху. Недели не прожил, а впереди еще год. Горячо возьмешься — кишки лопнут.

— Нельзя, Митрич! Нельзя ждать! Вы запустили у себя партработу. У вас нет никакой информации.

Митрич улыбается:

— Ну-ну, подогрей-ка нашу Большую Каменку. Подогрей ее хорошенько! Народ-то мы больно неповоротливый.

СОБРАНИЕ ЯЧЕЙКИ И КЛАВДИЯ

От прежнего богатства остался у Михайлы Оглоблина большущий и высокий дом глаголем. С верандой. Окон много. Каждое окно больше любой избяной двери. А палисад перед домом — на пол-улицы: до самой дороги выбежала решетчатая раскрашенная ограда. Раньше бушевал палисадник диковинными розами да левкоями, зарастал вдоль ограды крыжовником да белой акацией. Теперь пусто в палисаднике и ограда, давно не крашенная, полиняла, кое-где подгнила и покосилась. От этого еще выше и больше кажется оглоблинский дом.

Оттого ли, что запомнил Михайла Оглоблин, как стукался в детстве о косяки и притолоки в низкой мордовской избе своего тятяя, или оттого, что больно раздался Михайла, когда стал купцом второй гильдии (ростом Михайла сажень без четверти, костью Михайла широк, ногою разлапист: на голую ногу тесны были Михайле калоши № 16, шили Михайле штиблеты в Самаре по особому заказу), — только распорядился хозяин строго-настрого, чтобы строили плотники дом на его рост и на его комплекцию. Как Михайлы Оглоблина калоши, вышел дом большой да просторный. А Михайле все было тесно и душно в дому: ожирел Михайла, начало расти внутри у него дикое мясо. Стали дрожать под ним половицы, лопался под ногою дубовый паркет. Прописали Михайле самарские доктора пить всякие кислые воды и каждодневно делать моцион. Моционил Михайла на выгоне за гуменниками часа по три в день, ходил пешком туда и обратно на реку Сок — до своей вальцовочной мельницы. Не убавилось дикое мясо, росло опарой в квашне. Гирь не стало хватать на мельнице, чтобы показать Михайлин живой вес.

А дочь Клавдия кончила гимназию. Поехал Михайла в Москву определять дочь на женские высшие курсы и зашел к московским докторам-профессорам. Доктора-профессора московские прописали Михайле Оглоблину заграницу: послали на курорт с чудным названием Баден-Баден. С той поры занялся Михайла своей толстой болезнью всурьез. С той поры каждое лето большекаменский мордвин и второй гильдии купец Михайла Ксенофонтович Оглоблин ездил в Баден-Баден, купался в каких-то шипучих ваннах, пил всякие заграничные воды, кушал в заграничных ресторанах — по заграничным прейскурантам. Только деньги были русские: каменские. Мошна тощала, а толстота росла. Зимой занимался Михайла спортом: бегал на рысаках вперегонки с помещиком Грязновым. Но обогнать помещика не мог. И тут мешало дикое мясо: сядет Михайла в беговые санки, и гнется железный тонкий полоз, врезается в снег до земли. Двойное от собственного тела огорчение — туша в целый воз: ни полечиться, ни позабавиться. И новая большая забота: достать рысака самонаилучшего, объехать помещика! Не только Михайла, вся Каменка по праздникам была в этом деле заинтересована. Учительница Тихонова по праздникам показывала в школе волшебный фонарь с туманными картинками, но в школе не уместиться всей Каменке. Даже из счастливчиков, кому в общей давке удастся протиснуться в помещение, далеко не всякий увидит туманные картинки: кто ростом мал, ничего кроме тулупных воротников да бараньих малахаев, не увидит. А тут на виду, на самой широкой Передней улице, Михайла с Грязновым бесятся. Смотри, кто хочешь, — даровой, как мордва говорит, тиатур.

Мельницу Михайла забыл, бакалейно-галантерейный магазин — тоже. Не до магазина, не до мельницы — с такой болезнью да с такими огорчениями! Но магазин торговал бойко и мельница работала шибко: вся округа молола муку на оглоблинских вальцах.

В магазине и на мельнице орудовала Михайлина вторая молодая русская жена, Ксения Ивановна — женщина худенькая, но хозяйственная (первая жена, мордовка, умерла еще в старой избе, оставив дочь Клавдию десятилетней). Детей от второй жены у Михайлы не было, всю неизрасходованную энергию женской души Ксения Ивановна вкладывала в хозяйство. Михайла пух, сырел и ездил в Баден-Баден, а Ксения Ивановна без докторов, вся в едучей муке, как березка, взятая помохой, сохла и скрипела в Каменке. Без докторов и померла от скоротечной чахотки. Один остался Михайла в большущем и высоком доме глаголем, — дочь Клавдия в Москве была на высших курсах.

Задушила бы Михайлу жизнь богатая, мясо дикое, если бы не стряслась революция. Растащили мельницу вальцовочную на десять сел: все ведь гарнец платили одинаковый! Опоздавшим мужикам пришлось крышу растаскивать, а стены совсем даже пришлось оставить.

Михайлу хватил первый удар. Слег Михайла и лежал один в большущем и высоком доме, пока не приехала дочь Клавдия, «уволенная» с московских высших курсов как непролетарский элемент. Дочь Клавдия приехала молодая, изможденная и возмущенная большевистской властью, а Михайла безучастно глядел немигающим левым глазом, как описывают и учитывают его купецкое добро.

Вместе с уплывшим добром сплывало с Михайлы дикое мясо. Время шло. Революция заставляла думать, о чем давно Михайла позабыл: о хлебе насущном. Дочь эсерством увлекается, ей некогда заниматься домашностью. Взялся Михайла за землю. Плохо кормила земля — отвык от земли купец второй гильдии Оглоблин. Отощал Михайла, отощал Михайлин рысистый жеребец.

Архипов, у которого тоже все отобрали, на что-то надеялся. Когда чехи на Поволжье приходили, Михайла смирненько сидел в большущем и высоком доме глаголем, Архипов же ходил по дворам и отбирал у каменских мужиков свое добро. Когда чехи с Поволжья уходили, Михайла все так же сидел в большущем и высоком доме. Архипов же вместе с чехами подался в Сибирь. Только в двадцатом году вернулся Архипов и сразу же предложил Михайле торговлей заняться на паях.

Не любил Михайла паевого дела: привык в одиночку и богатеть и разоряться. Ответил Архипову:

— Нет!

А когда объявили нэп, задумался Михайла крепко и под осень двадцать первого года пахать не стал.

Всю зиму многодумно сидел Михайла в своем доме, искоса посматривал на дочь Кланю и неодобрительно молчал — что-то не узнать стало Михайле дочь свою: вступила Клавдия в культкомиссию, в поповском доме организовала детский сад, сама в этом саду — бесплатной руководительницей. Что-то не узнать стало Михайле дочь свою.

Так жили до весны.

Весной, будто от спячки, проснулся Михайла: каждодень возьмет счеты, все что-то высчитывает, все что-то записывает. И на дочь все пристальнее посматривает. Иной раз нет-нет да и скажет:

— Кланя, зачем тебе этот детский сад?

— Надо же что-нибудь делать, папа!

— Делать-то надо... Сам об этом думаю. Только зачем тебе этот детский сад?

Промолчит Клавдия и спешит из дома. Неловко дочери говорить об этом с отцом. Да и как она может сказать отцу, что изменилась его дочь, что почуяла она новую большую правду и горит желанием жить и работать по-новому.

Так жили отец и дочь в разных концах большущего и высокого дома, встречаясь только за едой в просторной столовой посредине дома. Обедают молча. Только однажды сказал Михайла:

— Кланя, нэпа пошла всурьез, видать!

— Да, папа, всерьез и надолго.

Помолчали.

— Кланя, надумал я торговлю открыть...

— Ваше дело, папа...

— А ты как об этом?

Промолчала Клавдия, в детский сад ушла.

Над парадным появилась вывеска:

ТОРГОВЛЯ РАЗНЫМИ ТОВАРАМИ
БЫВ. КУ. ОГЛОБЛИНА

Так жили отец и дочь в разных концах большущего и высокого дома еще год. Палисад совсем запустел, оградка совсем повалилась, дубовый паркет в дому выбился от сапог покупателей. Всегда запертое парадное теперь всегда настежь: лавка Михайлы росла. Правая сторона дома заполнялась товарами — от астраханской воблы до

шинованного стана колес. Михайла стал подвижнее и заботнее. В город чаще стал наезжать, стали чаще из города наезжать к нему старые торговые знакомые. В одну такую поездку привез Михайла из города кассовую машину, поставил в столовой, сдул дорожную пыль, бережно тряпкой обтер.

— Кланя, смотри-ка, привез чего! По дешевке, по случаю. Хороша штука?

— Да, папа...

— Штука нужная, дочка! Трудно по теперешним временам: каждую копейку приходится учитывать.

— Да, папа...

— Ненадежны обои приказчики: чую — воруют. Трудно одному мне, вертится колесо вхолостую.

— Теперь машинка будет контролировать, папа!

Помолчал Михайла и сказал, не глядя на дочь:

— Машинка человека требовает.

Клавдия молчала, будто не понимая, только глаза чаще заморгали.

— Трудно подыматься по теперешним временам... — повторил Михайла.

Молчание, только ложка не так об тарелку звякнула.

— Может быть, дочка, детский-то сад можно теперь и оставить нам? — прямо спросил Михайла и взглянул на дочь.

Клавдия потупилась, и стул под нею охнул, отодвигаясь от стола.

— Садись-ка, дочка, за машину в магазей. А?

Клавдия поднялась:

— Папа!... Больше есть не хочу. Сегодня детское утро в нардоме: спешу я...

Кончился обед на пол-обеде. Сидит Михайла один за столом, молча уставившись в пол.

Долго не приходилось после этого разговаривать. Михайла в рот воды набрал: искоса посматривал на дочь и упорно ждал, когда она одумается. А Клавдия, увлеченная работой в детском саду и народном доме, совсем забыла о разговоре с отцом.

Только однажды Клавдия, веселая и улыбающаяся, сама заговорила с отцом, назвав его, как в детстве:

— Тятя! Меня утвердили в уезде руководительницей детского сада и в штат зачислили.

— Твое дело, дочка! — сердито колыхнулся Михайла.

— Ты сердишься, тятя! А у меня к тебе просьба есть большая.

— Говори.

— В здешнем комсомоле много народу стало...

— Их дело, дочка! Это нас не касаемо, — перебил Михайла.

— Нет, касается, тятя! Ты выслушай. В поповском доме помещаются и партячейка и комсомольская организация, а мне и одной там тесно с детьми...

— Твое дело, дочка! — снова перебил Михайла. — Я с магазеем замаялся, от родных детей помоги не вижу...

Теперь уж Клавдия нетерпеливо перебила отца, изменившись в голосе:

— Папа! Мы уже говорили об этом. Я прошу вас совсем о другом: нельзя ли мои комнаты отдать под клуб комсомолу, чтобы...

Михайла встал, тяжело оперся на стол и посмотрел на дочь строгим и долгим отцовским взглядом:

— Чтобы они смеялись надо мной в моем же доме! Чем заслужил такое?

— Папа, как вам не стыдно так говорить? Никто над вами не смеется. Я говорю с вами серьезно, по-деловому: иного выхода нет.

Потупился Михайла под горящим взором дочери и заговорил дрожащим голосом:

— Кланя! Как это тебе в голову могло прийти? Думаешь, отец молчит, так тебе все можно. Ты знаешь: не супротивник я. Тебе это лучше знать: было время, когда ты сама сбивала меня против них. Вспомни! Пущай их делают, что делают, но в своем доме не хочу их видеть. Не могу! Ты знаешь мой характер и болезню мою знаешь, — Михайла осел весь и вдруг застучал кулаком по столу: — Не сметь! Думать не моги! Как отец тебе приказываю!

— Что вы кричите, папа! Ведь я знаю, вам все равно бумагу принесут из волисполкома...

— Что?! — захрипел Михайла. — Вон из моего дома с такими словами! Добивать отца? Я тебя поил-кормил, я тебя спасал от них, на поруки тебя взял, а ты на шею мне хочешь их накачать, ты мне бумагой советской грозишь? За большевиками начала бегать! Забыла, кем была? Вон из моего... мое... мого...

Клавдия опрометью выбежала из дома, задыхаясь от рвущихся рыданий. Слезы застлали глаза, она бежала, не помня себя от обиды, очнулась на площади. К волисполкому валил народ.

А дома приказчик, прибежавший на крик, еле успел подхватить Оглоблина под мышки, Михайлу хватил второй удар.

С порога Клавдия увидела Санька за столом и, вспыхнув и оробев, остановилась в нерешительности. Ее тут же окружили бабы с расспросами о детском саде, о своих ребятишках.

Мужики сыпались через порог кучами, крутились и мялись у дверей: кто постарше да побородатее, оседали тут же на полу, а молодые пробирались к столу поближе.

Мордовско-русский говор переплетался вокруг Санька. Говорят русские:

— Который Санек-то? Покажь!

— Этот?

— Ну-ка, я на него погляжу. О, какой большина-то!

— Это Степановнин старший сынишка?

— Об чем будет баять-то? Об налоге?

То же самое говорит мордва:

— Косо Санькась?

— Вана те?

— Ну-ка, мон ванан. Вай, кодамо покш!

— Те Степановнань цёрынесь?

— Мезде карми кортамо? Налог-да?

К столу пробирается дядя Кормилай:

— Санек, здорово! На улице не узнал бы... А меня-то понишь, чай? Кормилай я, рыбак природный...

— Как же не помнить, дядя Кармилай? Под монастырем ночью на затоне сидели. Я еще тогда ершей за сомов принял: больно клев у них....

— Да, ерши, брат, народ зубастый. Как большевики все равно. Тоже, поди, большевик?

— Он самый, дядя Кормилай.

— То-то. Нынче все молодые этой партией заражены.

— Не только молодые. А Митрич?

— Ну, Митрич отпетай. Об этом чего говорить.

— А я и тебя хочу записать в партию, — смеется Санек.

— Шалишь, брат! Я не сом, чтобы самому идти на крюк. Задунем, что ли, на рыбалку-то?

Мужики напирают к столу. Подслеповатый мордвин, Иван Яраскин, теребит Санька за рукав:

— Санек, варака саинзат! Тон, што ли? Косто истя? Мекс сыть?[1]

— В отпуск, дядя Иван!

— В отпуск. Дела хороши. А жалованье идет тебе за отпуск?

— Идет: двадцать рублей — стипендия.

— Эх, аля! Што мало?

[1] Санек, ворона тебя возьми! Ты, что ли? Откуда? Зачем приехал?

— Сколько мама дала, — смеется Санек.

— Ну, тон од алясь![1]

Шумит правление, подваливает народ. Митрич молодо суетится вокруг стола. Бабы кричат:

— Зачинай, Митрич, чего гузну трешь?

Митрич застучал батогом по столу:

— Мужики!

— Не все мужики, есть и бабы.

— Валяй! Чего их слушать-то — балаболки! — раздается сердитый окрик с пола — от порога.

— А ты чего кричишь? Ты коммунист, что ли? С кех пор? — набрасываются бабы.

— А я што, разве не в Расеи живу? Ежели ачейка, то я тем больше согласен, — не унимался сердитый мужик.

— А где твой билет? Покажь!

— Где? На гвозде!

Хохот.

Митрич стучит батогом:

— Товарищи! Открытое собрание нашей большекаменской ячейки большевиков-коммунистов объявляю открытым. Значит, можете вы сидеть здесь как гости. Милости просим! — низко поклонился Митрич собранию. — Но только наблюдайте тишину, потому — вопрос важный, а мы все народ занятой.

— Правильно: Митрич и во сне работает, — засмеялся кто-то сзади.

— Значит, товарищи, доклад всем вам известного Санька начинается. Обскажи, сынок! — подтолкнул Митрич Санька, снял батог со стола и сел в кресло, намереваясь вздремнуть.

Санек в ударе: выступление перед своими сельчанами, выступление в своей ячейке! Три часа говорил Санек. И мужики слушали. И мужики слушали не за страх (кого бояться — свой, чай, нашенский). Зная жизнь мужика и с лица и с нанички, говорил Санек такие слова, приводил такие примеры, что они сами лезли в уши. Сложные вопросы политики — в ярких образах, в знакомых сравнениях — становились понятными каждому неграмотному мордвину. Муху слышно, когда говорил. А кончил — глубокий вздох вырвался разом у очнувшихся слушателей. И снова тишина. И только немного спустя потек неясный гул, отдельные громкие выкрики, а потом и гвалт всеобщий:

— Ой, говорок!

— Ай, аля, пек корты Санькась![2]

[1] Ну, ты парень молодой.

[2] Эх ты, больно хорошо говорит Санек!

Одну волну криков смывает другая:

— Подгоняют под камуну, как пить дать.

— Больно уж что-то складно выходит у него.

Сталкиваются волны криков, мятутся крикливые гребни.

— Складно да правильно.

— Молоток парняга!

— Пустобрёх!

— Весе кенгели![1]

— Вон вить как могут человеку язык разработать: вертится без задеву!

Митрич весело батожком стучит по столу:

— Тишша! Теперь, товарищи, задавайте вопросы: кому что неясно и желательно.

— Чего там!

— Какой жевкой накормил!

Все, как на диковину, смотрят на Санька.

Встал дед Силуян Иваныч, в самом переду сидел, руку все время к уху — лодочкой.

— Ублаготворил ты нас, семь грехов с половиной. Спасибо тебе, сынок! От всего мира спасибо, вот что я хочу сказать. Первый раз такие речи слышу, семь грехов с половиной. Помягче, значит, стали забирать, повольготнее с мужиком-то, коммунисты-то? Тут они в точку попали: прозорливцы, семь грехов... Умный народ! Самый умный народ из партиев. Вот что я хотел сказать, семь грехов... И к богу еще возродятся, вот попомните мое слово. Спокаются, семь грехов с половиной!

Силуян Иванович перекрестился на Ленина и сел.

Мужики молчали. Бывшие солдаты и партизаны хмурились и косили в сторону Панка. Панок часто и нервно покашливал, теребя реденькую бородку. Санек отирал пот.

— Чего же вы молчите? Вот Силуян Иваныч первый начал прения. Помоложе кто не хочет ли высказать? Солдаты, кройте Санька, а он вас покроет! — подзадоривает Митрич.

Молчат солдаты: и партийные и беспартийные.

— А можно мне? — послышалось сзади.

— Всем можно. Кто ты?

Шепоток потек:

— Архипов, Архипов пришел...

Говорит Митрич:

— Ну что же, ежели попали сюда. Не в совет выбираем: права голоса здесь не лишаетесь.

[1] Все врет!

— Хотел я сказать всего немного слов...

— Идите наперед, гражданин Архипов!

Мужики поспешно раздвигались, давая дорогу Архипову, и молча ждали, пока тот, не дойдя до стола, остановится среди мужиков.

— Вам чудно, поди, видеть меня здесь: буржуй. А мне сдается, пора бы теперь забыть старое. Время теперь настало мирное, а не военное, и должна промежду нас всех царствовать не злоба, а любовь.

— Правильно, Илья Максимович! Золотые твои слова. — Софрон даже встал и перебил Архипова: — А то читаю газету — ругня одна: социял-предатели, заграничные акулы, агенты французской буржуазии... Со всем светом в газетах ругаются, не уймутся никак. К чему это? Черт с ней да и с буржуазией! У нас ее нет.

Стучит Митрич батогом:

— Софрон, чего завел машину? Не наговорился за эти годы? Тебе слова не дадено. Продолжайте, гражданин Архипов!

— Справедливые слова Софрона Ивановича. Он хорошо сказал: у нас нет буржуазии. А за границей... Пусть их бесются. Не наше дело. До бога высоко, до границы далеко. Про себя опять же скажу: богатство — вода, притекла и убегла. Был я буржуй. Был, да сплыл. Теперь я со всеми под одно, такой же надел мне оставили, такие же музлы на руках.

— Кажи руки! — прервал его Панок.

Засмеялось собрание.

— Дело не в руках, товарищ... — сконфузился Архипов.

— Тогда и не разоряйся, зубы у нас не болят.

Митрич остановил Панка:

— Как тебе не стыдно, Алексей Иваныч!

— Да чего он разжалобился. Каркадил!

— Я могу и прекратить, товарищи, если не желаете выслушать.

— Желаем, желаем.

— Дуй до горы!

— Я благодарю Потапа Митрича, что он дал мне разрешение высказаться на вашем собрании, и попрошу, чтобы меня не перебивали. Теперь и большевики поняли, что нужно сотрудничество всей нашей Расеи. На это мы согласны, и такие доклады, как приехавшего к нам уважаемого Александра Петровича, надо устраивать почаще. И этот нэп, который давно уже процветает в городу, не мешало бы и нам поскорее в деревню.

— Знамо. Что деревня, хуже города, што ли? Всегда мужику достаются охвостья. Раз нэпа, так нэпа, кажи ее

в деревню. А то объявили одну свободную торговлю, и вот тебе и весь парагр. Нет, свободной торговлей не отделаешься. Давай мануфактур, давай машин, давай заем из казны!

— Софрон, заткнись. Вот буржуйский припевало!

Сзади начался ропот:

— Чего ему затыкаться? Правильно бает.

— Раз нэпа, то свобода каждому высказывать.

— Рази мы не знаем, что от партии приказ вышел, чтобы в коммунисты принимать на сходах — по решению общества?

— Теперь не заткнете нам глотку. И беспартийный теперь человек, и мужик теперь стал середняком.

— Раз партия народная, то и надо народа слушаться.

Загалдело собрание. Архипов бороду отглаживает и мужиков как будто останавливает:

— Это вы напрасно, товарищи! Коммунисты — политическая партия, и они вольны сами разрешать свои дела. И ежели они теперь приглашают нас к себе, это вольная их воля: значит, хотят они теперь для народа работать на виду, а не за занавесками.

— Да разве мы говорим что? Мы не супротив. Пусть будет партия, но чтобы и дело было.

— Да разве мы не понимаем, всамделе...

— Я знаю, товарищи, что все вы понимаете, и поэтому должны мы коммунистов наших во всем благодарить.

— Благодарим!

— За свободную торговлю спасибо.

— И за разверстку тоже: что отменили, то есть!

— Но только мне бы хотелось сказать, чтобы эта новая экономическая политика посправдам проводилась на местах, в каждом селе и в каждой глухой деревушке, — продолжал Архипов. — А то ведь бывает так: на словах одно, а на деле по-прежнему прижим и никакого к рачительному хозяину внимания. А вы дайте подняться на ноги, а потом спрашивайте налог и все прочее. Разве мы отказчики? А то бывает, к примеру, так: взял бы, к примеру, хозяин свое бывшее заведение в аренду, наладил бы все честь-честью, а ему не дают, ему отказывают. Разве это, товарищи, справедливо? Разве это новая экономическая, что заведения попадают в неопытные руки?

Минутку помолчало собрание, огорошенное таким вопросом. А потом взметнулся такой гул — береги уши! Артельники даже на скамьи повскакали.

— Ага, ты вон куда?!

— Ты все о лесопилке своей не забыл!

— Вон ты зачем приветствовать-то вздумал!

— Вон тебе какая нэпа нужна!

— Гнать его в шею, — лиса патрикеевна!

— Знаем тебя: дашь ломоть да заставишь неделю молоть.

Кричит Санек:

— Товарищи, успокойтесь! Я в конце отвечу ему как надо. Дайте ему кончить. Он сам себя высечет.

Мужики слушать ничего не хотели. Архипов пробовал продолжать, но шум ломил потолки.

Архипов махнул рукой и быстро растаял сзади.

К столу выметнулся разъяренный Панок:

— Вот вам! Вот он, нэп-то хваленый, как вылитый в этой личности. Радуйтесь! По вашей программе жарит. А завтра он в партию к вам попросится, и вы его примете. Как же: живая сила Расеи! А проторьят, он не живой, на него наплевать. Он полумертвый, весь избитый, израненный на всех фронтах. На него наплевать! Где же глаза, ум и сердце у тех, кто пишет новые законы? Не знают они деревни, не знают, чем она дышит, пролившая море за революцию проторизации нашей эпохи. Разрешили спекуляцию, разрешили аренду земли, разрешили наем эксплуатации: кодек земляной написали. Это, мол, все подходит бедноте. Нет, этот нэп подходит к нам, как корове седло. Все вверх турманом пошло, и ничего нам от завоеванных фронтов не остается. Дураки мы с вами!

— Правильно...

— Нашими руками жар загребают.

— За что только боролись?!

— За нэп вы боролись, солдаты! За Архипова вы боролись. Да если бы я знал, что к тому придет, ноги бы моей не было ни в председателях Советской власти, ни на фронте. Хорошо устраивать нэп на готовеньком! А спросили тех, кто все это завоевал? Не спросили. Забыли спросить. Ну, и пускай якшаются с буржуями! А нам здесь делать нечего. Моя резолюция, товарищи, против нэпа. Моя резолюция за проторизацию нашей эпохи. Я знаю, скажут — апазиция. Ну, и пускай! Как был я солдат мировой революции, так и буду теперь пролетарская апазиция. Я не боюсь! Пускай один на всем свете останусь, а не примет моя душа: тошнит и блевать мне хочется от этого нэпа. Да здравствует мировая революция и проторизация! Долой обрастание нэпом!..

— Долой!

— Знамо, долой!

— Собирали нас. Улещают нас, как маленьких ребятишек.

— Разве мы не чуем, куда это гнет!

Кричат солдаты, бывшие партизаны — склубились

вкруг захлебнувшегося в кашле и дергающегося, как зарезанная курица, Панка.

Бабы о чем-то своем закричали.

Стучит Митрич батогом:

— Бесстыдники! «Разве мы не чуем, куда гнут». Кто вас гнет? Куда вас гнут? Скажите прямо, кто больно всезнающий. Продразверстка для вас лучше? Черти! Панка за такие слова на горькой осине повесить мало. Эх ты голова-шабала! Путаешь, ровно кашу в лапти обуваешь.

— Вешайте, исключайте из ячейки! Все равно петля захлестнута.

Панок рванулся к двери.

Санек за ним:

— Дядя Панок! Что вы делаете? Это же дезорганизация! Вы честный и заслуженный человек. Вы меня учили, как надо бороться, так выслушайте же меня. Вы же не понимаете теперешнего положения!

За Панком вышли бывшие партизаны, но большинство из них толпилось на крыльце, слушая в открытую дверь заключительное слово Санька.

Даже и тот, кто никогда ничего не пел, невольно разевал рот и подтягивал на церковный мотив «Интернационал», который хором запели те же самые партизаны после доклада Санька. Когда кончилось пение, Митрич сказал:

— Теперь, товарищи, у нас остались свои дела. Ячеишные. Желающие послушать могут остаться.

Много мужиков и молодежи осталось. Осталась и Клавдия. Как завороженная, она смотрела на Санька.

Вот тут-то и получилась история! Санек, упоенный успехом собрания, заговорил о том, что пора коммунистам, состоящим в артели, начать работу по «обобществлению имущества и потребления». Первым взъерепенился безрукий Барбин:

— Это что же за такое? Камуна?

— А если даже и так? Ведь мы же коммунисты? — удивился Санек.

— Не желаю! Спишите меня из коммунистов, спишите из артели, а камуну не желаю.

Все время молчавший Сергей Палыч тоже сказал:

— Об камуне мы не соглашались. Это надо обдумать, да обдумать каждому особо.

— Чего же думать-то? Вот чудаки!

— Молод ты еще брать нас на дурочку! — озлобленно закричал Барбин.

Посыпались крики:

— Выписывай!

— Тут работаешь, как лошадь, а приезжают не знай кто, не знай отколь, и артель ломают.

Дело запахло скандалом: на людях, на глазах у всей Каменки готовы разодраться коммунисты. Вмешался Митрич:

— Зря вы, товарищи! Никто артели нашей не ломает. И никакой другой коммуны пока что нам не требовается. И никакого такого вопроса у нас на повестке не стоит. У нас был информационный доклад о текущем моменте, доклад нашего односельца, приехавшего из Москвы. Чего вы взбеленились-то? Раз не доросли мы до коммуны, так и разговаривать покуда нечего. Какие еще мы коммунисты? Кто утвердит нашу коммуну? Кому мы нужны такие? Надо сперва на работе себя показать. А потом посмотрим.

— Потом — это дело другое.

— Чего будет потом — мы не знаем.

— Нельзя же нас с бухты-барахты под камуну подгонять! А може, кто не хочет?

— А може, все не хотим. А може, все захотим. Наше дело!

— Правильно, товарищи! — продолжал Митрич. — Нельзя приневолить. Он, ведь и не приневоливает вас. Только разговор этот не во благовремени. У нас сейчас в артели работа горячая. Вот подойдет осень, делать будет нечего, тогда и покумекаем.

— Осенью, знамо.

— Осенью куда вольготне.

— Ну вот, все вопросы, слава богу, кончились. Собрание закрывается.

Санек сидел, как рак, и кусал губы, а когда разошлись все, Митрич хлопнул его по плечу:

— Молоток! Горячий только маненько. На комсомол бы наш тебя натравить: там дела больно плохи. Это было бы для тебя как раз вмазь! Ну, ладно, пустяки: обмешулочка вышла.

— Да я не мог думать, что так выйдет.

— О, тут только скажи — коммуна, как воробьи, разлетятся. Страшных слов не говори.

— Неужели так напуганы?

— Есть маненько. Больно много болтали об этом в прошлые года ораторы разные. Тебя не было, ты и не знаешь. Ну ладно, грех да беда с кем не живет. Иди-ка лучше прогуляйся, упрел ты, парень! Вечер-то какой, дух-то над Каменкой черемуховый. В Москве, поди, этого не бывает? Вон, смотри, Клавдея Михайловна скучает одна: прогуляй ее. Вишь, смотрит, а подойти боится.

Митрич заковылял к Чихан-горе, а Санек подошел к кучке баб на правленском крыльце. Сидели, калякали,

грызли семечки, Санек отвечал на разные вопросы женщин, а думал об одной:

«Какое у нее хорошее лицо: будто светится»...

Кому корову доить, кому детей кормить — разошлись бабы по одной, остались на крыльце Санек с Клавдией, и оба почувствовали неловкость, одновременно сошли с крыльца.

— Как хорошо говорили вы на собрании!

— Практика, — чуть-чуть рисуясь, ответил польщенный Санек.

Направились к лесу. Говорить не хотелось. Санек устал, а Клавдия — вся под впечатлением его речи. Перекидывались отдельными словами. А в лесу совсем замолчали. В лесу тишина и — прямо горькая духота от цветущей черемухи. Белые черемуховые деревья идут по сторонам узкой лесной тропинки в обнимку с темными скупо распускающимися дубами.

Молчали, и от этого было неловко и хорошо.

Вдруг под ногой Клавдии жестко зашуршала сухая листва, Клавдия шарахнулась и всей грудью наскочила на Санька.

— Ай! — отбежала с криком.

— Что вы? Да это же еж ежович. Смотрите!

Клавдия робко приближалась к Саньку, нагнувшемуся над ежом; раздраженный еж подпрыгнул в воздухе и шаром покатился по шершавой листве — ей под ноги.

— Ай-ай-ай, не могу! — вскрикнула Клавдия и снова побежала.

Санек же нарочно раздражал ежа, пинками катил его за Клавдией, потом взял за иголки и перебросил через ее голову. Клавдия присела с испугу, а Санек на весь лес захохотал.

— Зачем обидели ежика? Ух вы, — бросила веткой в лицо Саньку и резко перескочила канаву.

«Какая она...» — радостно подумал Санек.

На залоге плыла гармошка в обнимку с хороводным «чихиком». За сердце схватила гармошка, родным заныла грудь, звали запевки девичьи — остановился Санек.

Не хочу я воду пить —
Вода луговая,
Не хочу тебя любить —
У тебе другая.

— Клавдия Михайловна, идемте в хоровод! — взял ее за руку.

— Сейчас? С вами? Не хочу!

— Почему?

— Потому что вам скучно со мной. Проводите меня домой.

Санек уговаривал идти в хоровод, нехотя упирался, но было приятно, когда Клавдина мягкая рука тянула его за собой. Так шли все время гумнами, пробуя мускульную силу своих рук.

— Сильная, — засмеялся Санек, с силой стиснул ее влажную руку и вывернул: вышло так, что другая рука сама обняла Клавдию.

— Больно! Что вы делаете? — застонала Клавдия. — Идите в хоровод! — и, выдернув руку, быстро пошла, не оглядываясь.

— Клавдия Михайловна! — закричал, догоняя ее: — Простите, если больно сделал. Я, право же...

Санек злился на свою несдержанность и не знал, что говорить.

Клавдия шла так же быстро и молчала.

— Ну, не сердитесь же!

Молчит. Санек идет, словно связанный неловкостью. А с лугов догоняет Пашкина частушка:

Проведены телефоны
К дому двухэтажному —
Как любить, как забывать,
Не жалаю каждому.

«Сейчас отстану — за амбар — и другим проулком...» — смущенно думал Санек. Амбары в соломенных шапках проплывали один за другим, а Санек все шел за Клавдией, как телок. «Ночь наступает, неудобно оставлять одну», — подыскал Санек оправдание своему нелепому положению и тут же вознегодовал на себя за ложь. Ясно, что она оскорбилась: больше не хочет видеть его. Значит, надо отстать, уйти. Но уйти что-то мешало, а дальше продолжать гнаться за нею — тоже... Главное, бежит и молчит. «Ну и пусть ее!» — обиделся Санек и приостановился. Снова пошел, понемногу отставая. Только хотел было завернуть за амбар, как Клавдия обернулась:

— Что же вы отстаете?

Санек быстро догнал ее, а она опять идет впереди, молча и не оглядываясь. Так незаметно они очутились перед большущим и высоким домом глаголем.

— Ну, я проводил вас. До свиданья, Клавдия Михайловна! Простите за причиненную неприятность, — остановился Санек у палисадника и повернулся идти.

— Не уходите! — вырвалось у Клавдии.

И как это в жизни бывает? Клавдия ли к Саньку, он ли к ней — только сплелись жадные руки в объятья, и губы слились в поцелуе. Изнемогающая, трепетала Клавдия в его объятьях.

— Уходите... Уходите. Да уходи же! Нельзя этого, нельзя... — рвалась из его объятий, рыдала, улыбалась.

И если ушел бы Санек в этот миг, кто знает, что сталось бы с Клавдией: такая тоска защемила вдруг ее одинокую душу, такой глухой, чужой и враждебной стеной поднялись вдруг воспоминания о прежней любви к Владику, и такая полноводная страсть рвала эту стену.

— Уходите, я вам говорю, — испуганно-сердито вскрикнула Клавдия и рванулась, рыдающая, из его объятий. И тут же подумала: «Уйдет... Уходит. Презирает. «Ярая эсерка...»

Но Санек не ушел: взял Клавдию за руки, бережно подвел к веранде и усадил на крыльцо. От этой человеческой ласки высохли слезы на глазах, и Клавдия благодарно улыбнулась.

Так долго сидели на нижней ступени: Клавдина голова на Саньковом плече.

Умолк хоровод на залоге. Прогорланил петух.

— Ну, я пойду, Клавдия! Поцелуйте меня напоследок сами.

Клавдия обвила шею Санька и припала к нему долгим поцелуем:

— Иди. Ты хороший.

Санек сначала медленно-медленно, потом очень быстро отшагнул к калитке палисадника — и остановился. Клавдия, отвернувшись, низко склонив голову, стояла на крыльце.

— Клавдя!

Она резко, всем корпусом, обернулась на зов, раскрыла руки — схватила подбежавшего Санька, прижалась к нему всем телом — таким легким, показалось Саньку, когда он поднял ее и понес.

— Глупый... Милый... Почему же я первая прочитала твое письмо? Это случайно .или... Санек! — смеялась Клавдия и гладила его лицо.

— Кланя!.. — бережно, как ношу хрупкую и дорогую, поднимал ее по ступеням крыльца на веранду.

И потом долго еще стоял Санек в ночи у пустой веранды большущего и высокого дома глаголем, где днями входят и выходят покупатели из лавки бывшего купца Оглоблина, где так быстро скрылась Клавдия — его нежданная и первая любовь.

Дома на поветях до зари смотрел Санек на хороводы звезд. И во сне не доклад делал на открытом собрании большекаменской ячейки, а будто целовал милое светящееся лицо. И снилось, будто было это в ту ночь, когда он мальчишкой вернулся с прогулки с Митричем и голодным лег на повети, чтобы не побила его мать. И как тогда в лесу, на архиповском хуторе, слышался смех во сне, и чей-то мягкий бас пел студенческую песню:

Быстры как волны...

ТУРБИНА

Реку Сок под самое горло подперла плотина. Раздувается, сердится Сок, на цыпочки встает, того и гляди — из берегов выхлестнет. У мельницы, словно с цепи сорвалась, бешено мчится вода по каменному стоку вниз. Но часто сваи преграждают путь, мельчат воду, заставляют долго толочься на месте, чтобы струя не хлынула сразу, не снесла и остатки бывшей оглоблинской вальцовочной мельницы.

Сердится Сок на частые преграды, бурлит и фыркает горячей пеной, трясет сваи. Но сваи стоят твердо: в старые времена вбивались — всю Каменку сгоняли сваи вбивать.

Гудит вода под мельницей — от ярости белая; стонет старый остов, будто трясет его тропическая лихорадка.

В таком шуме не слышно человеческого голоса.

Митрич кричит изо всех сил, чтобы товарищ Березин его услыхал. Товарищ Березин клонится ухом в Митричеву сторону — не слышно ничего. И Саньку ничего не слышно.

Втроем ходят, мельницу осматривают.

Внутри запустение: сита все растащены, ковши деревянные валяются, разломаны, пыли везде не на вершок, а на добрую четверть. Не разберешь, где что было: где лунки, где мучные ящики. Крыша снята на нет, подъемный мост ко второму этажу, где была засыпка, рухнул, пробраться туда нельзя. Крысы бродят жирные.

А снаружи все мчит вода без остановки под мельницу — под большое колесо с надломленным валом.

Стоит большое колесо недвижимо, словно громадное допотопное чудовище с перебитым хребтом. Обомшело все, иссиня-зеленое. Мох водяной космами с колеса спускается.

Зато рыба под колесом в этом шуме и грохоте клюет по-разбойничьи. Не успеешь насадку насаживать — каждый миг будь начеку. Только дяде Кормилаю впору под большим колесом рыбачить. Один-одинешенек сидит — никто не мешает. Зато уж и вывертывает рыбешку!

Не чудно ли было дяде Кормилаю вдруг увидеть живых людей в этом заповедном месте?

Не интересно ли Кормилаю посмотреть, что за люди под мельницей объявились?

Смотрит дядя Кормилай, как в пыли да грязи все трое вывозились, как пробуют сваи, заглядывают под колесо.

Хоть и клев ныне на отличку, забыл Кормилай про удочку.

— Кормилаю Ивановичу! Помнишь, на собрании уговорились порыбачить? Пришел, слово свое исполняю, — смеется Санек.

— Уж будто за этим?

— Ну, ясно... Дай-ка удочку!

— Удочку тебе с моим полным удовлетворением. Только скажи по совести, чего вы тут позабыли, зачем на мельницу-то заявились? Тут только лешие водятся.

— Ты, значит, тоже из лешьей породы?

— Да, пожалуй, что без очков не отличишь. Вся жизня, милок, на Соку. Думай!

— А сколько тебе годов, Кормилай Иваныч?

— Все мои. Ты мне зубы не заговаривай: они еще все у меня целехоньки, не можжали ни разу за семьдесят-то лет. Дело говори.

— Чего говорить-то, Кормилай Иваныч! Раз пришли, значит, не зря.

— Знамо, не зря. Еще бы! Народ вы практикованный. Али секреты какие, сказать нельзя?

— Хотим мельницу на ноги поставить.

— Час добрый! Давно бы надо. Артелью?

— Да.

— Дело, дело. Артелька у вас, как водится...

Митрич кричит Саньку с того берега:

— Эй, рыбака, гола собака! Айда скорее, дело есть в Каменке.

— Нет уж, Митрич, тютю! Дядя Кормилай меня не отпускает. Сома, говорит, такого поймаю — одному не вытащить.

Санек уже выхватил первого окунька.

— Кормилай, ты смотри за ним: утонет, чего доброго. Кто будет тогда секретарить? Ведь артель у нас во какая: гостей — со всех волостей. В газете про нашу артель написали.

— Ладно тебе, хвальбишка, медом не корми — дай про артель поговорить.

— У кого что: кто любит арбуз, а кто — соленый огурец. Есть такие, которые всю жизнь сидят на бережку, вроде ждут хорошей погодки, — отвечает Митрич на шутку шуткой.

— Езжай уж, нечиста сила! Баламут окаянный, угомону на тебя нет. Езжай, тебе говорят: вишь, городской товарищ торопится.

Товарищ Березин смеется:

— Сел бы и я с тобой, Санек...

— Айда, товарищ Березин!..

— Нет, брат, ты в отпуске, ты можешь. А мой отпуск нескоро. Плыть да быть к ночи в городе.

Дорогой Березин продолжал прерванный разговор:

— Место, Потап Митрич, нарочно для этого. Поставить там турбинку маленькую.

— Траты да траты — сколько их! А неизвестно, когда еще будет огонь. Да и будет ли?

— Огонь-то будет, если захотите. А если ждать — не скоро дождетесь: районная электростанция, если и будет строиться, то далеко отсюда.

Вслед за этим приехал в артель инженер, совсем молодой парень.

— Когда это ты выучиться успел? — спросил Митрич, подозрительно оглядывая приезжего.

— Разве долго, кто умеет! Мне уже двадцать четыре года.

— Охо! А мне только шестьдесят, да и то без году, — засмеялся Митрич.

Он решил хорошенько пощупать, что за фрукту прислали к нему из города.

— Ты, выходит, красный инженер называешься?

— Да.

— Так...

Помолчали. Митрич вдруг выпустил на губы заискивающую мужицкую улыбку, заюлил, предупредительно очистил место на лавке и льстиво залепетал, переходя с инженером на вы:

— Садитесь — гостем будете. Спецам мы завсегда рады. Трудная ваша работа! Нам, мужикам, не под стать.

Молодой инженер сел, не то польщенный, не то сконфуженный такой переменой в Митриче.

А тот продолжал:

— А как ваша мнения касательно коммунистов; большие они дураки али все-таки с грехом пополам можно с ними работать ученому человеку?

— Больно, да не очень! — засмеялся инженер.

— Как так?

— Да так. Я сам коммунист.

— Врешь! — отшатнулся Митрич, посмотрел в глаза смеющемуся инженеру и сам рассыпался сухим старческим смешком до слез. — Ах, екуня Ваня! Так бы и сказал, что, мол, не верблюд. А я-то, дурак, думал: выведу на свежую воду — чем человек дышит? Больно ты мне показался верхолезым.

— Ошиблись, товарищ!

— Обмишулился, сынок! У нас тут свой есть — на рабфаке учится в Москве. Да мы думали, он один такой на всю Есересе — из мужиков, вроде как белая ворона.

— У меня ведь к вам дело спешное, товарищ! Мне некогда.

— Что, больно загорелось? Ты, поди, приехал нащет того, об чем с Березиным баяли? Не знай как сказать — выйдет ли? Мы и так уж много на шею себе навязали: руду копаем, лесопилку держим, с трактором связались... Санек чего-то на заводике грязновском маракует: пущай его нацыкается. Опять же молочная база, случной пункт и так и далее. Правда, село наше большое, город целый. Но эту самую турбину нам, пожалуй, не огоревать: черед до нее не доходит. Без нее делов — захлебнешься.

— Вы сначала доклад мой послушайте. Может быть, ничего в этом и страшного-то нет.

— Послушать можно. Отчего не послушать. Только это всетки вроде как игрушка, а тут делов много.

— Какая же это игрушка! Неужели, по-вашему, и Ленин в игрушки играл, когда сказал, что социализм это есть Советская власть плюс...

— Да ладно, ладно тебе ерепениться. Что Ленин говорит, я хоть мало знаю, но чувствую. Не хуже твоего. Ты вот лучше чайком с дороги побалуйся, а я тем временем народ покличу. Хорошенько промочи глотку-то, крику много будет.

— Не страшно, не привыкать мне.

— А на месте-то был? Осматривал мельницу?

— А как же!

— А так же. Знаем мы вас: по книгам дошлые, а жизни в глаза не видали. Мало я вас перевидал на своем веку... Прямо с приезду надо было бы на мельницу заехать.

— Я так и сделал, товарищ!

— Ну то-то! Ладно, устроим вечерком собрание. А пока что наливай-ка себе чайку. Вот забелку бери, пей со сливками.

— Да я разучился уже пить со сливками, — смеется инженер, усаживаясь за стол.

— Учись сызнова... А вот и хозяйка пришла, дочка моя. Нюра, налей-ка молодому инженеру чайку, поухаживай за ним с дорожки.

До ночи рассказывал артели приехавший инженер о новом деле на Соку. Слушали молча: не то верили, не то так себе.

Кончил молодой инженер. Закурили мужики махорочку, крякнули и давай словами перекидываться:

— Ловко выходит, шут ее задави!

— Надо бы лучше, да некуда.

— Как сказку рассказал — оказия!

Помолчали.

Еще закурили. Еще крякнули.

— А есть где-нибудь на деле такая электричества по селам, али только по книгам? — осторожно осведомился Степан Сабес.

— А тебе не все равно? Чего рассусоливать попусту: не выйдет у нас такая заведения. Галахи мы! — оборвал его Барбин.

— Народ мы малопульный, келя! — вздохнул Иван Яраскин.

Молодой инженер заволновался, начал доказывать, что электрификация теперь обычная вещь, что богатства для этого не нужно никакого, нужна только воля и сознательность. Охрип.

Молчат. Видит Митрич — толку не будет. Холодные сидят мужики. Подзадоривает:

— Ну, как же, мужики? Дело говорите. Нарочно для этого приехал человек.

— Приехал — уедет. За это деньги получает, — ворчит Барбин.

— Чего вы человека гоните? А может, мы пожелаем? Обсудить надо, — послышались голоса демобилизованных красноармейцев.

— Обсуждайте!

Молчание.

— А эта электричества не подведет нас в камун, келя? — вздохнул опять Яраскин-мордвин.

— Это уж ваше дело — как хотите, так и живите. Моя задача только свет дать в избу и на сеновал, — улыбнулся инженер.

— То-то, чай. А это одно к одному касаемо или нет?

— Как это не касаемо? Это самое и есть! — снова ворвался Барбин.

Взметнулся гул.

— Дураки! Нашли кого слушать — Барбина. Чего он понимает, пустая балаболка! На кой вы сдались коммуне? Кто вас возьмет в коммуну-то, таких серебряных? Об этом подумали? Дело надо говорить. Ну, как ваша мнения об турбине?

— А ты сам-то как, кум? — спросил Сергей Палыч, все время молчавший.

— Да ведь как сказать, кум? Вроде как игрушки. А всетки можно покротывать[1].

[1] Попробовать.

— Ну, можно, так можно, попытка не пытка. Покротываем. Солдаты, а вы чего скажете?

— Чего говорить! Комиссию надо. На словах гоже, прикинуть надо, во сколько въедет.

Встал Митрич:

— Комиссия так комиссия. Решаем, значит? Только меня, товарищи, ослобоните: с лесопилкой у меня затор.

— А у меня с продналогом в совете кутерьма, — вторит Сергей Палыч. — Молодых давай в комиссию. Не вечно же им за нашей спиной. Санек завтра вернется из города, будет за председателя комиссии.

— А зачем его черт унес в город? Тут дела артельные, а он с этим барчуком связался. На поруки от артели хлопочет. На кой нам этот Стасик дался, барское отродье! Отца-то его чуть с шеи скачали из лесничества. Нет моего согласия, чтобы артелью за колчаковского прихвостня ручаться нам, — раскричался Барбин.

— Заткни глотку, Барба! Против всей артели хочешь переть? Раз решили — значит, надо. У нас об турбине вопрос на порядке дня, а не о барском Стасике. Выбирайте комиссию.

Сидит комиссия. И день, и два, и три сидит. Плантует. Лошадей ли ставить, чтоб крутили? Двигатель покупать? Али турбину ставить водяную там, где мельница? Доложила свой план комиссия артельному совету.

За турбину голоса в артельном совете клонятся, да только цифры пугают с непривычки: сама турбина денег стоит, да мельница, да двигатель; посчитать, так всю артель с потрохами продать — и то не вытянешь эдакой цифры. Призадумался крепко совет, затрещит карман артельный по-справдышному.

Молодой инженер горячится:

— Одного вы не учитываете, товарищи крестьяне: волю вашу. Она дороже всяких тысяч.

Митрич прерывает спокойно и раздумчиво:

— Воля тут ни к чему, воля — не солить. И на базар продавать не повезешь. Рад бы в рай, да грехи не пускают, так и воля наша.

— А с банком свяжись — не развяжешься. Не уплатил ссуду вовремя — полетит лесопилка к шаху-монаху. Какими трудами досталась! — подтверждает и Сергей Палыч.

Не понравилось мужикам, что больше про сознательность завел агитацию молодой инженер, а не про то, как и где бы денег взять. Разошлись мужики до завтрева.

А завтра отложили до послезавтра.

Покою не дает мужикам турбина. Сойдутся на бревнах перед Митричевой избой, — один разговор:

— Ну, как дурбина-то?..

— Самое святое дело: и вертится, и крутится.

— Слов нет...

Помолчат, а потом какой-нибудь серый голос:

— А все-таки чего-то боязно.

И сразу ему в ответ:

— Эх, скоко деньгов!

— В воду надо бросить деньги: в Сок.

— Обратно когда их со дна выловишь?

— Обратно где уж!

Крякают, умолкая. А с другого боку другие речи:

— Зато машина: ни нефти, ни дров.

— Открыл вершник, пусканул водичку, — вертится мельница, и свет по всей Каменке, как под светлое воскресенье.

— Воды много в Соку — бежит да бежит.

— Вода бесплатная — бежит да бежит.

Замолчат, задумаются, замечтаются мужики. Пока снова чье-либо сумнительное слово не нарушит тишину:

— Вода бежит, вода текет, да и денежки скорее всего потекут, как вода...

Три недели жил в Каменке молодой инженер, все решения артельного совета дожидался.

Решил совет артельный: принять это электрическое дело «в целом и в общем». А постройку турбины, в частности, пока что не делать, отложить до уборки урожая. Что рожь скажет, кормилица, так тому и быть. Ей — последнее слово.

Уехал молодой инженер ни с чем.

МОЛОДЕЖЬ

Пашке Баяновой нездоровится: давно было дело с побоями, но часто после этого болит левый бок, и Пашка целыми днями валяется в мазанке.

Отец Пашкин быком смотрит: жнитво подошло, работать некому, осыпается рожь.

— Забрякалась в холодок. Вставай сейчас же. Прибавлю, ежели мало. Шатущая!

Мать Пашкина за дочь-невесту заступается:

— Что ты, отец! Али не был молодым? Тебе ли покрывать таких фулиганов: весь свет пройди — не найдешь такого самарского горчишника. Сама пойду в милицию, сама подам на Махая, коли тебе не жалко дитя родное. Нака, Пашенька, выпей молочка парного. Яичко съешь всмяточку, доченька!

Молчит Пашка на ругань отца, молчит и на ласки матери.

Опустела Каменка. Зато на полях выросла целая орда.

Замелькали по золотому простору белые балаганы — полевые полотняные домики. Куда глаз хватит, бегут балаганы по полю, словно девушки в трепетных сорочках.

С утра и до ночи ныряют люди в ржах под припеком золотого, кипучего солнышка, мокрые от пота. Палит солнышко, пронзает спины раскаленными спицами лучей, гонит лучами — как бичами:

— Страда.

— Работай!

А ветер летний пахнет прохладной струйкой, словно родниковой водичкой окупнет и прошепчет ласково:

— Отдохни.

— Разогнись!

Некогда отдыхать. Нельзя разгибаться: с разгибом на жнитве замаешься еще пуще. И бежит ветерок от людей в дубравку, где с трепетом встретят его листья осинника, где у березок лица белые да веселые, а не такие черные, заботные, как у жнецов.

Опустела Каменка на долгие, на страдные недели.

Только иногда ввечеру растянется гармошка Алешки Горшка, звякнут чистые приумытые колокольчики, полыхнет по селу частушечный перебор — и потухнет, будто захлебнувшись. Только врежется вдруг в густое мычанье коров стальной песенный голос девичий, — врежется и плывет в одиночестве над гуменьями, и тает постепенно, как льдинка в тени. Да порой всплеснется у плетня смех девичий и тут же, словно спохватившись, стихнет.

Не идет в страду веселье. Дело не дело, стыдно в жнитво веселиться. Не принято в жнитво и на улицу выходить, хоть задохнись под душным пологом.

Пусто.

Ванька Корявый, рекесемский секретарь, с матерью и с младшим братишкою тоже выехали жать. Жнет Ванька, жадною горстью сжимает хрустящую рожь, а дума Ваньку сжимает в кулак:

«Почему Паша не показывается? Почему в комсомоле никто Ваньки не слушается? Почему все смеются над комсомолом? Почему взъелся Махай на Ваньку, а Ванька его боится?»

Расправляет по жниве соломенную опояску, со злостью нажимает коленом, завязывая большой сноп.

— Ни черта не боюсь я его! Припечатал бы гирей до смерти, даром что старше: в мужики метит. Но разве можно комсомольцу связываться с хулиганом! — ворчит Ванька вслух, изо всей силы нажимая коленом на сноп:

— Вяжись, черт!

Треснула опояска, разбрылялась рожь по загону. Злится Ванька.

— Ваня! Говорила ведь я тебе: вяжи снопы поменьше. Ну, когда такой прочахнет? А завтра бы надо на мельницу, муки — ни пылиночки.

Огрызается Ванька:

— Знаю, чай! Возьми грабли, сгребай осыпь-то... Говорил, надо мочить поясья.

— Да кому же, окромя тебя, мочить-то?

В завтрак Ванька не ест, ложится под телегу, руки под голову. Ноет спина от усталости, не разгибался целый уповод. А еще пуще ноет сердце Ванькино:

«Почему Паша не показывается?»...

Плывут облака легкими тенетцами. Ржет лошадь, стреноженная у межи. Стрекочут кузнечики.

«Почему никто Ваньки не слушается?»

Палит солнце вовсю, донимают мухи.

«Почему все смеются над комсомолом?»

И так вдруг стало грустно Ваньке — рекесемскому секретарю, — таким он почувствовал себя одиноким и обиженным — сказать нельзя. И полились из Ванькиных глаз слезы, теплые и безудержные, что летний дождь. Роют слезы белые борозды на черном и грязном лице. И в слезном тумане будто видит и не видит Ванька из-под телеги — будто идет и не идет к нему по жниве Санек:

— Эй, секретарь! Иди-ка на совет.

Решили Санек с Ванькой сегодня же собрать экстренное собрание комсомола. Ванька прямо с загона в Каменку ударился. Бегает по каменским курмышам, редкие из ребят дома: оставляет повестки старикам да старухам. Стучит Ванька в окно к Баяновым, а у самого сердце сильнее стучит: вдруг Пашка выйдет.

— Кто там? — доносится глухой голос из мазанки.

Ветром Ваньку через забор, в мазанку. Сразу в тень попал, споткнулся на каменном порожке — растянулся около коника, где лежала Пашка.

— Кто это? — привскочила испуганная Пашка и застонала.

— Я это, Паша, — обрадованно воскликнул Ванька, вскакивая с земляного пола.

— А-а-а... Разбудил, только что легла маненько отдохнуть; со жнитва пришла убираться, — соврала зачем-то Пашка...

— Где вы жнете-то?

— В Подчиненном.

— А мы в Зеленой дубраве.

Молчание. Глаз не сразу привыкает к темноте, а так хочется поскорее увидать!..

— Паша?
— Чего?
— Чего ты такая?
— Какая?
— Да такая какая-то...
— Ничего.

Равнодушный Пашкин голос вмиг охолодил парня.

— А хоровод помнишь, Паша? — робко напомнил о том, чего ему никогда не забыть, как первый раз поцеловались.

— Мало ли было хороводов?
— А вот тогда?
— Когда?
— Ну, тогда?
— Ну, когда тогда?
— Ну, тогда, когда... помнишь?

Дрожит голос у Ваньки, робеет Ванька, не находит слов: все слова, какие приготовился сказать Паше, исчезли, сгинули куда-то.

Молчание.

Лето. Темь. Постель. Навозный прелый запах из-под сарая.

Вдруг Ванька бросился к конику:

— Брось, што ли, Паша! С ума схожу...

— Ой! — жалобно простонала девушка, падая на больной бок.

— Паша, я чуть только дотронулся.
— Никак не дотрагивайся.
— Что уж это за недотрога такая!
— Эдакая.
— Другие, небось, бока ломают — и то ничего! — ревниво рассердился Ванька.
— Дурак! Ты тоже, на других глядя, хочешь? Уходи! С глаз!

Ванька снова приблизился к конику. Дразнили стоны девичьи, дразнила Пашкина неприкрытая грудь — в одной рубашке, дразнила белая, крепкая нога, мелькнувшая из-под одеялки. Лето. Темь. Постель. Сдернул одеялку, схватил за груди, впился губами в открытую шею, в нос, в подбородок, где попало. Нащупал ртом ее тугой, крепко стиснутый рот, зажал в долгом поцелуе, раздвигая неподатливые губы.

— Караул! — закричала Пашка, откинувши голову и вонзившись ногтями в Ванькину щеку.

— Что ты, дура, не ори! Не ори, дура. Дурочка моя, — шепчет Ванька, навалившись на барахтающуюся Пашку.

— Пожар...

Отскочил Ванька, будто укушенный криком: чудится ему — бегут люди со всех концов, заслыша страшный для деревни крик, вот-вот застанут его с Пашкой в мазанке.

А Пашка кричит:

— Что, взял? Облизнулся? Ишь, кочет какой... Типнула щеку-то, будешь знать вдругорядь...

Сердится Пашка или шутит? Може, просто играет с ним: привыкла с парнями баловаться.

— Ах ты, посарайница! — закричал Ванька и снова решительно двинул на Пашку.

— Пожа-а-а... Не подходи! Уходи, говорю. Дурашман! Не хочу силой. А по доброй воле и совсем не хочу. Секрета-арь. Нынче же всем скажу! В союз ваш пойду! Митричу пожалуюсь!

Как ременным кнутом, жгло и щелкало Ваньку каждое Пашкино слово, а угроза нажаловаться Митричу ушатом ледяной воды окатила...

— Пашенька... пожалуйста... не говори никому, зарез ведь мне. Пашенька, любя ведь я...

— Все вы любя... Лезете, как на кобылу.
— Пашенька, не скажешь?
— Ладно, отстань!
— Нет, ты скажи: не скажешь?
— Вот лопни мои глазыньки, скажу, если не перестанешь.

Пашка закрестилась, а Ванька забормотал боязливо:

— Перестал, перестал, перестал... Сейчас уйду, на фиг ты мне сдалась, спросить зашел: где Нюрка Митричева?

— А зачем тебе Нюрка? — вскинулась Пашка.
— Собрание у нас будет нынче вечером.
— Это в жнитво-то?
— Когда хочешь можно, раз экстренное. Санек будет докладывать об оздоровлении.
— Давно бы надо выгнать таких неумытых, как ты.
— Ты скажешь...
— Я бы сказала, была бы в членах. Из-за этого и не иду к вам: все вы ерники.
— Махай тебе лучше по сердцу?
— Дурак! — крикнула Пашка с надсадой и, сразу переменивши голос, сказала: — Вот Санек какой добрый да ласковый, не вам чета.
— Ничего: москвич, а не задается. Доклад, верно, сделает на ять.
— На что?
— А это с буквы взято, так говорят в городу активисты наши, — объяснил Ванька и подумал: «Простой штуки не понимает, а тоже кочевряжится. Сразу видать, беспартейщина».

— Так зачем же так говорить? Глупости, по-моему, — сказала Пашка и отвернулась, презрительно поджав губы.

Молчание.

— Пашенька, — снова приблизился Ванька.

— Уходи, духу чтобы не было!

— Уйду, уйду, не сердись.

— Когда уж говоришь, а все не уходишь, — засмеялась Пашка.

— Вот только напишу. Передай Нюрке — вы ведь с ней неразлучные.

Ванька открыл закрывшуюся за ним дверь мазанки и нарочно долго писал, сидя на земле и облокотясь на порог: больше глядел на полураздетую Пашку, чем на бумагу:

«Нюрка! Как придешь со жнитва, ночь-полночь, крой ко мне под сарай — собрание экстроважное. Никого с собой не бери, закрытое будет. Текущий порядок: доклад московского товарища, приезжего с рабфака, и те пе».

— Вот, передай обязательно. Распишись в получении.

— Убирайся ты, писарь лыковый! А ну-ка я почитаю, чего тут наворочал?

— Нельзя читать, не тебе адресат! — схватил Ванька записку, но нарочно не вырвал, поводя обнаженную Пашкину руку, как пойманную рыбу на крючке.

— Будя тебе представляться-то, — щелкнула Пашка Ванькину руку, и одеялка спала с сорочки.

Ванька впился глазами в Пашкину грудь и привалился к обнаженному плечу.

— Ну, ну — не больно близко. Забыл? — повела Пашка плечом и впилась в записку. — Чего же ты про Санька ничего не написал, об чем доклад будет?

— Чего же рассусоливать: доклад по текущему...

— А что это за тепе такое?

— Это не вашего ума секрет.

— Ах ты, ума палата! Да у меня в каждом пальчике ума-то больше, чем в твоей мякинной сельнице.

— Неужели? — засмеялся Ванька и снова обнял Пашку.

— Паша, складная же ты, черт, как все равно лампа.

Пашка обеими руками толкнула Ваньку за порог и с силой захлопнула дверь.

— Ой, ногу прищемила! Ой, больно, открой, христа ради — ногу вытащу.

— Иди без ноги! — смеется Пашка, сильнее надавливая на дверь.

Ванька, прихрамывая, шел по двору и думал вслух:

— Не дается, хоть ты что с ней!

Потом нахмурился и проскрежетал:

— Не сумел, дурак! Из рук упустил, Махай бы тут...

Ванька быстро повернулся и — обратно к мазанке, сначала рывком, потом тише, потом еще тише. Остановился. Подумал. Вынул записную книжку и занес: «Бросить поговорку на ять. Глупо».

К ночи ребята собрались под Ванькиным сараем.

Шумит молодежь в темноте, смачно позевывает с устатку, шуточками лениво перебрасывается:

— А, в доску свой, в горбыль лягавый! Здоров!

— Заходи, не ори.

— Ванька, загоняй их, чертей!

— Тпруся, тпруся.

Кричит из-под сарая проходящим по улице девкам:

— Девки, айдате сюда, мягонько на навозе-то. Ха-ха, они и в самом деле идут. Смотри! Куда вы? Не в ту калду лезете: у нас экстренное закрытое собрание.

— Да это Нюрка Митричева, не узнал? Нюрка, ты?

Вокруг Нюрки смех, возня и визги.

— Одна ты у нас, Нюрашенька, разъединственная. На развод держим.

— Зря держим, се равно не объягнится.

— Пашку бы втянуть, вот была бы комсомолица.

— Пашка с норовом...

— Пашка сразу бы всех девок сагитнула, а ты раззява. Даром што отец — Митрич.

— А сами много сагитировали? Молчали бы! — огрызается Нюрка.

Всю ночь говорил Санек с молодежью, всю ночь слушала молодежь. Крыл Санек, не стесняясь: всем досталось на орехи! А Ваньку — секретаря рекесемского — в пот вогнал, хотя ночь выпала прохладная. Хорошо, что в темноте лица не видать.

— На вечерке ли, в хороводе, на свадьбе — всюду комсомолец должен идти, везде вести свою работу. Не запираться в клубе, не брезговать молодежью...

— Не наше дело ходить по вечеркам, — не вытерпел Ванька.

— А то не ходишь? — засмеялась Нюрка.

Крики посыпались, как горох:

— А кто в хороводах на драку лезет?

— А из-за кого Пашку побили?

— А кто гирьку носит в кармане на Махая?

Сергунька Наумов остановил кричащих и взял у Санька слово. Ученее всех Сергунька: семилетку кончил. Сергунька подошел со стороны тиритической, он беспрестанно повторял из газет, урезонивая Ваньку.

— Вечерка — место разоблачения быта, голова садова! Вечерка — место...

— Вечерка — буржуазный предрассудок! — оборвал его Ванька тоже из газеты.

— Заткнись! — кричат на Ваньку.

— Пусть поговорит, али жалко?

— Чего зря пустобрешит, заря на дворе.

— Секретарь, чай, он у нас — ни кто другой. Дайте почваниться напоследки, — смеются над Ванькой.

— Переизбрать!

Петух с насеста уже три раза проголосовал вместе с молодежью за Сергуньку. И корова, проснувшись к стаду, замычала о своем безусловном согласии с предложенной резолюцией. И вот на этом коровьем реву решило молодежное собрание:

В гущу...

Переделать быт...

Даешь в комсомол девушек...

Стропила полураскрытого сарая обнажились в побелевшем рассвете, и пастух стрельнул по улице ременным кнутом — только тогда закрылось комсомольское собрание.

После этого перестали каменские комсомольцы отгораживаться от остальной молодежи. Сам Санек нет-нет да и выйдет на бревна вечерком, то в хоровод, то на Софронову завалину заглянет, то в лес с молодежью пойдет на праздник.

А осень — взялись ребята за работу вплотную. Всем комсомолом в артель записались: свои у Митрича теперь и писаря, и бухгалтеры, и посыльные. Артель артелью, это само собой, — за всю Каменку взялись комсомольцы.

Осенью, почитай, у каждого двора на дубках сидит молодежь. И, как нарочно, в каждую такую кучку вкрапится комсомолец, а то и целых три. Как-то так стало выходить, что без них и не обойдешься: и новые песни знают, и словечки диковинные ввертывают, и рассуждения обо всем имеют. Особенно Сергуньку Наумова, нового секретаря, молодежь полюбила: больно смешное умеет рассказывать. Он, как бродячий музыкант, путешествует от бревен к бревнам, от двора к двору с балалаечкой. Сядет в середку и начнет анекдотить: как поп перепился и попадью свою убил, как мамка святого духа к штанам пришила, как комсомольцы в одном селе церковь под клуб взяли.

Хохот рекой плещется.

— Откудова ты все это знаешь, Сергунь?

— Журнал такой читаю. Ох и картинки, умора! Бог Саваоф нарисованный, в очках по тележному колесу и беззубенький...

— Ну?

— Палки гну! — и забренькает на балалайке:

Тпрунды-тпрунды — балалайка,
Тук, тук, тук — молоток.
Тпрунды-тпрунды — куда едешь?
Тук, тук, тук — в городок.

А если Алешка Горшок с гармошкой подвернется, да начнут они с Сергунькой в две музыки! В комсомол вступил Алешка, а на гармошке играет по-прежнему: слушать — не перестать. И припевает Алешка по-прежнему, на небеса живым подымает. Только частушки другие повторяет за ним молодежный хор:

Не целуй, миленок, в руки —
Я не богородица:
От меня Иисус Христос
Се равно не родитца-а-а.

Когда Махай со своими подходит поближе, замолкает Алешка. Неловко становится ему: стыдно и боязно. Играет на гармошке, чтобы вида не подать, а припевать — голос при Махае не подымается.

Косит белками Махай: зло его разъедает. Ушел от него Алешка, друг ситный, сманили Алешку комсомольцы. Встали в горле Санек, черт Меченый, и Митричева чертова артель. А Сергунька последний хлеб отбивает: раньше Махая так слушали парни и хохотали, когда рассказывал Махай похабные сказки про попов и поповых дочек с работниками. Раньше его сажали девки в середину и боялись, как огня. А теперь и Пашка от него отвернулась: за Саньком, дура, бегает, в комсомол, стерьва, поступает. Ведь что она сделала на прошлой неделе с Махаем, сучка? Опозорила, можно сказать, на нет! Никогда он, Махай, этого не забудет!

А произошло вот что: об этом стоит рассказать, об этом вся Каменка знает.

С тех пор, как побил Махай Пашку Баянову в лесу, будто присох к ней: вся дума о ней. Покою не давал Махай отцу своему Дмитрию Пузанкову, все подбивал его заслать сватов к Пашке. Отец упирался.

— Неровня тебе Пашка. Гольтепа мужик Степан Баянов. Такую ли тебе невесту надобно!

Но Махай слышать ничего не хотел, пьянствовать начал почем зря, дебоширить начал еще пуще—весь дом грозился разнести. Сдался отец: пусть женится — авось, переменится. Может, к лучшему. Встретил как-то Степана Баянова, закинул словечко:

— Оконфузил сокол-то мой девку твою. Сердца не держи против нас: взбаламошенный он. Спокаялся теперь, покрыть хочет свой побой. Люба, видать, ему девка.

— Ну что же! По молодости, знамо... всяко бывает, — ответил Степан, будто нехотя.

Но Пузанкова не обманешь: больно даже не прочь Степан породниться. Не ждал, видать, гольтепа-мужик такого оборота.

Дома Пузанков сказал сыну:

— Степан сватов ждет. Пошлем мать, а в придачу к ней шабра Силуян Иваныча, ходок он по этим делам. Пущай, коли, сватают.

— И сам поеду. Можно, тятяй? — спросил обрадованный жених.

— Как хочешь: тебе жить.

Хоть не так далеко жили Пузанковы от Баяновых: и пешком бы можно пройтись, но Махай нарочно жеребца запряг, надел ременную новую сбрую, подкатили сваты к Пашкину двору с кандебобером.

Как всегда, по обычаю, сбегся народ поглазеть на сватовство; как всегда, по обычаю, полетели в сватов стоптанные лапти.

Только видит Силуян Иванович: что-то больно много народу у Пашкина двора, что-то больно много отопков летит в сватов, что-то больно юрко вертятся в народе каменские комсомольцы.

Въехали во двор. Привязали жеребца к пряслу, зашли сваты в дом. А дом Баяновых вверх дном: места не найдет обрадованный Пашкин отец, где посадить бы сватов.

— Здоровьте, сватьюшки, семь грехов с половиной. Женихову желанию сполняем. Много есть невест на свете самостоятельных, но никого, грит, мне, окромя Пашеньки Баяновой, не надобно. Либо в кон, грит, либо вон, грит, семь грехов с половиной! Так, что ли? — обращается Силуян Иваныч к жениху, Махай молчит.

А Степан Баянов кланяется расчесанной бородой:

— Ну, что же... Милости просим.

Слышится из чулана, где Нюрка Митричева обряжает Пашку, голос Пашкиной матери:

— Сам господь надразумил вас, сватьюшки! Садитеся за стол, не побрезговайте: грызите орешки, берите крендели и жамки с тарелочки.

— Премного вам благодарственны, сватьюшка! — отвечает сваха. — Нам бы невесту...

— Кажи нам твою шалберницу. Чего под юбкой прячешь, семь грехов...

— Сейчас, сейчас она: обряду кончают. Ну-ка покажись, доченька, сватьюшкам. А ты поскорее, Нюра, чего ты мешкаешь? Да что с тобой? Никак плакать собралась? Радоваться надо, что подружку люди добры сватают.

А Нюрке Митричевой невтерпеж становится, ничего делать не может: все время зажимает рот, чтобы вслух не расхохотаться.

Наконец, выходит из чулана Пашка Баянова скромная да дасковая, сватам кланяется, свахе до земли, а Силуяну Иванычу в особину. Потчует сватов орешками да жамками, а Силуяна Иваныча потчует в особину. На жениха не смотрит, будто и нет его здесь.

Глазеет народ с улицы, трещат окна Пашкиной избы — лестно Силуяну Иванычу видеть такой почет: в передний угол идет, на лавке под образами разваливается, костыль в руке, шапка на потылице.

Смотрит сваха на Пашку, как на сноху свою скорую и законную. Будто еще краше стала девка и даже будто выше росточком.

«Тряпок, видать, под пятки в валенки наложили, чтобы выше казаться, чтобы краше понравиться», — подумала сваха.

«Вот бы Прошке, моему нученку, такую невесту, семь грехов»... — подумал Силуян Иваныч.

Вот в это-то как раз время и заржал жеребец тревожно на дворе. Вот в это время и поднялся на дворе стук и гром.

— Что за притча такая? — сказал Пашкин отец, Степан Баянов. — Неужели корова с калды вырвалась?

Вышел Степан на двор да как крикнет недуром!

Как засмеются парни на дворе!

Вскочил Степан в избу, — лица на нем нет, и дверь расхлебянил.

Как треснет вся каменская улица хохотом сквозь окна, будто гром над Силуян Ивановичевой головой...

— Смотрите-ка, на дворе-то что...

Смотрят сваты в дверь и глазам своим не верят: сидит в санях соломенное чучело, а на чучеле чапан Силуяна Иваныча и старая шапка Махаева, а за рукава чучелу привязаны рукавицы, а в рукавицы вдеты пузанковские ременные вожжи, а под мышкой у чучела пузанковский ременный кнут... Сидит чучело, правит: показывает сватам от ворот поворот. Жеребец на дворе ржет отвязанный, ворота со двора настежь растворены.

Кричит Степан Баянов:

— Кто это состроил? Кто это на мою голову?

А Пашка стоит будто ни в чем не бывало, скромно опустила свою девичью голову, только улыбочка неприметная бежит по полу.

Затрясся Силуян Иваныч, шагнул через порог:

— Не ждал я, Степан, от тебя такого озорства, семь

грехов.... Был ты мужик почетливый, семь грехов... Видно, с вами водиться, что в крапиву садиться, семь грехов...

— Прощенья просим, — закланялась ошарашенная сваха. — Пойдем, сынок!

А Пашкин отец кричит:

— Погодите, христа ради, сватьюшки! Кто это на мою голову?!

И набросился отец на дочь с чересседельником при всем народе. Комсомольцы сбежались — отняли Пашку из отцовских рук полумертвую.

Вот что она на прошлой неделе сделала с Махаем! А, може, не столько она сама, сколько комсомольцы эти сопливые. Не только Пашку, комсомольцев бы всех избить до смерти, коновода бы ихнего — этого Сергуньку балалаечника. Отлупил бы Махай Сергуньку по привычке, да у Сергуньки вся молодежь — защита. А Махаева стая тает, остаются только самые надежные, да мало.

Так думает Махай, подходя к бревнам.

Кричит Махай по привычке:

— Чего замолчали?

— Тебя забоялись, — смеется Сергунька.

— Что я, зверь али животная...

— На мышей и кошка зверь.

Махай презрительно косит на Сергуньку и обращается к остальным:

— Слушайте пустую балалайку. Врет, недорого берет. И в «Безбожнике» ихнем все вранье.

— А читал?

— Читал он — на гумне вилами.

Посмеиваются над Махаем, а сами робко за спины прячутся от Махаева вывороченного взгляда.

Сергунька одобряет:

— А я вот читал, про Каменку пропечатано в газетах, что здесь кое-кто драться любит с теми, кто сдачи дать не сможет. Махай, ты не знаешь, кто этот тип? Ребята, расскажу я вам сказку, как в одной деревне один парень сватался к одной девушке...

— Вали, вали! — угрожающе пододвигается Махай, за балалайку хватает, а ударить не ударяет: чует, прошли времена. А когда Санька черта Меченого, издали завидит, понурый отходит в сторону.

Вслед несется осмелевшая Алешкина припевка:

Не ходите, девки, к морю —
Море ка-алыхаитца:
Не любите вы Махая —
Махай ма-атюкаитца.

Архипов, проигравший дело об аренде лесопилки, часто приглашает к себе Махая с его товарищами. Парни пьют архиповскую самогонку, грозятся кулаками и вваривают в душу-мать.

Архипов потчует парней, соболезнует Махаю насчет Пашки и плачется о своей лесопилке:

— Каково мне каждый день глядеть, как вертится мое кровное заведение на чужого дядю! Пускай бы уж ни мне, ни им! И то легче.

Бубнит Архипов над пьяным Махаем до тех пор, пока вскочит Махай, стукнет кулаком по столу и заорет:

— Ни тебе и ни им! Правильно! Я это говорю, я — Махай. Становь давасы!

Язвили, кому язвить полагается:

— Московский хахаль-то с парнишками связался, дубина стоеросовая!

— Меченый — делать нечего! На вечерках пляшет-пляшет, а потом давай разные сказки рассказывать.

— И Митрич-то, старый идол, на него глядя, с ума спятил: и до ветру-то ходит в ящик, как собака. Апосля того пересыпает свое дерьмо землей и волокет на поле. Страм! Все землю удобряют, шишиги! И все Санек этот.

— Еще не то, бабоньки: на заводе грязновском из воздуха, бают, кизяки будут делать.

— Ну?

— Пра!

— Надо же башку такую иметь! Все науки превзошел.

— Превзошел он науки, как за девками бегать! — вмешалась Маришка, самая злоязычная сплетница.

Бабы наперебой:

— Разве бегает?

— А то. Еще как!

— За кем же?

— Ишь вы, какие хитрые. Не скажу! — кобенится Маришка.

— Скажи, Маришка! Ну чего тебе? На ушко скажи.

Маришка заслоняет ладонью рот, близко к уху наклоняется и кричит на всю улицу:

— За Пашкой Баяновой!

— Да что ты!

— Сама видала, около плетня третьеводнись стояли. Санек говорит: «Ну, до свидания, товарищ Паша». А Пашка такая малелая.

Бабы ахают, а Машке — вторая в Каменке по сплетням — досадно. Обрывает Машка Маришку:

— Слыхала ты звон... Нужна ему твоя Пашка. Он с Клавдией Михайловной из детского сада. Вот он с кем!

— Это, пожалуй, вернее. Ученая, не Пашке чета, — соглашаются бабы.

Маришка в спор:

— Что с таго — ученая? Раз есеркой была да с лесничевым сыном путалась. Рази станет он глядеть на нее?

— Была, да сплыла! Глядит, да еще как: глаз не спускает!

— Ты завсегда сплетни разносишь. И про меня это ты слух пустила, что я с Махаем, — кричит Маришка на Машку.

— Кто бы говорил, а ты помолчала бы. Ты первая сбреха! — кричит Машка на Маришку.

— Я... сбреха? А ты посарайница!

Маришка кричит, Машка в драку лезет.

Осень хмурится, а люди веселеют. И в ясные дни, и в ненастные ночи слышатся в Каменке новые песни, летают по Каменке новые слова. Теплее становится на селе от этих новых слов в холодные и долгие осенние ночи.

По-прежнему шырлыкают гармошки, да не о том выговаривают, лады, не о том захлебываются голосистые колокольчики:

Богородица красавица,
Микола молодец,—
Богородица капустка,
А Микола огурец.

СЕМЬ ГРЕХОВ С ПОЛОВИНОЙ

Спасы.

Подоспело время пахать под осень. Дни пахнут грибной сыростью. И долго по утрам не тает густеющий над Каменкой туман. Наволочно.

Выйдет Митрич во двор, стоит посреди двора с непокрытой головою, подставляя розовую лысину под первый осенний дождь. Вздыхает Митрич, хмурится, ворчит:

— Эх, хе... Время-то для пахоты — золото. Обманул город. Дивуй бы — в долг, а то и задаток послали загодя. Не раз наказывали, чтобы не опоздали с машиной к пахоте. Нету внимания к мужицкому календарю.

Ворчит Митрич, голова от думы горячая. Только дождик мелкий освежает голову. Через прясло выныривает острая физиономия Сабеса:

— Митрич, какие новостя? Нету машины?

— Все нет и нет.

— Видно, посулила Акулина, привела, да не дала.

Все чаще тот, другой из артельников на двор к председателю артели заглядывает:

— Што же они, всамделе, ослепли: не видят — сев на носу?

— Ума не приложу...

— И-их, дождечки! Спрыскивают кормилицу. Как по маслу, пошла бы пахота.

Не вытерпел Митрич, назначил собрание своей артели: что тут делать, как теперь быть?

Только было собрались артельники, только было безрукий Барбин начал кричать: «Одман!», — телеграмма:

«Встречайте выехал станции».

Сразу переменилось настроение у артельников:

— Давно бы так!

— Едет, говоришь, на своих на двоих.

— Ух ты, екуня Ваня!

— А я, ребя, не видал ни в жисть.

— А сколько жисти твоей?.. — шутит повеселевший Митрич. — Вот я с батогом хожу, и то не пришлось.

— Мне тоже такая обстоятельства не предвиделась, чтобы повидать диву мериканскую, — говорит Давыша.

Сергей Палыч озабоченно оборвал:

— Не видал, так увидишь. Нечего попусту раскалякивать. Давайте лучше встретим как следовает. Седлай, Барба, своего Игреньку: поедем стречь.

Снарядили верховых.

Вся Каменка всполошилась, как во время пожара. Высыпали на переднюю улицу мужики, бабы, ребятня. Вышел к завалинке и дед Силуян Иванович:

— Чего в будни праздник устроили, семь грехов с половиной? Али делать нечего, лодыри, шайтян саинзат?[1]

Из-за Мордовской горы показались верховые.

— Едут, едут!

Скачет Барба на иноходце Игреньке, ноги под лошадьим брюхом болтаются, по дороге пылят. Кричит Барба издали:

— Разойдись, бабы! Вам чего надобно? Где Митрич? Сабес, чего проклаждаешься! Бежи в ячейку, проси знамёну, с которой май демонтрировали. Тащи скорее!

Вся артель кучею потекла в сторону Чихан-горы со знаменем и даже вроде как с песнями.

— Ах ты, семь грехов с половиной. С иконами встречают, антихристы. Га, тьфу! — плюнул Силуян Иванович, повернул в избу, но присел на завалинку, поправил заячий малахай к носу.

На Чихан-гору выползло невиданное в Каменке чудище. Выползло и остановилось на гребне с поднятым кверху хоботом — все, как на ладони.

[1] Шайтан вас возьми.

Дышит чудище дымом, человек на нем виднеется. Запыхтело, затарахтело, совсем закуталось в темную холстину, поползло с горы.

Крестится Силуян Иванович:

— Господи ты боже мой, Микола милосливый. До чего народ доходит, спаси и помилуй. Срамота! Каких только игрушек антихрист не выдумает. Ах, семь грехов...

Крестится Силуян Иванович на горящий крест колокольни. Кричит ему Барбин, выехавший впереди всего шествия на улицу.

— Молись, молись, дед! Эта наша икона новоявленная: от всех болестей помогает.

— Га, тьфу! — плюнул Силуян Иванович, вскочил, отвернувшись к избе, но глаза полуслепые побежали из-под заячьего малахая навстречу железному чудищу.

Посреди передней улицы, напротив Митричевой избы, остановился трактор, тяжело отдуваясь.

— Ишь ты, устал, батек! Не отдышится, — засмеялась молодуха Сергея Палыча.

Широкая в Каменке улица, а трактору будто тесно на ней. Высокая изба у Митрича, а перед трактором снизилась в перегибе.

Сам Митрич тычется к Сергею Палычу, сияет розовой лысиной, не знает, куда руки девать.

— Кум Палыч! А? Видал?

Дивуются мужики, дивуются бабы:

— Ого-го, колесики!

— Только по нашим шашам и ездить!

А мальчишки мызгалками мызжутся. Мальчишки к трактористу на сиденье успели вскарабкаться:

— Во как знуздали ему брюхо-то!

— На цепе ходит.

— Смотри, укусит!

— Не бойтесь.

В это время водитель повернул руль, трактор круто начал поворачиваться. Ребятишки врассыпную, бабы — в визг. Керосином баб опахнуло.

— Эй, очкастый, не балвайся!

Смеется тракторист:

— Не балуюсь, видишь — поворачиваю. Берегись!

— Чай, можно потише вонять-то.

— Не чай, а кофей, тетка! Не мешай — уйди, чего не видела?

Дивуются мужики, дивуются бабы:

— Колесы-то! Ширина-ти!

— Сботали.

Хохочет Сабес, с бабами заигрывает, похлопывает их, передразнивает:

— У попа-ти рукава-ти. Ух ты, Марька, гладена, задница-то у тебя тракторная.

— Откачнись! Маленький, — отбивается молодуха со смешком. А Митрич кричит взволнованно:

— Зачем же время терять? Товарищ, могёшь —, прямо на пахоту? — обратился Митрич к трактористу.

— Отчего же, можно. Для этого прислан.

Запыхтел трактор, поползла, покачиваясь, цепь железная — тронулся.

Народ валом за трактором — пол-Каменки.

Один Силуян Иванович остался на пустынной улице. Смотрит на отпечатки лап чудовища, на зеленую, на смятую, на вырванную с корнем траву подорожника. Качает седой головой Силуян Иванович:

— Ах ты, семь грехов с половиной!

Качает головой Силуян, а ноги сами идут, опираясь на батожок: туда же, где скрылось в проулке прибывшее чудище.

Шумят артельники вокруг трактора; с кого начинать?

— Потап Митричу: он путеводитель наш.

— Валяй его полосу перво-наперво.

По-молодому бьет в груди сердце стариковское, не удержат улыбку радости губы Митрича:

— На один заезд, гляди, полосы-то моей не хватит.

— Валяй под дугу, — хохочет Барбин.

— Погодь ты! Дай на Митричевой попробываем.

— Чего пробовать, дело ятное!

Отфыркался трактор сердито, выпустил сзади плуг многолемешный: пошел, взрывая землю, как по воде буксирный пароход; пошел — нос книзу, землю роет, как жирная матерая хрюшка.

Барбин хлопнул старика по плечу:

— Митрич, это получше будет международной положении. Как думаешь? А?

— Не бай!

Валом народ за трактором, будто магнитом тянет. Крестит трактор Митричеву полосу взад-назад: неуклюжа машина, а так легко и быстро поворачивается.

— Вот так черная корова — все поле перепорола.

— Тут, брат, ни полицы, ни отвала не требуется.

— Идет дело наотчистую.

Митрич потирает руки, гладит лысину, кричит Сергею Палычу:

— Кум Палыч, что скажешь на это?

— Да ведь что сказать, кум...

Силуян Иванович стоит на своей меже. Его загон рядом с Митричевым, по которому ныряет трактор и ходит за трактором народ. Нагнулся, кряхтя, Силуян Иванович к земле, в горсть берет разрыхленную землю: течет земля меж корявых пальцев — мягка; течет земля — куриный пух.

— Ах ты, семь грехов с половиной!

Мерит Силуян Иванович глубину пахоты, шарит рукой: не оставляет ли трактор пропашек? Нет. Чешет — ломоть к ломтю.

— Ах ты, семь грехов с половиной.

Кипит земля под лемехами. Взметываются гривы пластов земляных, как гривы черного огня. Хрустит высохший бостыль, кувыркается под лемехами прошлогодняя полынь, исчезают под лемехами травы сорные: чистая, черная, волнистая течет полоса, что гребешком причесанная.

— Ах ты, семь грехов с половиной!

Часу не прошло — получай Митрич спаханный осьминник. Только узеющая бороздочка вдоль межи осталась, ни два ни полтора: заехать ее, на чужую полосу переползешь, на полосу Силуяна Иваныча.

Остановил машину тракторист. Окружила его толпа, подочки заглядывают, спрашивают:

— Чижало?

— Замаялся?

Смеется тот, закуривая папироску:

— Машину спросите — она устала ли? А мне что!

Смотрит дед Силуян Иванович на машину, слушает крепким ухом, как пыхтит она да отдувается.

Тракторист покурил, спрашивает:

— Продолжать?

— Я те дам, охальник эдакий. Чего выдумал!

Метнулся Силуян Иванович к своей полосе, встал на меже — руки трясущиеся растопырил. Батог от волнения на пашню упал и зарылся в мягкой пахоте, как в пуху.

— Не допущу мою землю сквернить! Смеетесь над мужицкой работой!

Тракторист улыбается:

— Испугался, старик, нечистого? Все равно спашу и тебя вместе с бостылем в землю завалю.

Дрожит на меже Силуян Иванович. И похож он — в растопыренном заячьем малахае, в рваном азяме и в синих самотканых портках под лапти — на бахчевое чучело под ветром.

— Не подходи, семь грехов с половиной!

Народ хохочет, а Митрич успокаивает деда:

— Шутят с тобой: не хочешь — не надобно. Силой мил не будешь. Утихомирь-ка, товарищ, машину свою. Видишь, старик настрахотался как.

Барбин, смеясь, подталкивает в бок Ивана Яраскина:

— Вот, Яраска: по цигарке выкурили — и нет осьминника. Ты сколько бы тут время на быках пахал Архипову? Без одману дело поставлено.

— Эх, аля... Месть кортамс![1]

Иван Яраскин, мордвин, до революции всю жизнь в работниках жил у отрубщика Архипова, на быках все пахал. А теперь Яраскин со своим хозяйством никак не подымется.

— Айда к нам в артель. Чего спишь?

— Эх, аля! Гожа... Больно бы гожа артель, только камуны боюсь.

— Какая же это камуна, это совсем даже не камуна. Да я сам в камуну ни в жисть, — стучит кулаком в грудь Барба.

— Митрич больно туда оглобли поворачивает.

— Да нету же! Митрич, слов нет, коммунист, а мы беспартийные. Мы — артель для всеобщей обработки. Понял? Да если он, старый хрыч, только заикнется, я первый из артели выпишусь. Тут Санек подпускал нам удочку, да мы не берем во внимание. Пишись, дело верное.

— Эх, аля! Гожа... Больно бы гожа.

Барбин к Митричу:

— Председатель, вон Яраскин рад бы в артель, да камуны боится.

— Об этом речи нет. Где ты камуну выкопал? А о предбудущем чего загадывать. Може, помрем все скоро. Само собой образуется.

— Эх, аля! Пиши, коли, меня на трахтур: наш машин. А только в камун не пойду: баба сгрызет.

— Подавится. Вон ты какой костью-то широкий! — смеется Барбин.

К Яраскину подошел Иван Гнусавый:

— Смотри, Иван, сдурел, что ли? Подведут к камуне. Не видишь, к этому все дело клонит.

— Ну, ты, Гнус! — набросились артельники, молодежь из красноармейцев на Гнусавого, а к тому прилепились: лесник Косов, бывший лавочник Митин и еще мужиков куча. Дед Силуян Иванович тоже в их лагерь молча прижимается. Взметнулся галдеж вокруг трактора.

А он будто почуял: запыхтел, повернулся круто, опахнул всех спорящих дымом и загреб целину вдоль дороги, никогда не паханную, и пошел валом — через межи, через

[1] Эх, ты,.. Чего говорить!

ямы, через большие и малые буерачинки — прямо к берегу Сока-реки. Ровная, длинная, в целую версту, вилась за ним полоса.

Рты разинули мужики, и спор мигом потух.

— Вот акаянная сила!

— Все нипочем!

С трактористом прилепился Барбин: глаза налиты радостью, орет, машет пустым рукавом:

— Но! Но, конюшка!

От реки завернули обратно по другую сторону дороги — мужичьей лавине навстречу.

Загудела Каменка, словно улей перед роевкой. Оставшиеся дома собрались у сборни и ждали возвращения ушедших в поле с трактором. Тут же сходку назначили. Потап Митрич делал доклад:

— Старики, речь моя будет короткая. Перво-наперво поздравьте нашу артель с трактором.

— Поздравляем!

— С богом...

— Так вот, старики! Артель наша такую вам делает предложению: земля на архиповском участке еще не пахана, запашем мы вам всю целиком, а там — как хотите. И мы желаем сделать это для общества бесплатно. Согласны?

— Спасибо!

— Благодарим!

Барбину не по нраву такое решение артельного совета, кричит:

— Еще бы не согласны! На даровщину они люты. Для них наша артель старалась? Взять с них цену, какую они платят бычатникам. Не батрачили мы на обчество!

Митрич строго оборвал Барбина:

— Барба, помолчи перед старшими. Я говорю! Только вот что, старики, — продолжал Митрич, обращаясь к собранию, — на предбудущее время установим мы расценок на пашню, хотя пониженный. И эту сумму мы будем брать в фонду на культурную и электрическую помочь. Подумакиваем мы нашей артелью ставить турбин на Соку, на бывшей оглоблинской мельнице. Само собой, кто вступит в нашу артель добровольно, тому пашня завсегда бесплатная. На этом я мою предложению кончаю, а Барбина вы не берите во внимание. Я ему холку намылю!

Яраскин с Гнусавым рядом живут, вместе домой с собрания возвращаются.

— Хватимся, да поздно будет, — гнусит сосед.

Яраскин молчит.

Лавочник Митин догоняет их:

— Об чем разговор ведете? А... Это уже как пить дать. Завод им дали, денег на выручку дали, теперь трактор прислали, сам председатель уика к ним приезжал. Ясно к чему дело клонит. Эту сбрёху, мобилизованного, убрали: тот прямо без стеснения говорил об международности. А Березин, видать, тонкий мужик: исподволь гнет. Все молчит, все слушает, загоняет артель в камуну, как овец на калду.

— Эх, аля! А я так думаю, что в трахторе этом нет никакой подвохи.

— Твоими бы устами, Иван... Сам подумай, какой им в городу расчет деньгами зря бросаться, ссуды давать? Кто там в артели-то? Скажешь, самостоятельные мужики? Чего с них взять?

— Мягко стелют, стерьвы городские... — гугнит Гнусавый.

— Они тебе, може, и еще дадут. И сеялку, и веялку, и борону железную. Все дадут. Да только надо соображать — к чему дают-то? Кабы новая крепость не объявилась. Продашь им душу навек. Будешь батрачить на камуну.

— Эх, аля! Хто ни поп, тот батька. Только бы жизня была бедному народу. Работать бы округ чего было. Чего я на коровешке спашу?

— Не говори, Иван! Можно ли сравнять свое хозяйство с эдаким с содомом? Вот хотел лесопилку свою в аренду взять Архипов, почему не сдали? По крайности обрядил бы завод свой — конфетка. Человек по старым временам бывалый, не Митричам чета. Как она у него допреже работала! А теперь — горе смотреть.

— Неужели артелем не справются, аля?

— Справются? Посмотрим, как справются. Недоглядел чуть, того гляди — сгорит, — угрожающе пробурчал Гнусавый.

— Сгорит — не сгорит, не надо так говорить, а только артелью жить в наших местах трудно, — примиряюще сказал Митин. — Подумай об этом, Иван!

Прищурился Яраскин с мордовской хитрецой и вздохнул:

— Эх, аля, думаю. Больно думаю. Ночь-полночь думаю.

А в уме твердо решил пойти завтра к Митричу и проситься в артель Христом-богом.

«ПРИКЛЮЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САВЕЦКОЙ ВЛАСТИ»

После скандала на собрании ячейки Панок вышел из артели. Бывшие партизаны перестали к нему ходить, да и он сам никуда из избы не показывался: тошно было смотреть ему на новые порядки.

Кашель становился сильнее, тряс он Панка как грушу. Харкотина рвалась изнутри кусками. Жена не успевала наготовиться ему тряпок, обе исподние юбки разорвала ему на платки. К харкотине Панок привык. Только иногда посмотрит на густую, пахучую дрянь, которая лезет из него вместе с кашлем, и сам удивится: откуда берется у такого сухопарого и мосластого столько мокрети? Ругаться Панок перестал, кричать — тоже. Работал мало — от работы кашель становился надрывнее, и голова гудела. С людьми старался не разговаривать. А если заговорит кто, ответит одним словом, закашляется, замашет мосластыми ломаными руками и уйдет молча, если собеседник сам не догадается уйти.

Стал Панок все чаще задумываться, и лицо его тогда становится ясным, а глаза горят. Детей чаще ласкал и всегда молча. Только со старшей десятилетней любимицей Клавой подолгу разговаривал, гладя ее кудрявую русую голову и называя дочь Альняной головкой. С женой тоже был молчаливо ласков. Иногда возьмется помогать ей в хозяйстве, натужится изо всех сил до тех пор, пока жена Поля не скажет:

— Будя жилиться-то. Работник! Справлюсь одна, не впервой, чай.

Тогда Панок садится на коник, кашляет, стирает липкий пот и задумывается. А жена, зайдя за печку, неслышно плачет.

Панок в такие моменты рассказывает Поле все свои думы, она слушает и соглашается: что на фронтах было лучше, что надо всех проторизовать, что нэп выдумали спецы, что при нэпе — ложись и помирай!

Однажды Панок попросил у Поли десяток сырых яиц и послал Альняную головку в лавку к Оглоблину купить за них тетрадей с Лениным. С этих пор Панок не отрывался от стола: писал днем и ночью. Снова начал курить, стал снова раздражительным, детей часто шлепал по головам, когда лезли к столу, на Полю покрикивал. Альняная головка жалась к отцу: Панок стихал. Жена терпела, плакала втихомолку.

Только одной ночью, когда Панок до света кашлял, скрипел пером и сжег весь керосин и по избе полетел черными хлопьями пепел от обуглившегося фитиля, Поля не вытерпела: слезла с печки и потушила лампу.

— Скоро ли ты хоть умрешь-то? Назола!

Панок спокойно и ласково ответил:

— Дай срок, умру. Кончить бы мне только мою географию.

И продолжал писать в темноте.

Поля завыла истошным голосом на всю избу:

— О-о, господи, царица-богородица! Да прибери ты меня, грешную, окаянную!

Ребятишки подняли жалобный рев. Панок перецеловал ребятишек и ласково успоил Полю. Вместе с нею даже лег на печке, чего давно-давно не было.

Утром попросил еще десяток сырых яиц, купил конверт и марку и написал письмо:

«Товарищ ответственный редактор! Посылаю вам на рассмотрение мою географию с приключением. Здесь все описано мною на истине и факт. Я хотя и малограмотный, но желаю прийти на помощь вашей газете. И еще я не знаю где ставить знаки припоминания».

Отнес тяжелый конверт на почту. И после этого стал еще спокойнее.

Только по средам, когда приходила в Каменку почта, Панок целый день сидел у окна, и под ним скрипела лавка. Развертывал газету и гадал, на какой странице напечатаны его приключения...

Не знал Панок, что редактор — молодой парень, что он прислан из Гижа, что он разрывался на части между газетой, губиздатом и подотделом печати губкома, и что сам он рукописей не читал. Не знал Панок, что секретарь редакции очень нервный человек и страдает психастенией, а его не посылают в санаторий; что прочитал секретарь первую фразу, перелистал остальные листы Панковой рукописи и сказал, мучительно сморщившись:

— Какая чепуха!

И написал секретарь на рукописи: «Ответить, что о гражданской войне не помещаем. Просить коротких заметок о быте и строительстве».

И передал секретарь рукопись сотруднику, который сидел по шейке заваленный рукописями, который тоже поморщился и пугливо спросил:

— Стихи?

Секретарь бросил коротко:

— Некогда мне!

Сотрудник забыл дать автору ответ. Попала рукопись в архив, откуда нет возврата. И если бы приехал Панок в редакцию с артиллерией, все равно бы обратно рукописи своей не взял: не родился еще тот человек, который мог бы разыскать свою рукопись в редакционном архиве. Погибла рукопись, и нигде ее нет, и никогда не будет, кроме как в этом романе. Вот она:

ИЗ ПРОШЛОГО ДЛЯ БУДУЩЕГО — ПРИКЛЮЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САВЕЦКОЙ ВЛАСТИ СЕЛА БОЛЬШОЙ КАМЕНКИ ТОЙ ЖЕ ВОЛОСТИ АЛЕКСЕЙ ИВАНЫЧА ПАНКОВА ПО НЕКУЛЬТУРНОМУ ПРОЗВАНИЮ ПАНОК

Приключений № 1 как я реонтировался против

Когда сибирский сухопутный волк Колчак под маской самозванного царька и евоные члены колегии чехи и есеры продолжая начатие мечты ихней жизни своим черным крылом зашли со стороны Симбирска и желая заполнить наши родные Стеньки Разина Жигули я был принужден оставить свой указанный пост и реонтироваться в город Самару для продолжения беспощадной борьбы и проторизации нашей эпохи. Благодаря стрельбы на ульцах и недожидаясь призыва инстинкта для жизни я влился в отряд на Хлебной площади окол орудийной пушки в виду того что я могу быть наводчиком и подносчиком если призывает международный интерес. В этот злопамятный день я так устал как на сенокосе и спал в красных казармах. На другой день это было поздней весной ранее утро вдруг проснувшись как будто от далеких кошмаров прошлого приподняв голову вдруг слышу свист пуль и зрыв снарядов... Приподнявшись с топчана и еще раз стряхнув головою, я снова слышу эху за эхой. Тут я дал себе отчет, что это не кошмар далекого прошлого а всамделе трескотня зрывы которые рвуться по разным окраинам. Не успел я выбежать на улицу как вижу сабантуй то есть люди бегут куда зачем сами, не понимают как на пожаре.

На ульце я хотел реонтироваться откуда раздается гулкая эха от управляемого орудия Отрядом Рабочей Дружины в которую я вчерась влился. Спросил того другого но увы нет ответа. Этот сабантуй гнал людей таскающих разных преметов домашней необходимости как муравьи. И только встретившись с одним красным военным который бежал устремив взор только вперед винтовка наизготовке вид был ужасный. Подбежав ко мне ни слова не говоря схватил меня одной рукой и я также бежал за ним куда сам не понимал как будто от кого-то надо спасти шкуру но это было не так. Я бежал за красным военным только туда где озверевшие наемники за мировой капитал хотели в зародышке раздавить пролетарское выдвижение во главе с Компартией.

Конешно на этим долго останавливаться не приходится.

Добежав до Волги как сейчас повну где стоял 1 пулемет и группирующая кучка молодых добровольцев красной гвардии так смело стояли на берегу нисколько не прятав свои молодые груди перед неприятельским огнем. Не успел я подбежать как из кучи винтовок получил одну снова набил патронами заложил несколько ленг через правое и левое плечо и вступил в ту цепь.

Но увы нам долго лежать не прошлось... Чехословаки сделали напор и после отступления в районы центра мне никогда не забыть как главная улица была залита кровью молодых коммунаров. И так это было начало гражданской той войны.

Конешно долго останавливаться на этим не приходится. Наш гарнизонт Рабочих дружин представлял для них 2 капли в море. Конешно мы были разбиты и я был контужен в голову и кровавая свора наемных палачей начала грабить мирный город и донимать кошмарами самосудов наших столпов Компартии и первым долгом приступили к орудиям как они сделали и в Пензе. Но рабочий класс по этому времени не умел хорошо управлять оружием все-таки хитроумным чехам не оставили ни одного в исправности то есть у каждого был вынут затвор и брошен в Волгу а орудие без затвора это человек без головы. Поэтому наемной своре не пришлось воспользоваться всем снабжением гарнизонта и они сделали чистку мануфактурным магазинам попросту я бы выразился обиралавка где как говорится своя своих не спознаша как это после выразилось пензенское баржуа. Из Пензы чехи постарались как можно лихорадочно убраться чтобы направиться на нашу Самару конешно не выпуская по дороге Кузнецк и Сызрань чтобы схватить лакомый кусочек. Но все-таки во всем ошиблись не усмотрели того что в Самаре пришлось им остаться где объявился Комуч который начал мучить народ и рабочих по есеровской программе Земля и Неволя Наши стойкие Рабочие дружины вакуировались вверх по Волге и к ним полились как свежая струя воды с высоких гор новые Отряды Рабочих дружин из окраин деревень и городов. Но я увы не успел вакуироваться и влиться в те стройные ряды красных беженцев. Конешно товарищам которые оставши в Самаре живые или раненые первым долгом пришлось переодеться немного вздохнуть и тут же приняться за подпольную работу но увы мне не во что было это сделать и

я должен был попасть в их демократическую тюрьму застенок.

Приключений № 2 как я покончил бегством и что со мной было на соломе.

После моего арестования обращение было скверное что спросишь показывают на винтовку и привели в контрразведку. Начальник выбег к нам с острой сашкой глоткой кричит и ногами стучит налетает как петух и бьет по щеке из роту и из носу у меня свищет кровь. А он кричит еще пуще Отвести вниз и ночью же расстрелять.

В сопровождении тумаками в шею нас как сволочей сволокли в подвал где всамделе бывают расстрелы. Смотрю а в стене дырочки пулями и на полу кровь. Я встал где дырочки мне приходится против груди. И я сказал товарищам. Наши жизни сочтены. Мы всю ночь ждали вот-вот придут. Но увы не расстреляли.

Эта была поздняя весна и раннее утро меня отправили в их демократическую тюрьму и толканули в одиночку где уже давно сидят три человека. Стал я с ними вести совместную беседу и угощать махоркой фабрики Левковича. Они рады закурить но говорят Товарищ подойди поближе а то нам невозможно мы плохо видим. А сами как беленое полотно и зачем то трут свой лоб. Почему вы такие стал я спрашивать. Они стали меня утешать. Подожди недельку и ты станешь такой же. Ну я подумал. Чорта с два. А между всем тем дышать нечем и я подтянулся к решетке чтобы глотнуть воздуху со двора но увы меня как бурею снесло на пол а пуля дала рикошет от потолка в железную дверь. Я спрашиваю. Почему такое у вас стрельба. Товарищи отвечают горькой улыбкой и опять трут свой лоб. Это значит тюремное угощение не смотри извергов по окнам. Конешно долго останавливаться на этим не приходится только через две недели я тоже стал тереть свой лоб и вроде плохо видеть тем более по случаю непрохождения головных контузий у меня одна мысль стала перебивать другую мысль идеального характера.

И поэтому удиравшие наемные палачи погрузили нас в вагоны увезти в Сибирь до прихода доблестной красной армии. Я выбрал себе место около окна. Не терпело мое сердце и стучало в грудной скелет. Беги беги беги. Я хотел покончить бегством в ту же ночь но начатие моей опасной мечты было остановлено. Палачи наемной своры обещали нам что если кто покончит

бегством за него расстреляют каждого из пятка. Стал я уговаривать весь вагон предаться бегству но товарищи возражали. Невозможно. Тогда я достал костыль и давай отдирать плинтуса. И я сказал. Ну товарищи давай отдирай пол и давай спускаться промеж рельсов. Но увы товарищи начали смущаться. Просил просил и решил предаться бегству 1 Затем везли и станем просить хлеба и воды нам отвечают. Вот бросим бомбу и накормим вас и напоим. Тогда я тихонько выразил к моему товарищу. Ну теперча я вас слушать не буду а буду бежать1. Это было на станции Раевка. Я надел новую рубашку и стал ждать отхода поезда ждал ждал поезд не идет и пришлось раздеться и задремать. Долго ли нет чую поезд пошел. Я стал одеваться в новую рубашку и разбудил товарища а сам открываю люк думаю услышит часовой или нет. Но увы часовой не слышал благодаря дул сильный ветер и нахлестывал дождь. Вот я приготовился и выразил к товарищу. Смотри брат ежели ты вернешься домой то скажи в Большой Каменке какой смерти я предался. И я перекрестился пускай меня исключат из партии в бога я не верю вжисть.

Один секунд только я ударился каблуками об стенку вагона и тут же раздался выстрел и когда я упал боком на землю у меня хропнула рука левая а правой размахнулся и постарался скатиться в ту канаву. А пули стали сыпаться со всех тормозов как сухие бобы но я бросился подальше от железной дороги. И без устали куда ни побегу болото куда ни кинусь реки-озера. Конешно рассветало смотрю река и не долго думая пошел плыть через реку Дёму. Нашел ежевику и давай уплетать эту ежевику. Мое брюхо сдулось как барабан а силы ничего не стало. Смотрю татарская деревня и не доходя 4 татарина как увидали меня так и ужахнулись что у меня голова побита вся в крове левый глаз покрытый синяком а рука висит. В один секунд я реонтировался что я пленный из Германии и меня избили пьяные чехи. Захожу в деревню у двора стоит 1 татарин.

Татарин у коего я спросил кусочек хлеба а он выразил. Айда избам. Закусил я и только вышел из деревни у меня левая рука не помещается в рукаве. Разорвал я рукав и тут спомнил что она у меня хропнула.

Конешно опять же останавливаться не приходится но шел я не евши весь день и всю ночь и жрать захотел как волк. Смотрю стоит деревня и стоит старуха коя взяла меня в избу а там вакурат обедали. Как

увидали меня сразу все закричали. Что это такое. Я посмотрел в зеркало и образ у меня был не человечий а не знай как вообразить. Я пообедал с аппетитом и спросил. Нет ли у вас какой ни на есть старухи чтобы заглянуть на мою руку свихнута али сломата. Я прихожу к указанной старухе она ничего не сказала а стала заговаривать от ломоты. Я лежу и нету сил потому што рука стала лометь еще хуже. На другой день когда только вышел из деревни пошли стрельбы из орудий и пулеметов.

Я остановился. И тут вакурат едут татары со станции с татарскими криками: булшавик пришла. Тут у меня сердце вроде выросло и пошел на выстрелы. Шел шел и не доходя спросил мужика в поле. Кто там есть. «Кто окромя чехов», — сказал сердитый мужик. Тут сердце у меня вроде упало а идти в сторону нету сил и пошел на гумно. Просидел трое суток нельзя показаться зад перед чехи артилерия и пехота 1 б-н. На четвертые сутки идет. Мимо стога женчина и я позвал её. Подойди поближе. Она подошла поближе и заплакала. Чай от чехов убежал.

Я сказал да товарищ я пятые сутки ничего не ел. Женщина сказала. Ладно. Смерклось и слышу зовет. Солдат. И подает мне полпирога и тому подобное.

Женщина кормила меня три дня а потом говорит. Айда солдат я проведу тебя.

Я пошел за ней как ласковый теленок и любовался выходками ее поступка что она пожалела меня и дала мне минимум прожитка жизни кормешкой. Стал я очень веселый и одна мысль перебивала другую мысль идеального характера и натолкнула меня на поступок пути бессознания что во мне возбудилось животное самодурство. Ох какой позор зависящий от нас. Что тут со мной стало вопрос. Сердце мое плачет усиленным биением в грудной скелет что я никогда этой доброй женчины с выходками ее поступка больше не увижу. Я бросал на нее взор жадный и суровый при чем радость в моем трепетном сердце наполнилась упиваясь ее красотой. Я с назойливыми мыслями нравственного бытия обнял ее правой несломатой рукой. Она приняла мою объятью встремила на меня свой взор физиономии и склонившись на мою истомленную грудь заплакала и сказала что она страдает ото всех природным награждением издевательств и насмешек за то что ее муж большевик. И я тоже расстроился что этот человек женчина не избег от меня. И то что на соломе она выразила с поцалуями навек останется мне жизненным заветом не смотря на позор в изкажении природы и ее отраслей развития. Пусть будет от людей позор, что мы с ней лежали на соломе но идея запечатлевшая во мне ненарушима и жене своей я рассказал по чистой совести все чего и выразить невообразимо. На ее лице пропал вид недовольства. И Поля моя жена поняла сполна мои пламенеющие выражения что наша обоюдность мимолетной любви заключалась не в той болтологии. Я вас люблю и так и далее. В нашем разговоре на соломе светилась полоса культурной и частью хозяйственной жизни. Мы не долго обменивались взаимной любовью и она соблюдая чистоту и опрятность своей индивидуальности встала отряхаясь от соломы и указала мне пальцем. Иди вон тама красные и тама мой любимый муж.

Приключений № 3 как я боролся с гидрами и что же теперь вижу

Покончив свою вторую приключению то есть бегство из ихней демократической тюрьмы я опять влился в свои родные красные ряды доблестного героя товарища Василь Иваныча Чапаева Барабаня на подмогу во все концы Красной Савецкой России без исключения центра и группируя все вновь прибывшие подкрепления как свежие потоки воды с высоких гор мы снова сделали нажим на чехов. Они уже успели собрать и исправить линию и пустить свои эшалоны но далеко уехать им не пришлось. Конешно мы били по хвосту но от хвоста попадали и по центру туловища.

И так с этого момента пошла война и дальше и дальше с наемными шкурами мирового капитала. Так из отрядов чехов и эсеров раздулась количественная армия сибирского сухопутного волка Колчака. А сколько таких количественных армий было и на других фронтах. Но маленькая ничего не стоющая по началу Красная Армия раздавила целые корпуса белых хищников и всемирные банды палачей. Чем же это можно объяснить. На это может ответить только тот кто испытал все тяжести и приключении побывая не раз в зубах всех тех банд. Конешно кроме ничем как своим могущественным духом. И чехи и народная армия в лице белогвардейских офицеров и вся ихняя заграничная техника были сломаны. Также Комуч поклялся что умрет а не сдаст Самару. В результате получилось что под напором умерли а Самару сдали. А дальше что делалось с Уфой в нашей дивизии доб-

лестного героя и товарища Василь Иваныча Чапаева с переброском с уральского фронта на восточный. Беспощадный храбрости воин нисколько не сумневался и шел все вперед и вперед. И так под могущественным натиском рабочекрестьянских штыков в короткое время мы взяли Уфу, и я опять был ранен. И вот как сейчас помню когда хотели врачи удалить меня по тяжести основной болезни благодаря непрохождения головных кантузий как горько и обидно было выбывать из этой дивизии. Чувствуя себя еще сильным стоять и не выбывать я упросился остаться в передовых линиях.

Конешно на этим останавливаться долго не приходится но я был везде и даешь Варшаву и берешь Перекоп. Деникин Григорьев Махно и последний мировой ванпир генерал барон Врангель клялись разбить рабочий класс но их клятва умерла в поганой яме. Рабочекрестьянская Красная Армия твердо дала себе отчет — смерть палачам тем какие погибли и смерть тем какие там где то снова начинают шевелиться за мировой капитал.

Так в заключение я демобилизовался убежав из санатории куда меня послали лечиться от перебиваемых мыслей. Что же я буду лечиться ежели перед нами такие задачи проторизации нашей эпохи и я не согласен на нэп. И вот я приехал в Каменку где был Председателем Савецкой власти. И что же я вижу. Везде спецы и соглашатели коих мы душили за глотку и кои нас хватали за грудки. Пусть меня исключат из партии но я как последний магикан не могу смотреть на этого сволоча лесничего и на эту контр-революционерку Клавдию Оглоблину. А наши власти на местах позорно якшаются с интингенцией. Эти котр-революционеры теперича подымают руки и подают голосья. И что же мне теперича остается принять. Мне остается паложить свои руки на свою горлу. Но мне дорога не жизнь а споминания Кабы знатье что к этому подойдет проторизация нашей мировой революции лучше бы уехал на нову землю. Но увы где она вопрос.

Председатель Савецкой власти и Красный Военком **Алексей Иванович Панков**

Ответа с почты на свою «географию» так и не дождался Панок.

Зато пришла зима, замахала белыми руками, замела сугробами широкие каменские улицы.

Зато пришла смерть.

Умирал Панок тяжко, без сознания. Перед смертью возвратилось прежнее буйство. Скрученный вожжами, лежал Панок на конике. Члены каменской ячейки по очереди дежурили около него. Больной рвался с кровати в бессвязных выкриках, командовал целыми армиями, неистово матерился, кричал и плакал, и розовая пузырчатая мылкая пена текла на пол из перекошенного его рта. В последний день Панок вырвался с привязи, схватил в чулане ухват, разбил все окна и, выскочив на улицу, долго бегал по сугробам, проделывая с ухватом разные военные приемы. Толпою ловили Панка и не могли поймать, он сам скоро тупо ткнулся в сугроб.

Хоронили Панка без попа. С красным знаменем. С революционными песнями. Это были первые такие похороны в Каменке.

В передней паре безрукий Барбин с одноглазым Сергей Палычем несли гроб. Во второй паре Санек со Степаном Кусочковым — Сабесом.

Народу за гробом было немного. Зато окна изнутри изб на обоих порядках улицы были облеплены любопытными.

По улице процессия часто останавливалась. Санек говорил речи, провожавшие пели «Вы жертвою...»

На могиле Санек сказал большую речь. Митрич, когда забарабанила о гроб мерзлая земля, тоже хотел что-то сказать, встал на край могилы, взглянул в глубь...

— Эх, Панок, Панок... Алексей Иваныч!

И затрясся Митрич, заплакал по-стариковски.

Молча, понурые, стояли члены большекаменской ячейки и мужики вокруг глиняного желтого бугорка.

Силуян Иванович, приставший к процессии по дороге, первым крякнул и глубоко надел на голову малахай:

— Ах, семь грехов с половиной. Вот те и переселился на нову землю. А меня, видно, забыла окаящая!

Мужики вспомнили про мороз и про озябшие уши. Крутым клубком пошли с мазарок, окружив бьющуюся на руках жену Панка Пелагею.

Силуян Иванович еще постоял малость. Крякнул, перекрестился и сказал:

— Хоть ты и коммунист был, а крест я тебе сё-таки сделаю и постановлю весной. Как же можно, семь грехов с половиной!

СУПОСТАТ

По весне прибыла первая партия суперфосфата. Перед Митричевой избой остановились подводы, нагруженные мешками.

Сбежались артельники. Степан Сабес распорол мешок косным ножиком:

— Ну-ка, посмотрим, что за супостат такой?

На язык пробует Сабес — и горчит малость и соленым отдает. На ладонь берет, нюхает — ничем не пахнет. Плюнул в супостат, Сабесу кажется почему-то, — зашипеть должен. Нет, шипу не слышно.

— Чудно, чтобы хлеб лучше родился с этого.

Артельщики наперебой суют руки в мешок: пробуют на глаз, на нюх и на зуб. Удивляются, во что обратилась руда, накопанная ими.

Сабес головой покачивает и свистит протяжно.

— Ты, Стяпан, Фома неверующий. Не свистать надо, а радоваться.

— А ты, Патап Митрич, уж больно на разные городские выдумки доверчивый. Зола какая-то. Подумаешь — золото! — ядовито смеется Барбин и пренебрежительно бросает целую горсть по ветру.

— Ты, ботало! Чего изводишь продукт, — прицыкнул Митрич, поспешно завязывая тугой мешок. — Это для нашей земли, если ты понимаешь, первая кушанья.

— Хе! Еще заставишь с хлебом есть?

— Никакого тут нет смеху. Это клад, если хочешь знать. Ищем клады на мазарках, по могильникам, а он вот где — сущий!

— Тебе ли про клады не знать, — сколько лет этим ремеслом занимался. — Мужики рассмеялись, а польщенный Барбин продолжал: — А теперь Силуян Иванович от тебя перенял, ходит по ночам с лопатой.

— Дурак ты, Барба, преестественный! И чего тебе не хватает? Какая тебе корысть людей на смех подымать? — А тот хохочет:

— Расскажу вам потеху, мужики! Вчера в ночном я был: штуку сыграли мы с ребятишками над дедом Силуяном. Умора!

— С ребятишками только тебе и балваться. Иди-ка лучше, скликни остальной народ — спрастывать.

— Погодь, председатель! Спростать недолго. Дай досказать.

— Пускай выболтается, все равно работать не даст. Не знаешь Барбу?

Барбин фырчит от смеха:

— Он ведь, Силуян-то Иваныч, спит и видит клад. Не хуже Митрича в старо время.

Мужики снова рассмеялись, Митрич махнул рукой и пошел в избу. Степан Сабес догнал его у калитки:

— Все-таки, Потап Митрич, чудно, чтобы от этого хлеб лучше родился!

— Да отстань ты от меня, супостат!

Митрич хлопнул калиткой, а Барбин продолжал:

— Слепнуть, вить, стал, Силуян-то. А как скоро увидал, когда его кладом поманили.

— Чего же ты сделал-то?

— Ой, не бай, не говори! — снова захохотал Барбин.

— Ну, захлебнулся, шишига! Слова не добьешься.

— Скрутил, брат, я две свечки и говорю ребятам: хотите, Силуян Иваныч сейчас клад будет рыть? А ночевали мы недалеко, в сотельнике от Зеленого мара и Подчинном. Вот и пошли мы тайком на мар, зажег я свечки да и воткни их в землю на мару. Вернулись на стан, я и говорю: «Что-то, ребята, огонек будто на мару тлеется. Что бы это такое?». Силуян сейчас же из-под шубы — мырк. Лопату в охапку и молчаком — шасть! Мы за ним. Смотрим, трусцом бежит-бежит — споткнется, приударит рысью — совсем упадет. Умора! Только добежал до мару — огонь и потухни: свечка-то догорела на ветру. Ну, он и давай заступом копать, где огонек горел, и давай копать. Мы лежим в траве и покатываемся с хохоту, — и Барба снова залился во все горло. — Утром я его спрашиваю: «Что ты, Силуян Иваныч, всю ночь на мару колготился? Не клад ли нашел?»

«Клад, семь грехов с половиной! Настоящий клад. Чудочек не захватил: петухи начали петь. Стукну-стукну лопатой — слышу, гремит. А черти как завизжат, как захохочут — и пропадет. Опять стукну-стукну загремит котелок, чую — железный, тяжелый. А черти как завизжат, бегают по траве, кувыркаются по земле. Душу-то загубленную жалко им выпускать из лап, вот и бесются. Волос у меня дыбом, семь грехов с половиной».

«Так и не дался тебе в руки клад-то?» — спрашиваю.

«Сказывал, петухи запели. Ну, да от меня не вырвешься. Вырою, семь грехов с половиной!»

Мужики смеются.

— Ну ты и супостат, Барба!

— За что только тебя в артели держим?

Барбин подмигивает на выходящего Митрича и кричит громко:

— Меня? Кто смеет из артели выбросить? На мне артель вся держится. Я с рожи болван, а во всем талан. Я — алимент незаменимый!

— Болтать да ругаться ты незаменимый, — ворчит Митрич.

— Ништо, Митрич: брань на вороту не виснет и в боку не киснет.

Подъехал агроном, посмотрел мешки, сказал, что привезенного удобрения хватит десятин на двадцать хозяйственных.

— Выйдет ли дело-то, товарищ агроном! — тянет Степан Сабес.

— Погубим землю зря, — поддакивает и Барбин.

— Как же не выйдет, это самое сильное удобрение. Только землю обработать надо по агротехническим правилам, как объяснял.

— Ну ладно, давайте разок попробываем да закаемся, — соглашается Барбин. — Только землю для началу отведем лядащую, чтобы, случаем, даром не пропала.

— Правильно! Отвести кочкарник у Кривого озера.

Сергей Палыч нахмурился:

— Эка, щедры! Отвалили, нечего сказать: на тебе, боже, что нам не гоже. Что там уродится, на кочкарнике? Никогда там хлебов настоящих не было.

— На то и супостат! Посмотрим, какая сила в нем? А на хорошей-то земле без супостатов ваших...

— А потом начнете глотку драть, что удобрение не годится. Жилы! Для себя и то жалко земли...

У Митрича такая крепкая вера в удобрение, что он не перечит артели в выборе земли под пробную запашку.

Выбрали самую неудобь — кочкарник и солонцы.

Посеяли пшеницу по веснопашне.

Много делов у Митрича, а пробный засев — запашку суперфосфатную — ему не забыть. Ждать недолго до лета, а Митричу эти несколько месяцев кажутся в целый век. Каждую неделю — дело не дело, крюк или прямая дорога — завернет посмотреть на яровину. Ничего, пошли всходы сквозь клеклую землю, перо пустили пушистое. И остальные артельники, то тот, то другой, будто нехотя, начали заглядывать.

Дело — к жнитву. У артельных баб собрание: кому в какой черед идти снопы вязать на пробной запашке. Мечут бабы жеребья и кричат при этом. Как только не лень кричать в такую жару!

Барбин со жнейкой посреди улицы ждет результатов жеребьевки и насмехается над бабьим собраньем. Молодуха Сергея Палыча трясет платок: выскакивают оттуда жеребки. Кричит Барбин, как только выскочит из платка меченая палочка:

— Лоб! Забрита в хренодеры. Будешь генерал!

Кричит другой бабе, чей жеребьек пустой:

— Брак! Задницей не вышла. Не годишься в нашу армию. — Бабы ругаются, мужики смеются Барбиным остротам — и все вместе тянутся за жнейкой на поспевшую карту к Кривому озеру.

Затарахтела жнейка-самосброска, стрижет поле бобриком под ровную гребеночку.

Жнейка сама, шутя, искидывает граблями, осторожненько кладет пшеницу готовенькими кучечками — подходи да вяжи снопы потуже. Подходи да не зевай!

Целая рать баб за жнейкой, торопятся бабы: не разгибая спины, перебегают от кучки до кучки. Диву даются бабы такой машинной оторопи. Не вытерпит какая из них пожилая, разогнет занывшую спину:

— Эх, бабыньки! Вот жисть настанет — умирать не надо. А бывалыча... На моей еще памяти не токмо серпом, берком брали, теребком теребили.

Поддакнет ей и другая, пот отираючи.

— Не бай! Все руки в крови бывалыча. Земля за тобой — как ладонь, голая, а пяток от пятка — камнем не докинешь.

И третья голос подает, поправляя нарукавники:

— Никогда здесь хлеба не родились. А теперича — на-ка вот. Удивления!

— А ты удивляйся, да от других не отставай, — подгоняет баб Сергей Палычева молодуха: она за старшую.

— Ну ж, слова сказать нельзя. Строгости!

— Хоть тыщу говори, только машина не ждет.

Кричит хозяйка Ивана Яраскина (она в мордовском самотканом шушпане):

— Э, лентяйки, келя! А ну-ка, бабы, полторы десятки нас, за одном жнейком не поспеем. Какой страм, келя!

— Мочи околотки, старшуха! — кричат бабы. — Крути поясья.

— Поясьев давай!

В обед подходит Митрич с Сергей Палычем.

— Бог помочь, бабы!

— Идите на помочь, мужики, — смеется старшуха.

— Обедать пора. Уповод.

Плывет и стрекочет жнейка, как птица расфуфырив крылья. Замолкает, сложила крылья, словно тоже устала.

Девчата бегут в лес. Бабы жарник разводят на меже, варят полевую кашицу.

Расхаживают по загону председатели.

— Сколько, кум, десятина даст, по-твоему? А?

— Да ведь кто знает? Как ее мерить, покудова не на току.

Стоит пшеница частая: стебель двухаршинный, колос двухладонный, зерно наливное, пузатое, словно золотое.

Срывает Митрич колос, растирает в горсти, пробует пшеницу на зуб.

— А как все-таки, кум? Пудиков на двести с гаком потянет десятинка?

— Не иначе. По всем статьям вышла. Вишь, какая вымахала.

— Не только что вышла, кум, — выперла!

Встает Митрич на колени перед живой пшеничной стеной — шелестящей и знойной. Нагибается к самой земле, любовно выдергивает куст пшеницы и долго рассматривает ниточки корешка; сравнивает с корешками пшеницы, выдернутой по дороге на загоне Ивана Гнусавого.

Толще артельные корешки.

Толще да и бугристее.

С УСТАТКУ

Ездили каменские мужики на ярмарку в окружное село Елховку.

Оттуда, знать, привезли — вместе с певучими ливенскими косами, шинованными колесными ходами и другими разными ярмарочными покупками, — привезли бесплатно этот слух.

Хороший слух, плохой ли слух без ног бежит от села к селу, из избы да в избу.

Митричева артель насчет слухов вроде заколдована: никакими бабьими новостями не заменишь. Делают свое артельное дело, не берут болтовню во внимание. А этот слух и в артель своим огненным языком просунулся, самого Митрича опалил, а остальных артельников — прямо испепелил.

Утром выехали все артельники за снопами на «супостатную» запашку, а Степана Кусочкова с Барбиным недосчитался.

— Где Сабес? Где Барбин? Почему отлынили?

Дома их тоже не оказалось, и лошадей угнали.

На третий день ввечеру вернулись пропадущие. Телеги у них ситами да решетами переполнены. Сабес и на хвост своей Игреньке решето привязал и в гриву вплел два по обе стороны.

Кому не лень, сбеглись посмотреть на диковинные подводы: что за притча?

А Сабес в телеге развалился, орет на всю каменскую улицу:

— Здоровьте, православные! С праздничком!

— Ого-го, никак с ярмарки. Ай да артельники!

— Он вам покажет. Потап Митрич-то, русскую горькую...

Хохочет безрукий Барбин:

— Что нам, пьяным-то?

Смеются кругом:

— Хорош, хорош, ядрена вошь!

— Горе-богатырь — напился на алтын!

— Зачем же вы решетами-то пообвешались?

— Не дают... Без решета — никуда. А решет этих, ситов у них в потребилке — горы несусветные. Вот и возьми их, мать их не замать!

— Так вам-то на кой они спонадобились?

Сабес в телеге барахтается, валятся решета, бутылки позвякивают.

— Сказано вам, не дают. Два дни в очереди дежурили. Хошь, грит, очищенной — бери решето. Как бутылка — так решето. Как бутылка — так сито.

— Ха-ха-ха!

— Ловко всучивают.

— Сколько же бутылок-то у тебя?

— Все наши! Дай дорогу! — кричит Сабес, с размаху задевая колесом за воротный столб.

Покачнулся столб, хряпнула ось тележная; Сабес из телеги — через голову.

При огнях собрались артельники в избе у Сабеса.

Митрич с батогом пришел, хмурый сел в сторонку.

На столе хоровод бутылок, в синеньких памятных запончиках, а сами голенькие, прозрачные, как слеза. Взвизгивают бутылки в нетвердых руках Сабеса.

Барбин по избе качается, половицы пищат под ним, как прищемленные мыши. Подмигивает Барбин мужикам, перед Митричем на колени грохается:

— Не сердись, Митрич, садова голова. С устатку ведь. Ай нельзя? Тот не пьяница, кто по разу в день похмеляется.

Молчит Митрич, молчат мужики, прислушиваясь к бутылочному визгу, мрачно сплевывая надоедную слюну.

Сергей Палыч Палагин, председатель сельсовета, в переднем углу сидит и говорит в сторону Митрича, будто нехотя:

— Чего ты всамделе, кум, накуксился? Чего с них взять, — адиоты! Чего поделаешь, ежели прорвало?

Взметнулись со всех сторон сначала несмелые, потом все более уверенные и нетерпеливые голоса:

— Знамо...

— Какущее дело сботали, да и не выпить на радостях?

Встал Митрич:

— Дьяволы! Монах я, что ли, какой? Али меньше

скучался? Про то я: не во благовремени. Праздновать, так надо праздновать всем. Березина бы из уезду пригласили, инженеров, кои нам строили: поди, не побрезговали бы. Заправский надо праздник урожая: шут с ней, коль, и с русской горькой. А зря чего пьянствовать!

— Вот это правильно! — приобнял Барбин Митрича: — Пущай это будет вроде рипитиции, Потап Митрич! А там спектакль устроим с городскими. Они уж пробовали, надо же и нам скус узнать перво-наперво.

— Ты уж наузнавался, кажись...

— Раскупоривай, коли, потчуй, Сабес!

— Потап Митричу первая.

Сабес хлопнул в донышко, пробка стрельнула в черного угодника. Дрожащей рукой налил чайную чашку — всклень.

— Ну-ка, Митрич! Рипикнёмся. Бласлови, совецка власть!

Рывком выхватил Митрич чашку из рук Сабеса, тут же хотел выплеснуть но... потянул памятный запашок, и рука сама собой поднесла чашку к носу: раздулись ноздри, глаза стариковские расширились и заиграли.

Толпой окружили Митрича, не мигая, смотрели на пляшущую чашку, откуда острым язычком выплескивалась водка.

— Ну, братцы, разрешу я разок для нашего артельного дела. Праздник у нас — это уж поистине. И поэтому выпью я за нашу артель, и как взялось наше дело с того, что мы начали копать удобрительную руду, то и надо выпить за этот самый суперфосфат.

— Крой, айда!

— Супостат не супостат, се равно в брюхе будет, — смеется Барбин.

— И еще я выпью, мужики, за то, чтобы жить нам в артели ладнее, чтобы работать веселее, чтобы...

— Да пей скоре!

— Христа-ради не мучай!

Молодо откинул голову Митрич, набрал полон рот, покатал во рту и тогда только, зажмурившись, проглотил:

— Ух, екуня Ваня!

С десяток рук протянулись к нему с кусками хлеба на закуску.

— Ну как, Митрич, не подгадила?

— Не только что, а скажу я вам: будто гуще на языке-то держится. Крепка, уж крепка — продажная дурь!

— Неужели? Что ты говоришь?

Митрич ткнул носом в мякиш свежевыпеченного, дымящегося хлеба из артельной пшеницы.

— Не забываешь старые привычки, Митрич, нюхашь? — хлопает его Барбин.

Митрич рассыпался веселым морщинистым смешком:

— Мила-а-ай. Снаружи-то мы новой кожей обросли, а печенки-селезенки старые остались. Зашпиртованы мы на всю жизнь.

— Что правильно — то верно.

— В какея мысли старика вогнала.

— Чего же ты, Сабес, прохлаждаешься? Работай!

— Возьми ты, Сергей Палыч! Ишь, у него руки-то, ровно кур воровал.

— Наливай, что ли, по череду.

Каждый пил, каждый крякал, каждый жмурился.

Слишком мешкотных подгоняли:

— Тяни веселей, не задерживай.

— Эко задохся. Маленький!

— Первая перхотой, а третья охотой.

Через полчаса — дым коромыслом. Мужики кричали и целовались. Молчаливый Сергей Палыч разговорился — не уймешь. Бубнит над задремавшим Митричем:

— Кум Митрич! Кум ты мне али нет? Ты не смотри, старый хрен, что я молоканин. Ты знаешь, как нашего брата ёжили при царе? То-то. А теперича работай я на всех... Не лежит мое сердце. Уйду я из Совета. Не мужицко это дело: канцелярия. У меня хозяйство, пасека — вековая заведения.

— Не бай, кум, зря: никуда ты не уйдешь... — бормочет Митрич.

— Я не уйду? Уйду, вот попомни мое слово. Не лежит мое сердце. А что касаемо религии — не говори. Молчи! Молчи и никаких!

Сергей Палыч грозится на Митрича, кричит, приказывает молчать, хотя тот мирно полудремлет, уронивши голову на грудь и опершись на подог.

— Леригия, можно сказать, — алигория. И что такое по леригии, скажи мне, Ленин? Може, это Ленин, а може, и не Ленин... Как по-твоему? Могет он символизовать али не могет? — теребит кум Палыч кум Митрича.

— Ленин — наш волжинский мужик.

— Нет, ты скажи: могет он символизовать али не могет? Правду я говорю, каменский молоканин мордвин али нет? Председатель я Совецкой власти али нет? Кум я тебе али нет? А я говорю — могет. Как говорится в писании...

В другом углу вокруг Барбина пьяная кучка. Кричит Барбин о том, как на ярмарке с мужиком из сельскохозяйственной коммуны спорил:

— Он грит: я — протарьят. Я грю: и я протарьят. Он грит: камуна. Я грю: нет. Он грит: да! Я грю: шалишь! На камуну, я грю, не согласен. И все мы, каменские, не согласны. Нет нашего согласу и — сказ!

— Знамо, нет!

— Камуна — сбреха.

— Сурьезный мужик от камуны в кусты.

— Вот и я говорю. Мы работам? Работам. Руду копали? Копали. Лесопилку взяли? Взяли. Завод пустили? Пустили. Дурбина вертится?

— Вертится, мать ее под корень! — орет Сабес, бухая кулаком по столу.

— Вертится. Значит, и вся жизнь наша вертится. Округ чего вертится? Смекай! А на камуну нет нашего согласу.

— Барба, чего ты врешь? Сам ты дурбина! — закричал Сергей Палыч, внезапно нахмуриваясь. — «Камуна, камуна». А разве то, чего мы делаем, не есть камуна? Дурья твоя башка.

Барбин кулаком загрозился:

— Ну нет. Шалишь-мамонишь... Какая же мы есть камуна? Ежели я по собственной моей желании: так разве это что? Вот я скажу тебе: Панок на нову землю всю жизнь собирался, да так и помер с тем. А по мне, ежели ты хочешь знать, никакой новой земли не надобно нам теперь. Тут вот она, у нас, новая-то земля. И есть я как есть колонист новой жизни. А ты — камуна. На кой она?

— Чего ты понимаешь, ботало?

— Я ботало? — Барбин, взволнованный, подлетает к Митричу, трясет его за шиворот. — Митрич, садова голова! Митрич, ты наш путеводитель, растолкуй ты ему — его мордовской образине, что никакой я ни есть ни коммунист и нет моей на то желании. А есть моя на то желания, чтобы мы сообща жили и сообща дело орудовали.

— Правильно, Барба!

— На камуну не согласны!

— Знаем мы этих камунщиков: работа наша, харчи ваши, а мое брюхо да ложка.

Митрич озирается спросонья, а Сергей Палыч вскочил, хотел что-то сказать, потом махнул рукой, поспешно икнул, дрепнулся на лавку, бросил свою лохматую голову на стол, застучал головой по столу, как мерзлым арбузом, потом подпер скулу ручищей и завел:

— Э-э-эх, да... что-то в лесе зашуме-е-е-ла...

Десятки голосов вразброд подхватили поводья песни, и поплыла она, широкая, как степь заволжская:

— Э-э-э-э-ла-а-а...

Митрич совсем осовел. Хочет опереться на подог, а подог из-под рук будто половодьем в сторону уносит. Бормочет:

— С устатку мы, товарищ Березин! Ты не бай, брат! Должен ты мужика понимать... Заганули нам загадку. А мы ее отганули... То-то!

Сабес, размахивая двумя пустыми бутылками, плясал:

Устюшкина мать
Собиралась умирать,
Стали гроб тясать —
Пошла плясать...

На всю ночь затянулось гулеваньице.

Всю ночь скрытые окошки Сабесовой избы были облеплены зрителями.

Несколько раз за ночь подходил к окнам Махай, заглядывал в трещину меж ставней, расталкивая ребят.

— Ну, как, Махай, кипируются?

— Накипировались! — сплюнул Махай. — Двигаем.

Толпа парней спешаком двинулась к лесу.

Большинство артельников свалились и спали где попало. Бодрствующие были совершенно пьяны и, не в силах говорить, лениво и нестройно тянули песни.

Перед рассветом послышались крики:

— Пожар... Пожар...

Частые бомы сполоха кружились над Большой Каменкой вместе с огненными галками.

— Где горит? В нашем конце?

— Далеко. Не в нашем.

— А ветер откуда?

— Ветер не в нашу...

— А-а... Вот, черт, разбудил! Что он там на колокольне, сдурел, что ли, нажваривает?

— Не дай бог жить около церкви, доймут сполохами.

— Пожар... Пожар...

— Где пожар?

— За селом... под лесом... Артельная лесопилка горит.

— А-а... А я думал, не моя ли сельница?

Бегут сразу отрезвевшие артельники к лесопильному заводу. Полыхает завод. И в дымном, качающемся зареве кажется, что и лес бежит на пожар страшной, мохнатой толпой.

С треском мечется красноголовое полымя по заводу, лижет красным языком тесовую крышу, спихивает вниз сухие сосновые балки.

Сквозь треск и огненный вой со стороны леса из овражка, где кирпичный сарай, слышатся дикие стоны.

Барба с зажженной головней бросился туда.

Головня выхватила из тьмы человечью фигуру. Чело-

век стоял на четвереньках, черными кровяными пальцами рыл землю в остервенении, мотал головою, фыркал и визжал, как святочный паленый боров. Лицо его — сплошная черная рана.

Поодаль валяется пустая пороховая коробка.

— Что же ты, мать твою, лапти плетешь, а концов хоронить не умеешь! — заорал Барбин, бросаясь на поджигателя.

Это был Махай.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Через год после первого приезда инженера заработала турбина, замолола водяная мельница на сита: потекла по лункам мелкая да пухлая мука, что твоя городская крупчатка. А того лучше — вспыхнули от той турбины лампочки по всему селу Большой Каменке. Дивуй бы в избе — и на погребице. Пусть бы на погребице, — да и на сеновале лампочка светится. В самое сено суй — не загорится.

Вертится шумная турбинка рабочего-изобретателя, кипит под турбинкой взмыленная вода.

А под лесом визжит вновь построенная после пожара лесопилка.

Течет на станцию чиханская руда, а обратно везут мужики удобрение.

Стала выше ростом пшеница, корнистее. Стала корнистее пшеница, кустистее. Кустится пшеница, — зерно наливное: бочонком.

Идет осень сытая. Идет осень светлая.

Текут с Чихан-горы родники, обнимаючись. Стали чище, стали глубже родники: собрала их рука человеческая в общий водоем у ног Чихан-горы. А из общего водоема растекается вода родниковая по улицам Большой Камен-

ки, по луночкам до каждой избы, а потом за село по полям растекается. Звенит вода, а в обнимку с ней звенит по вечерам частушка:

Каменистые канавы,
Серебристая вода.
Посмотрите-ка, буржуи,
Как гуляет беднота.

Идет осень сытая, идет осень пахучая.

И на грязновском недостроенном заводе скоро заработает новая артельная мельница: будет камни размалывать, чиханскую руду. Устанавливает мельницу другой инженер — Станислав Леопольдович Бржезовский. Временно выпущен Стасик из тюрьмы по ходатайству кооперативной артели, по поручительству Санька. Велика ты, дружба детская! Работает Стасик день и ночь. Золотые руки у этого бывшего белогвардейца. Уедет Санек, и возвратится Стасик в тюрьму: отбывать положенное ему наказание.

А Санек уже собирался в отъезд: давным-давно кончился его годичный отпуск. В большом поповском доме — в клубе комсомольском — прощался Санек с молодежью. Пели, играли, смеялись, веселая гармошка напутствия выговаривала, а домой возвращался Санек грустный. Плохо слушал Пашку Баянову, у плетня своей избы молча подал девушке руку.

И зарыдала девушка, заткнувши рот косынкой. И бросилась Пашка Баянова на грудь Саньку:

— Возьми с собой!

— Что ты, Паша? Ты ведь знаешь...

— Знаю. Все знаю. Только бы я лучше стала любить тебя, чем Клавдия. Возьми с собой! Тошно мне здесь...

Развел Санек руки девушки и сказал:

— Паша, прости меня. Не догадался я, что у тебя ко мне чувство женское. А мое сердце — у другой...

Замолчала Пашка Баянова, прекратились слезы, как схлынувшее половодье. Засмеялась:

— Поцелуй хоть жарче на прощанье-то. Чай, тебя не убудет?

Обнял Санек девушку, и крепко и долго поцеловала его Пашка.

Вырвался, задыхаясь, и бросился в калитку. Может быть, одна минута — и Санек разрыдался бы, сам не зная отчего.

А с улицы догонял его Пашкин смеющийся и плачущий голос:

Вышивала я платочек,
И сломалося жело...

Мне влюбляться было легко,
А расставаться тяжело.

Вся артель сошлась провожать Санька. Грустно на проводах, поэтому мужики шумят:

— Санек, Санек, куда те понесет нелегкая? Пропадут румяны-те. Ах ты, дьявол Меченый!

— Да и девок там нет таких, как нашинские, — шутит Степан Сабес.

— Был бы конь, а овес найдется, — шутит Барбин.

— Санек, шайтян саинзад! Ков молят — ноги болят,[1] — шутит Иван Яраскин.

— Возьми меня, старика, с собой, семь грехов с половиной! В гости схожу к Ленину, — шутит Силуян Иванович, весь белый-белый.

— Учись, коли так, да приезжай скорее на сменку. А то чижало тащить нам лямку. Вот у меня пасека — вековая заведения. Заезжай проездом, положу на дорожку медку кадушечку, — хмуро говорит Сергей Палыч, обнимая и целуя Санька.

А Митрич говорит дрожащим голосом:

— Прощай, видно, сынок! Чего уж...

— Прощай, дядя Митрич!

Обнялись и долго держали друг друга в обнимке.

— Навряд свидимся. Чую, смерть за спиной. Да ладно, видно, теперь умереть не грех. Было бы дело, а дни впереди...

Со всеми прощается Санек, а мать нарочно обходит: хочется насколько можно отдалить тяжелую минуту.

— Не надолго, товарищи! Кончу вуз: обратно на Волгу...

— А-а да ты родимый, а-а ты мой а-а сыно-чек... А-а на кого да ты меня спокида-а-аешь... У-ху-ху! — Степановна в невыразимо скорбном причитальном вопле упала на сыновнюю грудь.

— Трогай, дядя Софрон! Быстренько.

С рук на руки передает Санек обомлевшую мать.

Срыву, берет пара волостная.

Машут корявые руки вдогонку:

— Путь добрай! Приезжай.

Машет Санек московской кепкой.

Скрывается Каменка за изволоками. Веет ветер полевой. Золотеет осенняя степь.

Идет осень веселая, и печальная осень идет.

За Грязным мостом, на мару, под старой часовенкой — скомканная фигурка. На ходу соскакивает Санек с тарантаса:

---

[1] Куда идешь — ноги болят; русско-мордовская поговорка.

— Клавдия, счастье мое! — поднял Санек на воздух Клавдию Михайловну и целует знакомые, дорогие губы. — Давно ты ждешь?

— Не спрашивай, — тихо роняет Клавдия.

Софрон Иванович остановил лошадей в сторонке.

— Поезжай, дядя Софрон, шажком. Я догоню.

Клавдия не плакала. По-матерински гладила крупно кудрявую Санькину голову, давала дорожные советы, наказывала беречь здоровье. А Санек, рыдая, зарылся в ее мягкие колени.

— Я скоро вернусь. А ты приезжай в Москву на святки. Я буду ждать тебя каждый день. Приедешь? Приедешь ведь?

— Милый! Ты не скоро вернешься. И мне не придется приехать к тебе. Мне некуда деться из Каменки. Но ты не горюй. Будем переписываться.

Санек сильнее обнял Клавдию.

— Ой! Больно, милый. Ну, иди. Лошади уже далеко-далеко.

Клавдия в последний раз коротко поцеловала Санька в рассеченную бровь и, оторвавшись от него, подтолкнула в сторону дороги.

Санек нехотя, беспрерывно оглядываясь, скрылся за маром.

И как только скрылся Санек, бухнулась Клавдия на землю под часовней и забилась в мелких и частых женских рыданиях. Трава — увядшая, земля — холодная, и пахнет земля осенней сыростью.

А Санек бежал по извивой полевой дороге, догоняя удалявшийся тарантас. От бега шире раздавалась грудь, глубже становилось дыхание. От бега призывно пляшут вдали синие жигулевские курганы, подернутые мягкой дымкой.

И — волнующее спокойствие дороги.

ОГЛАВЛЕНИЕ

А. Киселев. О романе А. Дорогойченко «Большая Каменка» 5

Часть первая

Чихан-гора 15
Кулачки 20
Ученый 28
В лесу 36
С нахлестом 48
«Не ученый, а жулик» 54

Часть вторая

Монастырь 65
Головешки 82
Хлебные излишки 90
«Чеки» 101
Мобилизация 113
Медовый месяц 127
Две встречи 134

Часть третья

Махай в хороводе 143
Первый камень 147
Лесопилка 151
В городу 156
Саботаж 163
Мобилизованный 171
Махай веселится 178
Березин 182
Приезд Санька 187

Часть четвертая

На отдыхе 195
Собрание ячейки и Клавдия 202
Турбина 219
Молодежь 225
Семь грехов с половиной 238
«Приключении Председателя Савецкой власти» 245
Супостат 255
С устатку 260
Заключение 267

ИБ № 168

Алексей Яковлевич Дорогойченко

БОЛЬШАЯ КАМЕНКА

Роман

Редакторы Т. И. Заболоцкая, Н. В. Сорокин
Художественный редактор Е. В. Альбокринов
Художник Ю. М. Иванов
Технический редактор З. К. Яшина
Корректор Л. И. Березина

Сдано в набор 22.7. 1977 г. Подписано к печати 17.I. 1978 г.
Формат 60×90¹/₁₆. Бум. № 1 тип. Печ. л. 17. Уч.-изд. л. 16,53.
Тираж 50 000 экз. Цена 1 руб. 60 коп. Заказ № 4718.

Куйбышевское книжное издательство,
ул. Спортивная, 5/27.

Тип. изд-ва «Волжская коммуна», г. Куйбышев, пр. Карла Маркса, 201.